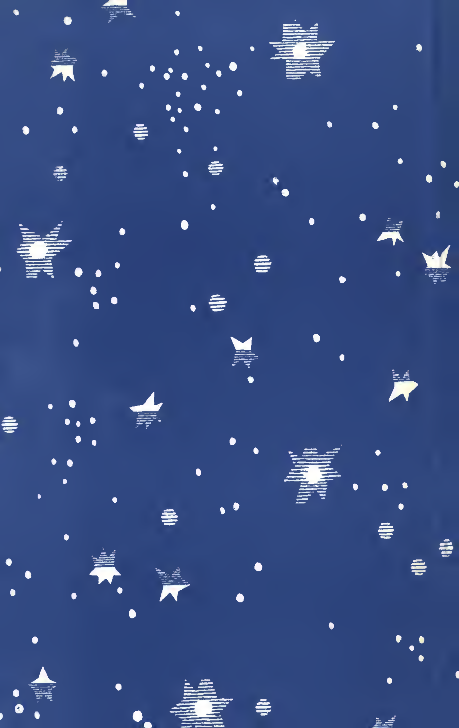
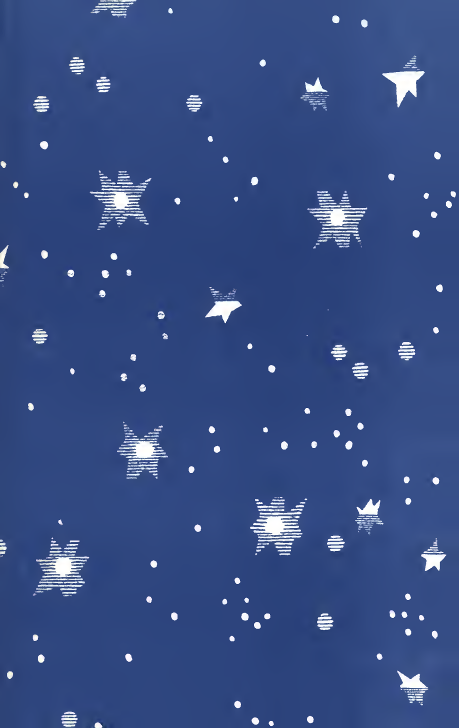
ВЛАДИМИР ЛЬВОВ

ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРИК





СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1977

ВЛАДИМИР ЛЬВОВ

ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРИК

ПОВЕСТИ

Л $\frac{70302-333}{083(02)-77}$ 39—77

ОТ АВТОРА

В этой книге соединены две биографические повести — «Загадочный старик» и «Циолковский в Петербурге». В плане историческом вторую повесть можно рассматривать как продолжение первой. Общее действующее лицо и там и тут — наш великий ученый Константин Эдуардович Циолковский. В «Загадочном старике», впрочем, он появляется лишь эпизодически, и главный персонаж здесь — другой замечательный русский человек, чья жизнь мало обследована и давно ожидает биографа.

Я говорю о Николае Федоровиче Федорове, мыслителе — человеколюбце и демократе, провозвестнике века космоса.

Его жизнь не богата драматическими эпизодами, и читатель не найдет в повести острых поворотов сюжета. Драма этой жизни — драма идей, и герой ее мог бы сказать словами Эйнштейна: «Моя биография — биография не событий, а мыслей».

Эпитет «загадочный» в применении к Федорову предложен не автором книги. О «загадочности» этого человека говорили близко знавшие его Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев. «Загадочным» называли мыслителя почти все, кто вспоминал о нем. (Среди вспоминавших можно назвать таких наших современников, как В. Я. Брюсов, М. М. Пришвин, О. Д. Форш, М. С. Шагинян.)

«Был у нас замечательный, но мало известный — потому, что был своеобразен — мыслитель Николай Федорович Федоров», — писал в 1928 году Алексей Максимович Горький.

Удивительным и таинственным казалось в Федорове все — его происхождение, внешность, трудовая жизнь. И прежде всего, конечно, его мировоззрение и прозорливые идеи о перестройке космоса разумом и руками человеческими. Идеи, в которых противоречиво сосед-

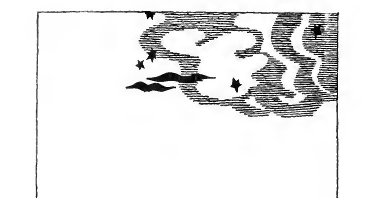
ствовали стихийно-материалистические прозрения и христианско-религиозная мифология.

Как увидит читатель, насильственность и противоестественность этого сочетания была сразу же понята представителями официальной церковности и идеалистической философии. Они отвергли мыслителя как дерзкого и разрушающего их догмы еретика.

Так или иначе, советские люди не отдадут Федорова кликушам и святошам из обскурантского лагеря!

Научное и философское наследие «загадочного старика» заслуживает пристального изучения. Одну из попыток в этом направлении читатель найдет в предлагаемой книге.

Остается добавить, что, пользуясь правом, принадлежащим жанру исторической повести, автор прибегал в отдельных случаях к реконструкции некоторых ситуаций, диалогов, событий. К воссозданию всего того, что *могло* быть, но о чем история не оставила нам точных протокольных данных.



ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРИК

1. УЕЗДНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Ранней весной 1864 года двое молодых людей, одетых как мастеровые, а судя по разговору — студенты, садились в Москве на поезд. Станция Московско-Нижегородской железной дороги только что была построена на том же самом Каланчевском поле близ Красного пруда, что и Николаевский вокзал. Движение напрямик до Нижнего открылось недавно, все было в диковинку, и один из студентов, оказалось, вообще никогда раньше чугункой не ездил. Товарищ стал показывать ему рельсы, паровоз, начал было объяснять принцип устройства паровой машины и значение железных дорог для чело-

вечества. Но раздался звонок, потом второй и третий. Пронзительный свисток обер-кондуктора возвестил, что поезд трогается. Народ в вагоне третьего класса крестился и вздыхал. Пятьдесят верст до станции Богородской ехали со скоростью неслыханной — меньше, чем за два часа. Здесь студенты сошли, путь их лежал в уездный город Богородск, что в двадцати верстах в сторону от чугунки. Наняли крестьянскую подводу — возница оказался несмышлен, глуховат, можно было разговаривать не стесняясь. «Так кто же такой этот Федоров, к которому ты меня везешь? Скажи толком, Ермолов», — отнесся к своему товарищу один из путешественников — светловолосый, высокий, с девичьим румянцем на щеках и курчавой белокурой бородкой.

— Личность замечательная, — откликнулся тот, кого назвали Ермоловым. — Даром что простой учитель уездного училища, а образование имеет широчайшее. Знает три языка в совершенстве, силен не только в истории, а и в математике, в физике...

— Он химик, он ботаник, князь Федор, твой племянник!

— Не смейся, Петерсон. Когда познакомишься с ним поближе, поймешь, что такие люди нужны нам особенно. Умен, честен, этого сказать мало. Самоотверженный человек. О себе не хлопочет. Живет для других. Все, что получает, раздает, спит на досках, как Рахметов...

— Да откуда он взялся, этот Федоров?

— О своем прошлом никому не рассказывает. Николай Андреич говорил мне, что тут тайна фамильная, мрачная. Из знатного он рода — от князя Гагарина и крепостной девушки... История по тем временам известная! Но кажется, что отец Федорова был человек порядочный, дружил с теми (Ермолов понизил голос), что на площади были четырнадцатого, и если сам не попал туда, то оттого, что был в это время в Америке...

— Как его угораздило?

— По дипломатической части. А когда вернулся, вышел в отставку, заперся в своем имении и родил нашего Федорова. И если бы не умер отец преждевременно, когда мальчику было всего четыре года, неизвестно еще, как повернулась бы его судьба.

— Значит, остался сиротой?

— И притом незаконным. А что такое незаконный ребенок в нашем разлюбезном отечестве, объяснять не приходится. Дед — самодур и крепостник (и особенно, кажется, постаралась тут супружница его, из актерок) — распорядился осиротевшей семьей просто. Выгнали вон! Впрочем, отец Федорова обеспечил наследством мать и ребенка. Образование мальчик получил дворянское, учился блестяще, но высшего учебного заведения, кажется, не закончил, уволили за бунтарство...

— Так зачем же посылает нас к нему Ишутин?

— Николай Андреич считает, что такие люди нужны нам в первую очередь... Такие, как Рахметов, как Лопухов, как сам (Ермолов опять понизил голос) Николай Гаврилович...

Показался Богородск и крутой берег Клязьмы. Возница пожелал остановиться у кабака. Студенты подхватили свой нехитрый багаж (у Петерсона — деревянный сундучок с привешенным железным замком, у Ермолова — котомка) и, расплатившись, пошли искать уездное училище. Там, поблизости, в ветхой конурке, обитал учитель Федоров.

2. ИШУТИНЦЫ

Петерсон и Ермолов, московские студенты, участвовали в кружке, который впоследствии получил название ишутинского. Вдохновитель его и организатор — Николай Андреевич Ишутин — был человеком, личной жизни не имевшим. Сын мелкого пензенского купца, сирота с младенческих лет, хлебнул он горя в чужих людях, и университетами его были нужда и тяжкий труд. И мечта. Мечта — свергнуть ненавистный строй, не дающий людям счастья и воли.

Ишутин и ишутинцы имели свою программу. Программа — народная революция. В прокламациях, которые разбрасывались ими по деревням и фабричным мастерским, на базарах и в питейных заведениях, говорилось без обиняков: «Земля должна принадлежать не тунеядцам-помещикам, а артелям, обществам самих землепашцев. Все капиталы надо забрать у кровососов-толстосумов, у царя и сановников царских. Довольно им проматывать народное добро!.. Русский народ и без

царя сумеет управляться. Будет у всех достаток, все будут работать, и заживет счастливо и честно народ, работая только на себя...»

Собирались ишутинцы под видом лихих пирушек в одном из домов в Трехпрудном переулке в Москве. Читали и обсуждали статьи Чернышевского — к нему относились как к своему учителю и перед ним благоговели. «Главное, что растолковал мне Николай Гаврилович, — говорил Ишутин, — это что освобождение крестьян в феврале шестьдесят первого не было освобождением, а новым закабалением. За клок земли, полученный как милость от царя-батюшки, должен крестьянин платить выкуп помещику. Платить десять, двадцать, а то и все пятьдесят лет подряд!»

А когда вышел в свет после ареста Чернышевского роман «Что делать?», больше всего поразила ишутинцев идея устройства артелей. «Ай да Вера Павловна! — восклицал с восторгом Ишутин. — Словно прочитала наши мысли...»

Штудировали кружковцы Чернышевского, читали и Герцена. Переписывали и передавали друг другу страницы «С того берега», особенно главу «После грозы», где говорилось, что «каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменение одного и того же людоедства»... «Работник не хочет больше работать для другого, — восклицал Герцен, — вот вам и конец антропофагии! Все дело теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании. Когда они протянут друг другу руки, кончена тогда эксплуатация человека человеком... Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни казнями, ни благотворениями...»

Доставку двадцати номеров «Колокола» помог устроить ишутинец Чуйко, побывавший за границей у великого изгнанника и заручившийся его поддержкой. «Будьте осторожны», — напутствовал своего гостя Герцен. Он сказал также, что получил недавно письмо от молодого русского писателя. От графа Льва Толстого (автора «Казаков» и «Севастопольских рассказов»), где тот называет февральский манифест, отменивший крепостное

право, «болтовней». «Болтовня, не дающая мужикам ничего, кроме обещаний!» Толстой прав только отчасти, заметил Герцен. Мужика обманули, это так. Но, обезземелив его и надев ему на шею еще одно ярмо, толкнули тем самым Россию к новой пугачевщине. «И это уже не болтовня, это предвестие великой бури. Толстой убедится в этом. Писатель таланта огромнейшего, жаль только, что связался в последнее время с катковской помойной ямой — «Русским вестником»...» «Будьте же осторожны», — повторил на прощание Герцен, задержав руку Чуйко в своей широкой, белой руке и всматриваясь в него светлыми изучающими глазами.

Они были осторожны. Ишутин разделил тщательно деятельность своего кружка на легальную и «все остальное». (Что такое «остальное» — вслух не говорилось.) Не таясь, собирались в Трехпрудном переулке, читали вслух книги и журналы, устраивали диспуты. Шпики, заглядывавшие туда под видом дворников и домашней прислуги, докладывали начальству, что студенты бражничают и спорят, а о чем, сказать трудно. Начальство, кажется, не ругают. Легальными были артели, которые пробовал, по примеру Веры Павловны, устраивать Ишутин, — сапожная, переплетная. Попытались еще создать под Москвой частную бесплатную школу для крестьянских ребят. «Дайте мне школу, и я из каждого мальчугана сделаю революционера!» Говоря это, Ишутин слов даром не тратил. На первом же уроке показал ученикам орла на медном пятаке и пояснил: «Орел — птица кровожадная. Особенно с двумя головами. В когти к ней не попадись! Самое верное — свернуть ей обе головы!»

Мечты, мечты... Артели ишутинские, под которые подкапывались местные кит китычи, быстро прогорали, школу разогнала полиция. Студента-ишутинца Петерсона это не удивило. Двумя годами раньше, учительствуя в яснополянских школах Льва Николаевича Толстого, был он свидетелем, как нагрянули в Ясную Поляну жандармы и камня на камне не оставили от педагогических затей писателя...

Пропаганда, хождение в народ, жизнь с народом — вот все, что пока оставалось ишутинцам (если не считать «остального», о чем вслух не говорилось). И вот тогда-то вспомнил Ишутин о богородском уездном учителе Федорове, о котором донесли ему разосланные по губер-

нии ходоки. Рассказы о нем шли из уст в уста. Заболел однажды у одного из его учеников отец, и не на что было лечить. Федоров отдал на лечение свои деньги. Больного не удалось спасти, и надо было хоронить, и тогда продал Федоров свой единственный вицмундир и вырученные деньги отдал сироте, а сам на следующий день явился на урок в ветхой одежонке, чуть ли не в лохмотьях. И так случилось, что в этот день посетил школу какой-то начальник. Увидев учителя в убогом костюме, разбушевался, потребовал объяснений. Федоров не стал объяснять, и, если бы не вступился директор (знавший, в чем дело), пришлось бы учителю складывать скудные пожитки и уходить прочь. Кроме этого случая были и другие, кончавшиеся не столь благополучно. Не нравилось начальству многое в поведении учителя, подозревали (и не без оснований), что прячет он у себя запрещенные книги, рылись не раз в его вещах. Но ничего не нашли. Пришлось все-таки подавать в отставку — за десять лет много раз кочевал Федоров из одного уездного города в другой. Из Липецка в Богородск, потом в Углич, в Одоев, опять в Богородск, Бронницы, Боровск...

— Поезжайте, поговорите с ним, привлеките его к нашему делу, — сказал Ишутин Ермолову и Петерсону. — Хороший он человек, а хорошие не могут не быть с нами. И ученейший. А ученые люди ох как будут нужны нам, когда дело пойдет на лад... Вот я, например. (Ишутин развел руками, словно бы приглашая посмотреть на свою низенькую, невзрачную фигуру.) Учился на медные гроши, гимназии не кончал. Да и вы все, друзья мои, даром что студенты, а недоучились и вряд ли доучитесь когда-нибудь... Будете у Федорова, скажите ему, что сейчас хоть мало нас, но это вещь наживная! О целях наших политических расскажите подробно. А больше... больше ни слова...

Что́ именно нельзя говорить ни слова, понял Ермолов, а Петерсон нет, потому что Петерсон был новичком в кружке и не знал главного. А главное было — убить царя. Это должны были сделать люди особо доверенные, особо отобранные — Ермолов был в их числе, — и называли они себя «Ад».

Не знали еще тогда ишутинцы, что «Ад» погубит их всех. Случилось так, что через два года после описанного разговора у одного из членов «Ада» — Дмитрия

Каракозова — не выдержали нервы и, не сказав ничего товарищам, самовольно, необдуманно выстрелил он в царя 4 апреля 1866 года у входа в петербургский Летний сад. Царь уцелел тогда, а Каракозов кончил жизнь на виселице...

Решено было, что главную задачу — сблизиться с Федоровым — возьмет на себя Петерсон и для этого выйдет из университета и поступит учителем в то уездное училище, где служил Федоров. Ермолов же будет наезжать время от времени и смотреть, как спорится дело.

3. ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

Постучав не без робости, вошли в хибарку, где в углу за ситцевой занавеской жил уездный учитель.

— Вы ко мне? — спросил, встав из-за стола, грубо сколоченного из досок, человек среднего роста, возраста неопределенного. Можно было дать ему и сорок, и пятьдесят, и даже шестьдесят лет. Впалые его щеки были покрыты клочковатой, растущей как попало растительностью, из-под кустистых бровей странным беспокойным блеском пронизывали собеседника колючие глаза. Одет был Федоров, несмотря на погожий день, в теплую бесформенную кацавейку, из которой в прорванных местах торчали куски ваты.

Другой мебели, кроме грубого стола да еще сундука, на котором, видимо, спал ночью жилец, и потемневшей от древности лавки у бревенчатой стены, не было. В углу под хозяйскими иконами на полу сложена груда книг.

Петерсон долго помнил эту первую встречу и разговор, который сначала не клеился, а потом стал оживленным и в конце даже перешел в горячий спор. Запомнилась и особенная федоровская черточка — часто запрятывал он кисти рук в рукава своей ветхой кацавейки, словно бы было ему холодно... Прервался разговор неожиданно. Пришли хозяева дома — мастеровой-шорник, работавший на извозном дворе, и его жена, служившая там поломойкой. Услышав шумное прение в углу за занавеской, пригласили гостей и жильца разделить с ними

трапезу. Петерсон и Ермолов поблагодарили, сели за хозяйский, накрытый суровой скатертью стол, хлебали щи, опростали горшок с кашей. С удивлением заметили, как Федоров, едва прикоснувшись к обеду, ограничился тем, что отпил из жестяной кружки квасу и съел большой ломоть черного хлеба, круто посыпав его солью.

— Вот так всегда, — укоризненно молвил хозяин, отнесясь к гостям. — Не хочет Николай Федорович с нами как следует трапезовать. Все хлеб да квас. А ведь, кажется, отдает нам из своего жалованья достаточно, чтобы покушать как следует...

Федоров внимательно и как бы сожалительно посмотрел на хозяина, помолчал немного, сказал:

— Да разве можно мерять поступки человеческие на деньги? Вот я съел сейчас этот черный хлеб не потому, что обошелся он тебе, Лукич, во столько-то копеек, а я тебе за стол и за кров отдал столько-то. Черный хлеб! Помню, жил я ребенком в сытости и роскоши и вот однажды увидел черный-пречерный хлеб (из лебеды он был), которым питались в тот год крестьяне. Видно, голодный это был год. Да и то сказать, хорошо уже, что была лебеда. Ведь говаривали же в нашем краю: «Кабы одна беда — уродился не хлеб, а лебеда. А то две беды — ни хлеба, ни лебеды!» И, представьте, жили люди на той лебеде и работали на барщине в полную силу. Поблажки помещик не давал! Отощали, но работали, да еще как. И боронили, и пахали, и тяжестями многопудовыми ворочали. Вот тогда понял я, что значит этот черный хлеб. Я же руками сейчас не работаю. Больше того, что я сейчас съел, мне не требуется. А все, что сверх необходимого, то баловство, роскошь... А ты говоришь, Лукич, про какие-то деньги...

Хозяин дома всплеснул руками, хотел было возразить.

— Погоди, дай договорить. Я не спорю, что тебе с Марфой Степановной (Федоров кивнул хозяйке, недоуменно стоявшей с пустыми горшками у притолоки) деньги ох как нужны. И по хозяйству, и дочку замуж, и инструмент... А скажи, зачем мне-то деньги? Только что на книги да на хлеб с квасом...

Хозяин хотел что-то ответить, но поглядел недоверчиво на Федорова и на его гостей, вздохнул и, ничего не сказав, вышел из горницы.

4. ОБЩЕЕ ДЕЛО

Разговор о черном хлебе имел продолжение.

Федоров, узнав, что Петерсон приехал в Богородск учительствовать, сказал, что уроки математики и физики будут полезнее для учеников, чем история и география, которые он, Федоров, преподает. «Почему же?» — спросил Петерсон. «Да потому, что человечеству предстоит жестокая борьба с природой. Обуздать ее, заставить служить людям, взять у нее все, чтобы достичь высших целей, — такую власть и силу могут дать только точные науки...»

— Разве природа враг, а не друг? Вот Руссо писал же, что истинное счастье и истинная свобода в возвращении к природе...

— Руссо! Свобода! (Федоров презрительно отмахнулся.) Свобода не в том, чтобы жить робинзонами и ловить жареных рябчиков, падающих с неба. Свобода — в исполнении обязанностей перед людьми, в заботе о людях. А такая забота делает человека несвободным в лучшем и достойнейшем смысле этого слова. Мать, родившая ребенка, несвободна. Любовь налагает обязанности. Оставьте новорожденное дитя на произвол природы, и оно погибнет в первый же день. Нельзя быть свободным от природы и общества. Свобода без власти над природой — все равно что освобождение крестьян без земли...

— Но вы сами же говорили, что не в материальном благополучии, не в щах и каше смысл жизни.

— Я и сейчас это говорю. Власть над природой нужна не для того, чтобы излишествовать и набивать желудки...

— А для чего?

— Ну хотя бы для того, чтобы не дать погибнуть человечеству и самой Земле. Читали у Искандера?[1] (Федоров подошел к груде книг, сваленной на полу, порылся, извлек книжку в клеенчатом домодельном переплете. На титульном ее листе значилось: «С того берега» Искандера. Лондон. Вольная русская типография. 82. Джадд-стрит. Брунсвик скуэр».)

Петерсон и Ермолов переглянулись.

[1] Литературный псевдоним Герцена.

— Не боитесь, Николай Федорович, держать у себя это?

Федоров пожал плечами.

— Бояться? Нет, я не боюсь. Совесть чиста... Так вот Искандер понимает бессмысленную, слепую жестокость природы. (Он полистал книжку в клеенчатом переплете, открыл заложенную бумажкой страницу, прочитал вслух):

«Мало ли что может быть завтра! Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории...»

Петерсон вскочил со скамейки, на которой сидел, румянец еще ярче залил его розовые, как у девушки, щеки.

— И вы верите, что науке под силу это предотвратить? Отклонить путь кометы?.. Оживить задохшееся человечество?

Федоров загадочно промолчал. Потом открыл другую заложенную бумажкой герценовскую страницу.

— «...Понимать — это уж действовать, осуществлять. Странен человек, который ничего не делает, имея перед собой дело. (Федоров с ударением произнес «дело».) Труд — не клубок на нитке, который дают котенку, чтобы его забавлять. Труд определяется не одним желанием, но и требованием на него...» Именно так. Когда возникнет требование, будет и свершение. Нет такого дела, с которым не могла бы справиться наука. (Он остановился, как бы подыскивая нужные и точные слова.) Да, природа слепа, вселенная лишена смысла. Прав Гейне, когда говорит:

> Die Welt ist blind,
> Die Welt ist dumm...[1]

Но не прав, когда продолжает:

> Das kümmert mich gar wenig![2]

Нет, не так отнесется человечество к окружающему его бесцельному, бессмысленному миру. Оно внесет в мироустройство смысл и цель. Мир дан людям не на

---

[1] Мир слеп, мир глуп... (нем.).
[2] Но это меня мало беспокоит! (нем.).

погладение, не на созерцание только, а на действие. По сути-то ведь и всегда люди считали возможным действовать, влиять на стихию. Думали и думают, например, что жертвоприношениями и молитвами можно низводить дождь с неба на землю. Но то было не настоящее действие, а воображаемое, мифическое. Так сказать, иллюзия действия. Дело теперь за тем, чтобы иллюзию превратить в реальность. Границ и пределов не будет! Человек сдвинет с места планеты и звезды, переставит и перестроит их по своему чертежу. Астрономия станет подобием архитектуры. Первым поприщем для небесных архитекторов будет, конечно, собственная наша Земля. Придут к этому, когда возьмутся за работу сообща, когда все человечество станет братской единой семьей. Не просто дело, а общее для всех людей дело...

Петерсон и Ермолов с изумлением смотрели на говорившего. Он отвечал им смущенной улыбкой, словно бы стесняясь того, что сейчас сказал. Ермолов первый нарушил молчание.

— А не думаете ли вы, что сначала надо накормить голодных, дать кров бездомным, изменить общественный строй? И потом уже думать о вселенной! Герцен, которого вы сейчас цитировали, когда говорит о деле, не забывает этого. В «Полярной звезде» читали его переписку с Печериным? Помните Печерина, того самого... Сумасбродный москвич, бежал за границу, принял там монашество, да еще католическое. Ханжа, впавший в мистику, проклинавший науку! Она-де и узка, и материалистична, и молится на вещество, и ничего-то не знает больше... «Химия, механика, пар, электричество, если они восторжествуют, горе нам!» — кликушествовал Печерин. А что ответил ему Искандер? «Шум колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой, — вот чего ждем мы в первую очередь от науки. Не отвлеченная философия и беллетристика, а химия и механика, технология и железные дороги помогут уничтожить пауперизм и рабство... Наука, одна наука может дать людям верный кусок хлеба и крышу над головой». И, разумеется, лишь после того, как рабы сбросят иго рабовладельцев... Не забывать этого учит нас Герцен.

— Я не забываю, — кротко сказал Федоров.

5. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОСКРЕСНУТ...

Чем чаще беседовал Петерсон со своим новым знакомцем, тем больше удивлялся и иногда чувствовал себя даже как бы погруженным в какой-то волшебный сон наяву. Мысли, высказываемые старым учителем (Федоров, впрочем, был вовсе не стар — ему не было в ту пору и сорока лет), были странны и противоречивы до чрезвычайности.

— ...Бог? Какое место занимает в ваших взглядах бог? И есть ли для него вообще место? — взволнованно допытывался Петерсон.

— Я верю в бога, сотворившего вселенную, — невозмутимо отвечал Федоров.

— Но как?.. Скажите, как совместить это с вашим убеждением, что природа бессмысленна, слепа, лишена цели и разумности? Ведь в этом вашем утверждении вы — чистый материалист, враг религии, которая всюду видит направляющую руку божью!

— Я понимаю так. (Федоров зябко спрятал руки в рукава кацавейки.) Замысел бога — поручить власть над природой человеку. Человеку как бы дано полномочие внести целесообразность и разум в устройство мира... Знаю, вы скажете, что Земля — незаметнейшая из пылинок во вселенной и что мозг человеческий еще неизмеримо меньше и ничтожней. Верно, но вижу в этом скрещении бесконечно большого и бесконечно малого глубокий смысл. Да, именно человеческой разумной частичке, словно малому кристаллику соли, брошенному в сосуд с раствором, суждено вызвать общую кристаллизацию, создать порядок, построить новую вселенную! Может быть, это случится не скоро, потребует большего времени, чем для кристаллика, брошенного в соляной раствор. Но ведь и мера-то времени и пространства тут другая. Миллионы лет прошли, прежде чем появился человек. И в запасе у него вечность...

— Вряд ли такое ваше воззрение придется по вкусу профессорам духовных академий. Слишком уж далеко все это от богословской догматики, слишком близко к материализму...

Федоров пожал плечами:

— Может быть.

И неожиданно спросил собеседника, слыхал ли он

о покойном Василии Назаровиче Каразине. Петерсон ответил, что знает только, что Каразин — малоросс из Харьковской, кажется, губернии. «Агроном, или химик, или еще что-то в этом роде». Федоров огорчился, сказал, что мало мы знаем о наших замечательных соотечественниках, что Каразин — один из лучших умов русского просвещения, может быть, самый большой после Ломоносова... Основал на собранные им по грошам деньги Харьковский университет и уговорил Александра Первого учредить министерство народного просвещения (попавшее, впрочем, в руки мракобеса Голицына!). В своем небольшом поместье (пожалованном Екатериной его отцу, суворовскому полковнику) устроил химическую лабораторию, первую в мире — еще до Либиха, — где были открыты законы удобрения почвы искусственными химическими веществами... Пришлось-таки посидеть Каразину и в Шлиссельбургской крепости — слишком уж резко разговаривал он с царями, слишком круто обличал крепостное право и темноту, в которой правительство держит народ... Но самое большое дело, задуманное великим малороссом, — идея управлять электрической силой, бесполезно расточаемой в грозовых облаках! Франклин первый ставил такие опыты, но дальше громоотвода не пошел. Каразин же дерзает на большее. Представьте себе воздушные шары на привязи, поднятые в самое пекло грозы. Войдя в грозовую тучу, аэростат передаст электрические разряды по проволоке вниз на землю. Можно будет заряжать батареи, заставлять работать электрические машины... А если устроить цепочку из аэростатов, обхватившую весь земной шар? Земля из магнита естественного не превратится ли тогда в электромагнит? А это, может быть, позволит управлять магнитной силой, связующей Землю и Солнце, и чрез то влиять на самый ход движения Земли. Земная планета станет тогда не плотом, безвольно влекомым, как ныне, небесными течениями, а чем-то вроде электрохода, который порвет привычные узы тяготения и двинется по воле человека... Двинется в путь по солнечной системе и даже дальше. Люди, прежде только бессильно взиравшие на небо, сделаются пловцами в небесных пространствах, и род человеческий — кормчим, экипажем, прислугой земного корабля. А если это осуществится, тогда задачей науки будет управление ходом

не только Земли, но и других планет и звезд. Человечество перейдет туда, в эти новые обители...

Бледные щеки Федорова потемнели от волнения. («Фантазер... Утопист... Может быть, бредит...» — мелькнуло на мгновение в голове Петерсона.) Федоров слабо улыбнулся.

— Я угадываю ваши мысли. Вы сомневаетесь в моем здравом смысле. Что ж, это понятно...

— Но для чего, Николай Федорович, покидать людям Землю?

— Я отвечу вам. И, может быть, испугаю еще больше. Слушайте же. Самый жестокий акт природы по отношению к человеку — с м е р т ь. Человеческая личность смертна, как и все в природе, но разум людей не мирится с этим. Мы не х о т и м умирать, и мы имеем п р а в о вырвать у природы победу над смертью! Чтобы достичь этого, нужно будет ставить опыты. Много опытов. И не только в земной среде. Биология должна будет стать частью астрономии. Жизнь придется изучать в связи с целостным космосом. И только так можно будет дознаться, при каких условиях она, жизнь, сможет быть продолжена бесконечно!

Петерсон слушал и не верил своим ушам. Он пробовал возразить, сказать, что все на свете имеет свой конец, что и жизни человека положен естественный предел, но Федоров ответил, что Герцен думает иначе и в герценовских словах великая правда.

— Вот послушайте. (Он заглянул в тетрадь, где, как понял Петерсон, записано было самое заветное.)

«Забывают, что всякая смерть насильственна. Смерть вовсе не лежит в понятии живого организма, она вне его, за его пределом. Старчество и болезнь протестуют своими страданиями против смерти, а не зовут ее, и найди они в себе силы или вне себя средства, они победили бы смерть...»

— Да, найти силы и средства, и задача будет решена!

Он умолк и, словно бы забыв о собеседнике, погрузился в раздумье.

Петерсон осторожно кашлянул, и то, что прозвучало из уст Федорова дальше, повергло его в еще большее смущение.

— Достигнуть бессмертия живущих — лишь одна

сторона задачи. Воскресить наших умерших отцов, дедов, прадедов, всех, кто жил раньше нас на Земле,— вот главная цель...

— Церковь обещает воскрешение в день Страшного суда! — воскликнул Петерсон. — Неужели вы поддерживаете этот миф?

— Ничуть. Я говорю о воскрешении предков средствами науки, о воссоздании их тела, а значит, и души из тех частиц — молекул и атомов, что составляли когда-то живую плоть. Частицы эти рассеялись в прахе земном, развеялись в мировом пространстве. Чтобы собрать их и соединить в точности так, как они были сложены раньше, понадобится вести поиск всюду — в почве земной, и в верхнем поясе воздуха, и за его пределами, в солнечном и звездном мире... Наш долг перед теми, кто нас родил, вернуть их из небытия. И к тому времени, когда это будет достигнуто, когда миллионы и миллиарды восстанут из праха, местом для новой их жизни будет вся бесконечная вселенная. Ее заселит род людской...

Федоров утомленно замолк. Лоб его увлажнился, он вытер его тряпочкой, вынутой из-за пазухи. Петерсон спросил, собирается ли автор этих необыкновенных мыслей изложить их на бумаге. В виде статьи, книги. Федоров неохотно ответил, что кое-что написано, однако лишь малая часть. Да и то в отрывках, беглых заметках, просто так, для себя, для памяти. «Я буду записывать ваши мысли!» — воскликнул Петерсон. «Там будет видно»,— сухо ответил Федоров. Петерсон запомнил этот разговор, последний в то лето шестьдесят четвертого года. Они возвращались домой после вечерней прогулки, шли по обочине вымощенной грубым булыжником дороги. «Знаете, куда ведет эта дорога?» — внезапно спросил Федоров. И когда получил ответ, что, кажется, на Владимир — знаменитая каторжная Владимирка, лицо его исказилось болью.

— Да, каторжная Владимирка, и городок сей Богородск — первый этап, где каторжных перековывали, прежде чем вести дальше. Зимой сорок девятого побывал здесь в кандалах Достоевский. А знаете, как вели тогда каторжных? На толстый железный прут с ушком на конце надевалось десять чугунных наручников, и в каждый вкладывалась рука арестанта. Людей нани-

зывали на прут, как куски мяса на вертел! Затем в ушко вдевался запор с висячим замком и ключ от него клался в сумку, висевшую на груди конвойного. Запечатывали сумку сургучной печатью, и распечатывать ее до следующего раза запрещалось. Придумали это милое изобретеиие начальник главного штаба Дибич и командир внутреиией стражи Комаровский... Теперь этого иет. Каторжных ведут по Владимирке закованиыми поодиночке. Прогресс!..

Оии свернули с дороги на тропинку мимо бедиых лачуг фабричиой слободки, лепившихся вдоль низкого берега Клязьмы. Солице тяжелым оранжевым шаром садилось по ту стороиу реки. Люди с землистыми испитыми лицами горланили у дверей трактира. Простоволосая женщииа с подбитым глазом громко рыдала, сидя на грязной ступеньке кабака. Петерсон с горечью заметил, что исполиение идей о воскрешеиии предков и о заселеиии вселеииой вряд ли наступит скоро. Федоров ничего не ответил.

Их пути разошлись в то лето. Федоров сказал, что покидает Богородск, так как не поладил со здешним начальством. «И куда же теперь?» — «В Угличе нужеи учитель, поеду туда».

К идеям ишутинского кружка, которые Петерсон пробовал перед ним развивать, Федоров отнесся без эитузиазма. Студент ие стал его переубеждать. Выстрел Каракозова 4 апреля 1866 года застал Петерсона в подмосковиых Броииицах. Ои был арестован и препровожден в Петербург. Из газет Федоров узнал, что его молодой коллега обвиняется в «знакомстве с Каракозовым и Ишутиным» и в том, что «разделял их противуправительственные взгляды и имел общее с ними намерение распространять социалистические идеи... Когда же они (Ишутин и ишутинцы) были арестованы, выражал о иих сожаление, потому что всех их знал за людей честных и бескорыстиых». О «преступном же намерении посягнуть на священную жизнь государя императора», говорилось дальше, ои, Петерсон, не зиал. И это, вместе с его молодостью, повлияло в том смысле, что чрезвычайная судебная комиссия во главе со зиаменитым Муравьевым-вешателем ограничилась для Петерсона полугодом за-

ключения в крепости. Федоров содрогнулся, когда прочитал о казни Каракозова и расправе с Ишутиным. Скорострельная юстиция Александра Второго работала быстро, и 4 октября того же 1866 года полубесчувственного от зверских пыток Ишутина привезли на Смоленское поле в Петербурге (на этом поле месяцем раньше был повешен Каракозов). Взвели на эшафот, надели саван и колпак, накинули на шею веревку. Пять минут прошло, и подъехал фельдъегерь и объявил о «царской милости» — смертная казнь заменяется пожизненной каторгой. С Достоевским и петрашевцами поступили так в сорок девятом году. Мало что изменилось, как видно, на Руси после того, как «царь-освободитель» сменил на престоле Николая Палкина! Катков в «Московских ведомостях» сокрушался только об одном — почему не повесили Ишутина. Герцен в «Колоколе» писал по этому поводу: «Посмотрите, как беснуется Катков... Какова жизнь, в которой мог развиться такой гнилой чирей? Какова лужа-среда, которая его поддержала? Перед этим действительно останавливаешься с холодным потом на лбу... Когда же, Россия, умоешься ты от этой грязи, от этой сукровицы, от этих гадов! Дай нам, твоим детям на чужбине, страстно тебя любящим, дай нам возможность жить с поднятой головой... Обмойся от катковых, оботрись...»

Они встретились снова, Петерсон и Федоров, спустя четыре года в Москве, в доме на Мясницкой, куда свела их обоих судьба.

6. ДОМ НА МЯСНИЦКОЙ

В левом крыле этого построенного итальянским архитектором внушительного здания помещалась одна из первых в России публичных библиотек. Москвичи называли ее коротко «Чертковкой» — по имени владельца, собирателя русских древностей, археолога и историка Александра Дмитриевича Черткова.

Лучшего памятника этому книголюбу и другу просвещения нельзя было и придумать.

Гордился Чертков своим древним боярским родом, в котором славились и воеводы, сподвижники Дмитрия Донского, павшие на поле Куликовом, и непокорные

митрополиты, спорившие с Никоном, и генералы в армиях Суворова и Кутузова. В Отечественную войну сам Александр Чертков кавалерийским юнкером, а затем корнетом прошел путь от Москвы до Парижа, получил солдатский Георгий под Малым Ярославцем, офицерский под Кульмом. И, выйдя в отставку, занялся собиранием книг и рукописей, в том числе редчайших, посвященных одной заветной теме — происхождению славянских народов, истории государства Российского, его письменности и культуре. Считалось в середине прошлого столетия, что по разделу иностранных материалов о России — то, что книговеды называют Rossica, — равных чертковскому собранию нет. В тридцать восьмом году выпустил он первый том описания своего хранилища под названием «Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях». И в сорок пятом — второй. Числилось там 8800 книг и более трехсот рукописей с ученейшими комментариями к каждой книжной и рукописной единице. Собирал Чертков также и древние русские монеты и признан был зачинателем научной нумизматики в России.

Вот эти-то сокровища, разместившиеся в фамильном особняке между Антипьевским и Фуркасовским переулками на Мясницкой, и завещал Александр Дмитриевич открыть после своей смерти всем «жаждущим (как писал он) света и знания об отечестве своем». Сын его Григорий Александрович выполнил отцовскую волю в шестьдесят четвертом году. Главным библиотекарем и управляющим приглашен был известный историк и литератор Бартенев. Вместе с ним надлежало быть по штату и двум помощникам. Однако на первых порах надобности в них не ощущалось. Библиотека открыта была лишь три раза в неделю, закрывалась для читателей в три часа дня. Посещало ее в первые годы не больше десяти человек в день, и Бартенев не только обходился без помощников, но и успел привести чертковские фонды в образцовый порядок. Гордостью его были каталоги, устроенные по образцу тех, что были заведены в те годы только в двух европейских книгохранилищах — Британском музее в Лондоне и Публичной библиотеке в Петербурге. Кроме алфавитного открыт был для общего

доступа еще предметный (систематнческий) каталог, где кннгн сгруппированы по прнзнаку общей темы и содержання.

Прошло каких-ннбудь трн года, н жизнь в книжном доме на Мясннцкой прнняла нное теченне. Вырослн фонды — щедрые пожертвования н прнобретення увелнчнлн к шестьдесят седьмому году чнсло томов до двадцати одной тысячи. Выпнсаны былн «Современник», «Отечественные запнскн», иностранные газеты и журналы. Двинулся густой поток читателей. Кроме почтенного внда отставных чнновннков (в обсыпанных перхотью фраках) и представнтелей ученой професснн в внцмундирах н сюртуках потянулся в Чертковку пестрый разночиииый люд. В нзящной прихожей с резиым дубовым потолком и бесценнымн венецнанскнмн стекламн, где посетнтелям надлежало оставлять шляпы и верхнее платье, швейцар в лнврее сперва с недоуменнем, а потом уже н по прнвычке принимал от новоявленных посетнтелей нх иеказнстую одежонку. Преобладала теперь учащаяся молодежь — гнмназнсты н студенты, обнтатели кварталов между Броиными и Палашовскнм переулком, аборигены знаменитых студенческих «вагонов» на Kознхе — «Чебышей» н «Дантова ада».

Длнннные волосы, дымчатые очкн н плед, перекннутый через плечо, счнтались отличнтельным прнзнаком этнх молодых людей, хотя самн студенты (те из ннх, кто не прннадлежал к мамеиькнным сынкам) смеялись иад этим маскарадом н предпочнтали ходнть в дешевых чуйках и сапогах из яловой кожн. Говорнлн шутя, что иа четверых посетнтелей Чертковкн нередко оказывалось не более двух комплектов нсправного платья и сапог, так что обнтателям студенческих «вагонов» прнходнлось устанавлнвать очередь — одни отправлялнсь на лекцню нлн в чнтальню, а другие дожндались смены...

Настало время Бартеиеву (начавшему новое хлопотное дело — нздавать при бнблнотеке исторнческнй журнал «Русский архнв») подумать о помощннках. Лев Николаевнч Толстой, блнзко сошедшнйся с Бартеневым в годы работы над «Войной и мнром», посоветовал взять Петерсона. «Юноша только что выпущен нз крепостн, где сидел по каракозовскому делу, жнвет сейчас в Москве, нуждается в работе». Толстой добавнл, что Петер-

сон учительствовал в его яснополянских школах и высказал себя знающим молодым человеком. «А кого еще могли бы вы порекомендовать?» Толстой ответил, что подумает, и через несколько дней сказал, что узнал от Петерсона об удивительном человеке. «Он будет сущим кладом для вашей Чертковки, — молвил Толстой, весело поблескивая из-под придававших ему страшный вид бровей озорными глазами. — Постник и анахорет. Мечтает, кажется, побывать на Луне, на Марсе или еще где-то, чуть ли не на звездах Млечного Пути!»

Заметив опасливое выражение на лице Бартенева, успокоительно сказал:

— Не бойтесь. Петерсон его хорошо знает. Это — разумнейший и образованнейший человек. Мыслитель самого оригинального склада. Такого подходящего человека не найти вам, хоть будете век искать по всей России.

Толстой добавил, что, по словам Петерсона, Федоров (так зовут мыслителя) сейчас не у дел в каком-то из уездов. Вызвать его надо скорее, пока он не запрятался в какую-нибудь глухую провинциальную дыру. Бартенев осведомился, как снестись с Федоровым. «Поручите это Петерсону», — сказал Толстой.

7. КНИГИ, КНИГИ...

Федоров поселился в одном из кишевших беднотой кварталов Зарядья, снимал крохотную комнатку, спал по-прежнему на тощей подстилке, уложенной кое-как на хозяйском сундуке. Раздавал, как всегда, бóльшую часть того, что получал. Себе оставлял несколько рублей на хлеб с чаем да еще на керосин для ночного чтения. В библиотеку приходил задолго до открытия, вызывая недовольство сторожей, которых поднимал чуть свет. Все уладилось после того, как новому библиотекарю вручили собственный ключ от входной двери. Бартенев не переставал удивляться своему странному, нищенски одетому помощнику. («Коллежский асессор, однако», — пробормотал он, заглянув в федоровский послужной список.) Случались с помощником и совсем неожиданные казусы. Однажды попросил Бартенев Николая Федоровича занести по пути домой экземпляр «Русского

архива» известной поборнице женского образования Екатерине Некрасовой. «Открыв дверь на звонок, — рассказывала через много лет Некрасова, — я увидела человека, которого приняла по одежде за дворника, и выслала ему на чай двугривенный. Каково было мое состояние, когда Бартенев на следующий день сказал мне, что это один из образованнейших русских людей, эрудит и мыслитель Федоров!»

Поражало Бартенева и то, с какой быстротой освоился новый библиотекарь с книжными и рукописными сокровищами Чертковской. Удивлены были и читатели. Какой-нибудь юнец-гимназист или работяга студент, посещавший дом на Мясницкой, вдруг обнаруживали, что кроме выписанных ими изданий на номере у них числится еще стопка книг, и притом самых нужных, содержащих как раз те сведения, которые они искали! Читатель спрашивал у служителя, откуда эти книги. «От Николая Федоровича», — следовал ответ.

Петерсон, державший по просьбе Толстого корректуру только что начавших печататься глав «Войны и мира», сказал Федорову, что Лев Николаевич просит разыскать для него все, что писалось о Верещагине. «Помните того несчастного московского мастерового, которого Ростопчин в двенадцатом году объявил изменником и отдал на растерзание толпе?» Федоров молча кивнул головой. «Я буду подбирать эти сведения для Толстого», — продолжал Петерсон. Но, к своему изумлению, придя на следующее утро в Чертковку, увидел на рабочем столе груду книг, газет и журналов, где говорилось о Верещагине. «Николай Федорович, дорогой, зачем? Ведь я сам хотел...» — «Не уверен, что вы не потонули бы в нашем бумажном море», — последовал спокойный ответ. Пришел Толстой, и Петерсон бросился искать Федорова. Но тот уклонился от знакомства и заперся в подвальном этаже, где хранились самые драгоценные рукописи (единственный секретный ключ от подвала Бартенев торжественно отдал Федорову). Толстой, судя по выражению его лица, обиделся, но ничего не сказал. Заметил только, что надобности в литературе о Верещагине теперь нет, что читать ее он не будет, так как встретил на днях какого-то старика («вроде вашего Федорова»), который был очевидцем событий двенадцатого года и рассказал все подробности о Верещагине.

— Старик, между прочим, сидит сейчас в сумасшедшем доме, — с лукавой улыбкой добавил Толстой.

— Николай Федорович не так уж стар, он ваш, Лев Николаевич, ровесник!

— Неужели?

Толстой смутился, а затем разразился озорным смехом. «Вот и сел в галошу. Так мне, дуралею, и надо, — повторил он, хлопая себя по лбу. — А с вашим Федоровым вы меня непременно познакомьте. Есть в нем какая-то загадка. Не дает он мне покоя...»

И, посерьезнев, вышел из библиотеки.

Совершая вместе с Федоровым обход знаменитого чертковского подвала, Петерсон не знал, чему удивляться больше. Неутомимости ли своего гида, продолжавшего и тут, не теряя времени, с лупой в руках молча исследовать черты какого-нибудь полуустава XV века. Или объяснениям, которые он давал, словно не обращаясь к спутнику, а как бы размышляя вслух сам с собой...

— Архивы посольства Алексея Михайловича к Фердинанду Тосканскому... (Он бережно приоткрыл папку со старинными документами, собранными и описанными еще покойным Чертковым.) Боже, как трудно было тогда положение государства! Тысяча шестьсот пятидесятый год. Соляной бунт, холера, Волга, неспокойная перед восстанием Разина... А он проявляет необычайное хладнокровие и государственную мудрость. Продолжает сношения с Италией, понимая, как важно это для России...

— Кто этот «он», о котором вы только что сказали? И почему важны были эти отношения с Италией? — допытывался Петерсон.

— А потому, что Италия была тогда, как и во времена Леонардо, средоточием ремесел, художеств, технического и военного искусства. Всего того, чего так недоставало тогда Москве, осажденной врагами, погрязшей в патриархальщине, потерявшей Смоленск по Столбовскому миру... А «он», о котором я говорил, — конечно, Ордын-Нащокин, великий дипломат, уму и прозорливости которого могло бы позавидовать нынешнее восходящее светило — Бисмарк!

Федоров переходил от одного прикрытого стеклом книжного угла к другому и осторожно, словно бы боясь нарушить чей-то торжественный покой, извлекал старинные издания, любовно касаясь мягкого сафьяна или толстой, почти окаменевшей кожи переплета. Сдувал бережно пыль, проверял исправность бронзовых и серебряных застежек. Потом, прервав молчание, заговорил опять. Он размышлял вслух о мастерах древнего письма — о тех, кто наносил резцом клинописные знаки Ассирии и изукрашивал иероглифами папирусы Египта, о переписчиках таинственных тибетских свитков и сокровенных индийских Вед. Что побуждало этих безвестных, не оставивших нам своих имен людей так заботливо, так благоговейно придавать письменным знакам столь изящный, прихотливо-изысканный вид? Конечно, — продолжал он, — тут действовало сознание исключительной важности, даже святости самого события, казавшегося в те времена почти непостижимым чудом. Чудом запечатления человеческой мысли на бездушной поверхности мертвого вещества! Но не только в рукописных древних памятниках, а и в гораздо более близких к нам произведениях печати семнадцатого и восемнадцатого веков... (Федоров сделал паузу и каким-то воздушным движением, почти без усилия, извлек из-за стекла тяжелый том Вольтера.) Да, и в этих новых образцах типографского искусства видим все то же преклонение перед овеществленной мыслью, получившей лишь теперь будничное название «книги». Посмотрите на эту шероховатую плотность почти не желтеющей и не касаемой временем бумаги — секрет ее изготовления утрачен давно! Оцените продуманную внушительность шрифта и радующее глаз расположение красных строк и заставок, взгляните, наконец, на этот крепкий доспех узорчатого переплета... Все, решительно все сделало эту книгу настоящим творением искусства! (Он задумчиво коснулся еще раз тома Вольтера.) Переплет, как панцирь черепахи, как щит рыцаря, оберегающий книгу от житейских бурь и врагов...

Петерсон с изумлением, почти с испугом слушал и смотрел на продолжавшего невозмутимо обходить свои владения хранителя этих бесценных богатств. «Книги для него — словно живые существа, погруженные в сон

в этом огромном мрачном подвале... (Петерсон улыбнулся пришедшей ему в голову смешной мысли.) Да, книги здесь — спящие красавицы, неподвижные и все-таки продолжающие жить своей особой, заколдованной, фантастической жизнью. А этот странный страж их покоя — переодетый в рубище принц, приходящий время от времени сюда, чтобы разбудить красавиц!»

Они подошли к болгарским старинным рукописям, гордости чертковского собрания, и Федоров заговорил о судьбах этого братского народа, о страшной его участи при оттоманском владычестве. О «почти невероятном, сказочном», как выразился он, чуде. Язык и письменность болгарские пронесены через тьму веков и не погибли, уцелели, победили вражеское иго. Ведь, в отличие от наших завоевателей-монголов, турки запрещали болгарам говорить, думать, писать на родном языке! Тургенев хорошо рассказал об Инсарове, — продолжал он, — а сколько таких Инсаровых с их мыслями и чувствами погребено вот здесь. (Он показал на чертковские фолианты.) Братство, да, братский дух, братский общий труд — вот что спасло этот народ, и этот язык, и эту плоть и кровь народную. Братство...

Он повторил это слово и, погруженный в думу, замолк.

Петерсон прервал молчание.

— Вы обещали мне, Николай Федорович, в Богородске, что позволите записывать мысли, которые складываются у вас по разным вопросам. Когда мы начнем?

Федоров недоуменно, словно бы вспоминая что-то давно забытое, посмотрел на собеседника.

— Записывать? Ах, да. Я готов.

8. РЕГУЛЯЦИЯ

В один из воскресных дней они сидели в комнате Федорова в Зарядье, и Петерсон не без труда нашел себе место на колченогом табурете у подоконника. Там можно было разложить листки бумаги и писать по новому ускоренному способу. Петерсон обучился ему, пользуясь печатным руководством, которое Федоров купил на свои деньги, чтобы пополнить им книжные фонды Чертковки. Книга вышла в свет в шестьдесят четвертом

году в Петербурге и называлась «Русская краткопись, или Стенография по началам Штольца».

— Я скажу о регуляции, — молвил Федоров, и Петерсон послушно изобразил черточкой и крючком слово «регуляция».

Он начал с того, о чем рассказывал еще в Богородске, — о первых слабых попытках управлять слепыми, неразумными силами природы. Человек, сказал он, по рождению своему не царь животных, а самое обездоленное из всех живых существ. Он — пасынок природы! Лишенный покровов, преданный холоду, голоду, болезням, на каждом шагу чувствует он близость смерти. Чтобы выжить, он вынужден подчинять себе внешний мир, поражающий его голодом, язвами и смертью. Немощный по природе, человек могуч по разуму, работе, труду. Овладение огнем было первым шагом. Теперь на очереди регуляция всей Земли, умение управлять ею и всем, что на ней происходит. О замыслах Каразина оседлать электрическую силу атмосферы он уже говорил. Когда удастся эту силу подчинить, тогда эпоха огня закончится и электрическая свеча в каждом жилище заменит свет и огонь очага. Дивная эта сила будет в руках у всех! Электричество станет царем в каждой сельской хижине... И он не видит причин, почему бы электрический ток был лишен способности управлять и физиологическими отправлениями организма. То есть влиять и передавать мускульные, нервные и душевные движения. А отсюда прямой путь к превращению больного организма в здоровый, неживого и распавшегося в целостный, живой...

— Продление жизни до бесконечности, воскрешение умерших? Вы говорили об этом в Богородске. Невероятно, немыслимо! — не удержался Петерсон, оторвавшись от своих крючков и черточек.

Федоров, словно не слыша, продолжал.

...Но это регуляция внутренняя, психофизиологическая. А сейчас он будет говорить о регуляции внешней, общемировой.

Сама природа приходит в человеке к сознанию себя. И это сознание требует, чтобы управление, регуляция расширялись постепенно на все, что остается еще неуправляемым, темным. Надо только, чтобы люди поняли эту свою задачу. И конечно — он, Федоров, не устает

это повторять, — понадобится соединение всех в общем труде познания и управления слепыми силами природы. Он понимает, что на первых порах придется ограничиться одним только небесным телом — нашей земной планетой. Работы и тут будет по горло! Паровую силу океана (облака, дождь, ураганы) надо обратить в человеческое орудие. Затем обуздать подземные огромнейшие силы, те, что сказываются в вулканах и проявляют себя страшными разрушениями. Не исключено, что есть какая-то связь между явлениями сейсмическими и метеорическими. Что тут и там действует скрытая электрическая сила. Во всяком случае, нужно думать, что электричество — не последний деятель во всей механике Земли и неба. И что можно будет найти способ следить электрическими приборами за постепенным накоплением сил, производящих сейсмические взрывы. Это первый шаг. А второй — предупреждать взрывы, не дав совершиться разрушительному погрому. Смешно думать (как думают слепцы), что человек — ничтожная пылинка и не смеет замахиваться на земной шар, не говоря уже о вселенной. Верно, что человек — пылинка, но действовать-то будет он не силой голых рук. И даже не соединенной силой миллионов рук. Человек располагает в с е й мощью сил природы. Его обязанность — лишь дать этим силам направление, а они уж доделают все...

Федоров остановился, не замечая, что Петерсон следит за отражением мыслей, быстрой волной пробегающих по его лицу. Молчание продолжалось долго. Петерсон осторожно кашлянул. Федоров не заметил и этого звука.

— ...Но если род человеческий признает регуляцию делом для себя непосильным, что ж, тогда будет он отвергнут как не выдержавший испытания. И отнимется от него власть над миром, и дана будет эта власть другому роду разумных существ на иной планете, у иной звезды...

Но я не хочу исходить из этого. Верю в то, что человечество выполнит все, что ему суждено. От регуляции Земли прямой путь к регуляции солнечной системы. Я отмечал уже, что электрические и магнитные силы (не говоря о силах ньютоновых) связывают, вероятно, Солнце с Землей и планетами. Так что все, что происходит на Земле — дождь, сушь, ураганы, землетрясения, —

всё это явления не чисто земные, а теллуро-солярные.[1] И следовательно, весь теллуро-солярный процесс должен подвергнуться регуляции. Нынешнее же состояние солнечной системы я уподобил бы тем организмам, в которых нервная система еще не образовалась. Поведение этих организмов беспорядочное, от случая к случаю, от толчка к толчку. Это не просто образное сравнение, а реальный факт. Посмотрим вместе с астрономами в телескоп на Солнце. Увидим, что поверхность светила волнуется, словно крышка над кипящим котлом. Крышка колеблется, пляшет. Не исключено, что она взлетит вверх, не выдержав давления... И обварит земной шар смертельным кипятком! Прав был в этом вопросе Герцен. Гармония вселенной, целесообразность, вечная краса природы — вздор! Задача человечества в том и состоит, чтобы предупредить, не допустить конца Земли и всего мира. Конец же этот вполне возможен для природы, оставленной на произвол своей слепоте. Солнце рано или поздно погибнет, если мы не снабдим его и всю систему планет регулирующим аппаратом. Своего рода нервными путями, ведущими от мозга к периферии. Мозг солнечной системы — человечество. А для создания таких искусственных нервных путей понадобится пустить челноки с людьми по всем направлениям — от Земли к Солнцу, к планетам и обратно... Да и вообще истинного познания вселенной род человеческий достигнет лишь тогда, когда освободится от крепостной зависимости от Земли, когда получит возможность управлять ее ходом и сам полетит в междупланетной среде...

— Но как? Каким способом? — вскричал Петерсон. — Как поднимутся люди в мировое пространство? Разум отказывается в это верить...

— Пока неясно, как это произойдет. Начнется все с полетов в атмосфере. Подняться в воздухе выше облаков тоже когда-то считалось немыслимым. Аэростаты, однако, теперь летают. И не так уж далеко время, когда в каждом уезде будет свой воздушный летательный аппарат. А потом найдут способы подниматься еще выше. И в конце концов начнется эпоха не только аэро-, но и эфиронавтики. Люди будут перемещаться по всей вселенной. Возможно, что для уловления солнечной

[1] От латинского «Теллус» — Земля и «Соль» — Солнце.

силы и для управления ею придется даже устроить в пространстве вокруг нашей планеты кольцо из множества заброшенных туда твердых опор или искусственных лун. Они послужат на создание как бы нового небесного свода. И вся наука, все естествознание станут тогда едиными и цельными — небесными и вместе земными. Все науки сольются с астрономией! География превратится в собрание сведений о небольшой небесной звездочке — Земле. И то же самое будет с химией, физикой, ботаникой, механикой. Люди, научившись управлять движением Земли и планет, получат наконец право (и теперь уже без оговорок и условностей) называться небесными механиками и небесными физиками, хозяевами и властителями Земли и неба. И сама ширь необъятная русской земли, и самый ее простор не послужат ли естественным переходом к простору небесного пространства? И не на русской ли земле прозвучит приглашение всех умов к новому подвигу — к открытию пути в звездный мир?

В один из дней — это было уже в 1873 году, — продолжая разговор с Петерсоном на эту тему в одном из библиотечных коридоров, Федоров заметил чей-то устремленный на него пристальный взгляд. Он обернулся. К разговору напряженно прислушивался (стараясь не выделяться и приложив рупором ладонь к уху, как это делают плохо слышащие люди) странного вида юноша.

9. ВСТРЕЧА

Петерсон ушел, и Федоров остался наедине с незнакомцем.

Они смотрели несколько секунд друг на друга молча и зорко, как бы проницая в скрытый от них смысл этой неожиданной встречи. От Федорова не укрылись мучительная бледность юноши, трудный его слух, бедность одежды, даже еще горшая, чем его собственная, федоровская. Ветхий, лохматившийся на рукавах и сгибах сюртук пришельца был неумело зачинен в нескольких местах. Вокруг худой шеи замотан полинялый шарф. Но не было в молодом незнакомце той покорной удру-

ченности, которую несет с собой застарелая, горькая бедность. Были в его взгляде воля и напряженная, непрерывная работа мысли. Казалось, он не замечал своего рубища, как не замечают какой-нибудь пушинки, осевшей случайно на плечо...

— Я — здешний библиотекарь, — прервал молчание Федоров. — Не могу ли быть вам полезен?

Юноша ответил, что он недавно в Москве, приехал из провинции, чтобы заняться самообразованием. Он просит извинить, что невольно подслушал разговор (вернее, донесшиеся отдельные фразы), который его необычайно заинтересовал...

— Над чем вы сейчас трудитесь, каких знаний ищете? — мягко спросил Федоров, коснувшись рукой его плеча. — И как вас зовут?

Он старался проникнуть во внутренний мир этого юноши, почти мальчика, в котором ощутил что-то бесконечно близкое себе и родное. Тот ответил, что его зовут Константином... Костей, фамилия — Циолковский. И, поколебавшись мгновение, вдруг смело посмотрел в глаза библиотекарю и не переводя дыхания вымолвил:

— Больше всего меня интересуют аппараты, которые могли бы летать в воздухе. Как птицы... И даже выше, чем птицы. Я думаю о том, как найти способ двигаться в безвоздушном пространстве и достигнуть других планет. Как преодолеть земное притяжение? Как вырваться из плена тяжести и полететь туда? (Костя показал на небо.)

Бледные морщинистые щеки Федорова окрасились слабой краской. Дыхание его пресеклось.

— Как? Вы... Вы тоже размышляете об э т о м?

— Да, — просто ответил Костя. — Я думаю об этом все годы, все время с тех пор, как только помню себя, и даже тогда, когда не умел еще читать и писать...

Он поведал, уступая просьбе Федорова, свою жизнь и обстоятельства, приведшие его в Москву.

Библиотечные залы были давно закрыты, когда он кончил свой рассказ, и ночной сторож, зевая и крестясь, выпустил их на Мясницкую, темную и пустую, где только будочники спали в своих полосатых будках да пьяные крики запоздалых гуляк отдавались дальним эхом в переулках Маросейки и Кузнецкого.

Костя Циолковский сообщил, что ему в августе этого — 1873-го — года исполнится шестнадцать лет, что приехал он из Вятки, где его отец служит по лесному ведомству. Сами они, Циолковские, — рязанские, но забраться так далеко, в Вятку, заставили отца преследования со стороны начальства. Отцу мстят за «неблагонамеренные взгляды», за то, в частности, что он сочувствовал «государственному преступнику Чернышевскому» и восставшим в шестьдесят третьем году полякам... Учился ли он, Костя, в каком-нибудь учебном заведении? Юноша замялся, сказал, что пробыл три года в вятской гимназии, но вышел из нее... (Можно было догадаться, что плохой слух мальчика помешал учиться. Костя рассказал, как в детстве, катаясь на коньках по неокрепшему льду, провалился в холодную воду, схватил скарлатину и слышит с тех пор «словно сквозь слой ваты».) И вот он в Москве, куда снарядили его родные в надежде, что он поступит в техническое училище («знаете, то, что в Лефортове»). Но, конечно, при малости знаний с поступлением ничего не выходит. И он решил учиться сам. Отец высылает ему пятнадцать, а то и десять рублей ежемесячно, но тратит он из них на еду в день три копейки, платит рубль в месяц за угол, который снимает у прачки, а остальное... Остальное уходит на покупку книг и приборов для опытов. Каких книг и каких опытов? Костя поделился своей страстью к физике и механике, сказал, что повторяет «Физику» Гано (он занимался ею еще в Вятке). И штудирует «Теоретическую и практическую механику» Вейсбаха. Многого, к сожалению, не понимает, потому что плохо с математикой, но своего добьется. Делает химические опыты, думает добывать водород для воздушного шара, но самая большая мечта — построить машину для подъема в мировое пространство! И, кажется, уже есть мысль — два упругих резиновых стержня, или нет, лучше два металлических маятника в перевернутом положении с массивными шарами на верхних концах. Если привести их в быстрое вращение, возникнет центробежная сила, которая потянет всю постройку — и вагон с пассажирами — вверх. Но, конечно, сперва нужны опыты, много опытов. Сначала с животными — мыши, кролики... Высота на первых порах небольшая, две-три версты. Спуск, конечно, с помощью самодействующего воздушного зон-

та (их называют, кажется, парашютами?). Потом подъем людей. Ои, Костя, полетит, разумеется, первым. Он думал об этом на днях всю ночь, ие смог даже усидеть дома и до рассвета ходил по улицам... Но, кажется, иичего не выйдет. Цеитробежная сила возиикнет, да, ио ие будет ли оиа погашеиа сопротивлеиием стержией? Нужиы расчеты, пока иет расчетов, иичего сказать иельзя. Но лететь иадо, непремеиио... К Луие и еще дальше!

Пока он говорил все это, торопясь и захлебываясь, то прорываясь потоком слов, то вдруг смущеиио запииаясь и замолкая, Федоров смотрел иа иего неотрывно и вспомииал слова, которые продиктовал Петерсону: «На русской земле прозвучит приглашение всех умов к иовому подвигу, к открытию пути в иебесиое пространство...»

Приглашеиие к подвигу!

Едва прошло первое чувство ошеломлеиия, вызваииое рассказом юиоши, вглядываясь с изумлеиием в его лицо, ои думал о том, как необычайно скоро обозиачилось вдруг то, что могло быть действительио чем-то бескоиечно фаитастическим и далеким. Юноша в бедной одежде, стоявший перед ним, был живым вестником этого приглашеиия. И прозвучала эта весть взаправду иа русской земле, в самом сердце ее, вблизи от священиых стен Кремля. И не через тысячу лет, а сейчас, сегодня! Не сои ли это? И кто взялся бы предугадать, как могут развериуться события дальше?

Федоров тут же бегло проэкзаменовал Костю. Зиаиия оказались иеровиыми и бессистемиыми. Зияли миогочислеииыми пробелами. Зиачит, размышлял Федоров, надо учиться. Но как? Препятствия, конечио, будут велики — глухота, бедиость, лишеиия... Но и способиости своего нового питомца — силу воли, иастойчивость, фаиатический энтузиазм — все это Федоров читал в его глазах. И были ведь примеры в истории науки — Франклин, Фарадей. Кто зиает, ие прибавится ли к этому списку еще одио — русское имя!

И, запершись в одии из вечеров в своей клетушке, Федоров разработал план заиятий и самостоятельиого чтеиия, рассчитаииый иа два года. Первый год —

начальная и средняя математика и физика. Второй — дифференциальное и интегральное исчисление, аналитическая геометрия и некоторые другие вопросы.

Он познакомил с этим планом Костю, пристально следя за выражением его лица, и был доволен, не заметив у него разочарования и скуки.

— Тебе придется долго и терпеливо учиться, мой мальчик, — сказал он, продолжая внимательно смотреть в глаза юноше. — Учиться всю жизнь. Помни, что можно стать большим ученым и не имея дипломов и патентов, не нося расшитых золотом мундиров... Это тебе во всяком случае не угрожает! Не угрожает стать жрецом науки, членом касты, отделяющей себя от простых людей. Хорошо сказал о них, об ученых бонзах, наш великий Герцен...

— Герцен, Герцен... Я слышал это имя в Вятке. Мне рассказывала о нем мать.

— Да, Герцен. Один из замечательнейших правдолюбцев и мыслителей русских. Умер Герцен на чужбине четыре года назад и оставил нам бесценные труды, которых ты не найдешь, к сожалению, в этом списке. — Федоров показал на шкаф каталога. — Но я дам тебе прочитать их. Не сейчас. Потом... Так вот, Герцен, если я правильно запомнил, так писал о науке и ученых:

«Ученый язык — язык условный, временный... По мере того, как из учеников мы переходим к действительному знанию, стропила и подмостки становятся ненужными — мы ищем простоты». (Федоров остановился и повторил отчетливо и раздельно, как бы желая, чтобы Костя наверняка услышал и запомнил эти слова: «Ищем простоты!») «А между тем, пишет дальше Герцен, под пером у этих ученых сухарей содержание науки до того обрастает этой дрянью и они до того привыкают к уродливому языку, что другого и знать не хотят. Это нужно им также для того, чтобы скрывать истину и отделываться от неприятных вопросов... Наука должна иметь смелость прямой, открытой речи...»

Итак, учись прямой, открытой речи в науке, мой мальчик, и, может быть, ты станешь ученым, которым будет гордиться твое отечество...

— Я постараюсь, Николай Федорович, — тихо промолвил Костя.

10. КОСТЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ВЯТКЕ

Два года почти каждую неделю виделись они, и, несмотря на разницу лет, на все, что их разделяло, они чувствовали духовную близость и радовались каждой возможности встретиться и говорить друг с другом.

Федоров расспрашивал юношу о его жизни в Вятке, сказал, что, как ни далека она от столиц, Вятка — город во многих отношениях замечательный. Петербургское правительство словно бы сговорилось отправлять туда в ссылку выдающихся русских людей. Кроме Герцена побывал там Михаил Евграфович Салтыков, известный наш писатель, пишущий теперь под псевдонимом «Щедрин». Читал ли Костя его «Губернские очерки», «Историю одного города», «Помпадуры и помпадурши»? Там многое списано с вятских нравов, и выведенный Салтыковым город Крутогорск — это и есть Вятка. Костя ничего не читал из Щедрина (покинувшего, кстати, Вятку еще до Костиного рождения). Но когда Федоров назвал имя еще одного знаменитого вятчанина — Павленкова, оживился и сказал, что Павленкова он знает. Павленков часто захаживал в гости к ним, Циолковским.

Оказалось, что для Федорова это имя было особенно дорогим и близким — имя его собрата по книжному делу, книголюба и книгочия.

Флорентий Федорович Павленков, переводчик и издатель, был сослан в шестьдесят восьмом году в Вятку (после отсидки в Петропавловской крепости) за напечатание сочинений Писарева. Он называл себя шутя «книжным червем», и взаправду его видели с книгой всюду — на прогулке, за обедом и, острословы говорили, даже в бане. Смелость его в обращении с петербургской цензурой была притчей во языцех. Так глумиться над цензорами, обходя их рогатки, кажется, не умел никто другой. Вятский губернатор Тройницкий и полицеймейстер Фунтиков хватались за голову, когда читали «Вятские незабудки» — сатирические сборники, издававшиеся Павленковым (автором их был он сам). Сборники пародировали стиль официальных адрес-календарей и памятных книжек (губернатор числился там под именем «Колюшки-дурачка»). Ходили по рукам и экземпляры павленковской «Наглядной азбуки», напечатанной без

имени автора — и с разрешения цензуры! — в Петербурге. На одной из страниц азбуки — там, где шла речь о букве «ц», — было помещено изображение царя Александра Второго. И совсем близко от этого рисунка находился другой, изображавший виселицу! Петух соседствовал в «Наглядной азбуке» с монахом, корова с короной, а среди текстов, предложенных для списывания учащимся, значились, например, такие:

«Мы оба были в соборе у обедни. Мы слышали блеянье баранов».

Или:

«Как приятно умирать за царя и православную веру, — сказал солдат, убегая с поля сражения. — Вполне с тобой согласен, — отвечал другой, перегоняя его».

Поддерживать знакомство с Павленковым, сказал Костя, вятские обыватели побаивались. Особенно после того, как он искусно провел опекавшего его жандармского унтер-офицера и тайком съездил по издательским делам в Петербург. Но у Эдуарда Игнатьевича (Костиного отца) он был желанным гостем, и именно из его рук Костя получил впервые «Популярную физику» Адольфа Гано.

Ее переводчиком и издателем был Павленков, и выпуском этого сочинения начал он успешно свою просветительскую деятельность. Павленковский перевод был сделан блестяще — издатель владел в совершенстве несколькими языками, — и французский текст книги был улучшен многими удачными вставками. Нечего и говорить, что Федоров держал павленковские научные издания на почетном месте и неизменно подкладывал их всем, кто приходил в библиотеку ради самообразования и жажды знаний. Занимательное изложение сочеталось в этих книгах с высоким научным уровнем и практическим направлением мысли. Это была та «прямая и открытая», лишенная «доктринерской дряни» речь в науке, о которой мечтал Герцен и которой учил своего питомца старый библиотекарь.

Тургеневский Базаров, шутливо заметил Федоров, несомненно должен был ценить и читать павленковские издания!

Их раскупали не только в столицах, но и в провинции, и, как стало известно, Павленков вынашивал еще одну важную мысль. Он задумал издавать серию «Жизнь

замечательных людей», куда должны были войти биографии великих борцов за прогресс человечества. В воспитательном значении этого рода книг для юношества можно было не сомневаться. Сколько народных талантов в России должны были они пробудить, сколько молодых умов ободрить, скольким показать пример решимости, мужества, силы воли!

Костя восторженно согласился с этим мнением и со своей стороны поделился с Федоровым впечатлением от прочитанной им в Вятке «Физики» Гано. Он рассказал, как захотелось ему увидеть воочию те диковины, которые были изображены там на картинках. И не только увидеть, но и потрогать руками, развинтить и снова собрать! Прочитав, например, главу «О звуке», он тайком смастерил несколько слуховых труб из дерева и картона. Образцами для них служили те, которые были нарисованы в книге. Испытав их, он убедился, что звуки доносятся теперь до него более отчетливо и громко. После минуты раздумья, вздохнув, признался, однако, себе, что вряд ли хватит у него решимости пользоваться на людях этими трубами. Зато по рисунку, изображавшему музыкальный прибор с одной струной — монохорд, он изготовил отличный инструмент, на котором не стыдно было играть, и даже можно было его усовершенствовать. К струне была приспособлена клавиатура и короткий смычок, приводимый в движение колесом и педалью. Получилось неплохо, но слушать его музыку, сказал, смеясь, Костя, терпеливо соглашалась одна лишь тетка. И она же помогла ему спрятать в надежное место инструмент, когда вернувшийся из присутствия отец потребовал немедленно прекратить музыкальные опыты...

Построен им был тогда еще один диковинный механизм — ветряной турбинный самокат, — к идее такого самоката прямо подводила все та же увлекательная книга. С обточкой кусков дерева он кое-как справился — соорудил нечто вроде самодельного токарного станка. Стальные пружины получились отлично из каркаса, выдернутого из старых женских кринолинов. Гвозди, жесть и проволоку пришлось купить на толкучем рынке, истратив деньги, которые ежедневно выдавались ему на гимназические завтраки. Не очень-то легко, вспоминал он, было ходить с пустым желудком, но все же он успел построить несколько самодвижущихся моделей.

Были в Вятке и другие занятные эпизоды, когда, например, один из гостей, сидевших вечером у Циолковских, попросил Костю показать действие своего самоката.

Изобретатель смутился, но, получив разрешение отца, приступил к демонстрации.

Ветер в комнате был создан искусственно — с помощью мехов, которыми пользовались для растопки печей. Самоходная модель пришла в движенье и отчетливостью своих маневров вызвала одобрение зрителей. Изобретателя угостили чаем с вареньем, и Эдуард Игнатьевич, покраснев от удовольствия, слушал похвалы по адресу сына.

Гость, побудивший Костю произвести опыт с моделью, был лесничим, сослуживцем Эдуарда Игнатьевича, и сам слыл в губернии заядлым изобретателем. Воспользовавшись удобным случаем, он попросил внимания и изложил сущность своей новой идеи (которая, по его словам, должна была совершить переворот в технике). Речь шла о водяном двигателе, способном работать вечно и без подачи энергии извне!

Вглядевшись пристально в схему, которую автор идеи воспроизвел на обеденном столе с помощью двух солонок, сухарницы и нескольких хлебных шариков, Костя сказал, что схема работать не будет. Она противоречит законам гидростатики и равновесия сил, о чем можно прочитать на такой-то странице «Физики» Гано.

Уязвленный этим критическим замечанием, изобретатель начал сбивчиво и пространно защищать свою точку зрения. Среди гостей, сидевших за столом, возник веселый шум. «Отец отослал меня спать», — закончил свой рассказ Костя, и Федоров не сомневался, что после ухода юноши должен был завязаться разговор о незаурядных его способностях. Во всяком случае именно в те дни на семейном совете решили взять его из гимназии (где ему было трудно учиться) и отправить в Москву. «Мне было сказано, что лучшая школа для молодого человека — школа жизни. И что Москва — не Вятка!»

Выслушав внимательно, библиотекарь заметил, что родные Кости поступили правильно. И когда речь зашла об очередном подборе книг для чтения, сказал, что полезно будет прочитать сочинения о Земле и Вселенной,

написанные умным английским ученым. Зовут его Джон Тиндаль. Он, так же как и Гано, мастер общепонятного научного повествования, и Костя может начать чтение хоть сегодня. «Переводил, кстати, Тиндаля тот же ваш вятский Флорентий Павленков»...

11. ЭТО — МОСКВА

В дни, когда закрывала свои двери Чертковская библиотека, Федоров выкраивал время, чтобы познакомить своего питомца с Москвой, с ее древними камнями, в которых видел «память об отцах» и «завет отцов». Завет и залог будущего. Он ходил с Костей по источенным временем плитам Кремля, рассказывал историю его башен и соборов, делился любимой своей мыслью: Кремль — вышка, маяк, с верхушки которого просматривается «объединение сынов человеческих для осуществления чаемого». Чаемое — всеобщая регуляция. Пересоздание мира братским трудом людей...

Он свел его на Воробьевы горы, и Костя замер от восторга, глядя на расстилавшееся перед ними златоглавое белокаменное море. На этих самых холмах, сказал Федоров, Герцен и Огарев полвека назад, обнявшись, произнесли аннибалову клятву на верность России. Такую же присягу обязано принести и новое поколение — присягу на верность общему делу счастья всех людей.

С непокрытой головой, бледный, с отчаянно колотящимся сердцем и широко раскрытыми глазами, смотрел Костя Циолковский на тающую перед ним в вечерней дымке Москву.

Вдруг что-то вспыхнуло вдали и разгорелось багровым заревом. Он вздрогнул и подумал, что это пожар. Федоров, увидев испуг в его глазах, объяснил, что зарево — лучи заходящего солнца, отраженные в окнах и куполах Кремля.

Москва, по улицам и переулкам которой водил своего юного друга Федоров, была уже не той Москвой, какой ее видел Герцен, и не той, которую застал Толстой,

когда вернулся в родные края после Кавказа и Севастополя.

Старое, прадедовское еще держалось цепко на всем просторе великого города — от Филей до Карачарова и от Симонова монастыря до Марьиной рощи. Но пробивалось новое, пробивалось неумолимо, и нигде не чувствовалось это так ясно, как на окраинах, куда забредали порой старый учитель и его ученик. Козы мирно щипали траву где-нибудь в Цыганном переулке или Коровьем броде в Лефортове (где в одной из усадеб родился Пушкин). Подслеповатые домишки прятались за кустами черной смородины позади ворот, запертых коваными пудовыми замками. Но не одно пение петухов будило теперь на заре обитателей этих улиц. Петухов заглушали фабричные гудки и свистки паровозов на Курской станции и на соединительной ветке Нижегородской железной дороги, прорезавшей первопрестольную с севера на юг.

Фабрики, главным образом ткацкие, шерстобитные и кожевенные, строились на московских окраинах начиная с середины шестидесятых годов, когда обезземеленный и разоренный «волей» сермяжный люд хлынул из деревень в Москву. Семья купцов Гучковых через каких-нибудь пять лет после этого заграбастала свой первый миллион, раскинув обширные ткацкие корпуса по обоим берегам Яузы. С Гучковыми тягались Цыплаковы, Морозовы, Обидины, Дерябины. Железнодорожные магнаты Губонин и Поляков отхватили еще больше, превратив Москву в город шести вокзалов, в узел семи дорог.

Шагая по окраинным улочкам, Федоров и Костя видели на каждом шагу это новое, вторгшееся в сонное царство купеческой и мещанской Москвы. Они видели людей с испачканными машинным маслом и сажей лицами, идущих тесными рядами после вечернего гудка. Усталость была написана на этих лицах, но плечи были не согнуты, руки со вздувшимися жилами махали уверенно. Древние старушки, лепившиеся у папертей Покрова и Никиты-мученика, завидя их, крестились и поспешно отходили в сторону: «фабричные идут!»

Ткацкие корпуса, рельсовые пути и депо, воздвигавшиеся Морозовыми и Губониными, требовали образованных механиков, машинистов, техников, мастеров хлопчатой нити и металла.

Возникла потребность в рассадниках технических и естественных наук, в училищах, подобных тому, куда хотел, но не смог поступить Костя Циолковский.

Закипела жизнь в научных обществах, в библиотеках, таких, как Чертковская, на технических выставках, в музеях.

Появление конно-железной дороги (конки тож) за год до встречи Федорова с Костей было еще одним маленьким событием, взбудоражившим москвичей.

Конка была детищем Политехнической выставки, устроенной летом 1872 года — в честь двухсотлетия рождения Петра Первого — в садах Кремля.

Многие талантливые русские ученые и изобретатели — Яблочков, Чиколев, Лодыгин, Зилов, Якоби — участвовали в организации этой выставки, первой в истории отечественной науки. Территория ее по вечерам была залита ярким электрическим светом, лампы этого «русского света» начали затем свое шествие по цивилизованному миру.

Известие о том, что выставка закрылась год назад, раздосадовало Костю Циолковского, но Федоров успокоил его, сказав, что все экспонаты сохранены и переданы постоянному Политехническому музею. На Лубянской площади будет сооружено для него новое большое здание. Пока же музей размещается в одном из барских домов на Пречистенке, где и можно осматривать его за пять копеек по вторникам и пятиалтынный в остальные дни.

Взмостившись на империал конки, влекомой двумя клячами, туда и направились в ближайший вторник учитель и ученик.

Путешествие не было столь простым делом, как могло показаться на первый взгляд.

Налетел дождь, и пассажиры на империале оказались беззащитными перед лицом стихии, говоря проще, промокли до нитки. У подъема на гору конка остановилась. Припрягли другую пару лошадей. Дежурившие тут же подростки — «форейторы», — оседлав переднюю пару, с гиком и свистом погнали вверх дребезжавшую колымагу. При спуске дребезжание становилось столь громким, даже для тугих Костиных ушей, что пассажиры напряженно держались за поручни, ожидая, что сооружение немедленно развалится на части.

На площади, где начиналась Пречистенка, огромное здание храма Христа-спасителя, еще в лесах, привлекало любопытство прохожих. Здесь всегда стояли толпы зевак, и разговоры сосредоточивались не столько вокруг религиозных сюжетов, сколько тех миллионов, которые были раскрадены подрядчиками при постройке храма. Работы продолжались более тридцати лет и обошлись казне уже в десять миллионов. Конца им пока не предвиделось.

От храма Христа оставалось пройти немного до дома Степанова, где помещался временно Политехнический музей.

12. «КУПЦАМ И ФАБРИКАНТАМ МЕСТА НЕТ...»

Объяснительные надписи предлагали вниманию посетителей «аппарат Румкорфа», производящий «посредством электричества бенгальский огонь и всевозможные фигуры и вензеля». Далее можно было увидеть «комнатный телеграф с демонстрацией передачи депеш через несколько комнат». Еще дальше находились «снаряды для гальванопластики» и «модели электрических локомотивов, с помощью которых можно вколачивать сваи, делать комнатные фонтаны, колоть доски». Свечи Яблочкова и электрическое солнце, «светящее посредством проволок магния», завершали раздел электромагнитных явлений. Затем шли зрительные инструменты, микроскопы большие и малые, стереоскопы, камер-обскуры, дагерротипы. К ним примыкали «аппараты Фуко» для наглядного изучения вращения Земли, «планетариумы», показывающие движение светил, глобусы и многое другое.

Костя попросил Федорова показать что-нибудь относящееся к аэростатам и механическому летанию.

Этого не оказалось.

Не было на выставке и ничего такого, что откликалось бы на драгоценные для Федорова идеи Каразина. Добыванием электрической силы из грозовых облаков здесь явно не интересовались. Это побудило Костиного гида произнести сердитую речь.

— На что направлены, — воскликнул он, — те механизмы, все более сложные и изощренные, которые изобретаются сегодня инженерами и учеными? Кому они

идут на пользу? Чаще всего только капиталистам, которые видят для себя выгоду в сокращении сельского земледельческого труда и в расширении труда городского. Цель большей части всех этих игрушек (Федоров показал на расставленные в выставочных залах приборы и аппараты) — доставление удобств, комфорта, роскоши. Господа же ученые-экономисты довольны! Ведь они смотрят на сельское земледелие свысока, как на низшую, видите ли, ступень экономического развития. Говорят с гордостью о «победе передового города над отсталой деревней». Звучит красиво! А между тем именно сельский, потом и кровью творимый труд рождает самое главное — хлеб насущный, вещи первой необходимости. Именно земледелие даст людям те обозы с хлебом, о которых писал Герцен. Сюда должны быть устремлены прежде всего силы науки. На вызывание дождя там, где засуха, на отвод воды от тех мест, где грозят наводнения. К этому стремился Каразин. Не вижу плодов его идей на этой тщеславной ярмарке. Вижу много кабинетных выдумок, безделушек вроде зеркала, позволяющего рассматривать свой собственный затылок! Не пора ли господам ученым выйти из своих кабинетов и ставить опыты не в четырех стенах, а на просторе планеты! Фабричная же промышленность и прислуживающая ей ученая каста не вносят в природу ни разума, ни воли, ни управы. Они хищнически ее эксплуатируют, а не регулируют. Они — не правители природы, а потворщики, сообщники злых ее сил. Природу к тому же портят с каждым днем еще больше — спускают в реки ядовитые отбросы, чистый воздух отравляют зловонием. Куда уж тут думать о выходе во вселенную! Купцам и фабрикантам вселенная не нужна. Банкирам и заводчикам нет места в небесной деятельности. Да и вся-то нынешняя игрушечная наука не двинется далеко, пока господствует торговая зараза. А сами изготовители игрушек (Федоров снова покосился на экспонаты) — не что иное, как купцы, продающие свои таланты и способности...

Переведя дыхание, он спрятал кисти рук в рукава и замолк. Увлеченный своей речью Федоров (а вместе с ним и слушавший его напряженно Костя) не заметил, как внимательно приглядывались и прислушивались к ним двое посетителей выставки. Это были молодые люди интеллигентного вида — один из них, видимо старший, в

форменном сюртуке с университетским значком, приблизился к Федорову. Подошедший был высок ростом, худощав, с остроконечной донкихотовской бородкой, удлинявшей еще больше его нервное тонкое лицо. С безукоризненно сшитым, элегантным профессорским его сюртуком и изяществом речи странно сочетались большие («мужицкие», вспоминал потом Костя) руки незнакомца, широкие и сильные, с мозолями на ладонях и кончиками пальцев, загрубевшими и потемневшими от кислот и реактивов.

— Извините, что, не будучи знаком, осмеливаюсь заговорить с вами и отчасти вам возразить. Я имел честь не раз видеть вас в Чертковской библиотеке, знаю ваше имя от господина Петерсона и с глубоким уважением отношусь к вашей деятельности. Я же сам... (Незнакомец назвал свою фамилию и добродушно улыбнулся.) Я сам в известной мере принадлежу к той привилегированной ученой касте, о которой вы изволили так удачно выразиться...

Федоров в ответ рассмеялся и протянул говорившему руку.

— Во многом, — продолжал молодой человек с университетским значком, — я с вами согласен и многие ваши мысли разделяю. Больше того, считаю, что ряд ваших идей представляет такое невероятно смелое и мудрое предвидение, на которое сегодня никто и отважиться бы не посмел... Но вот с чем я решительно не согласен, это с вашим противопоставлением городской и сельской промышленности. Ведь те герценовские телеги с хлебом, которые должны накормить страждущее человечество, — они-то откуда к нам придут? И разве можно вырастить этот самый хлеб без машин, без химии, без всего того, что может изготовить только современная наука в союзе с крупной промышленностью? После Либиха как можно об этом говорить! Да и Каразин, перед трудами которого я, как и вы, преклоняюсь, разве не он первый проводил на практике принцип искусственного удобрения почвы? Наконец, та предложенная вами регуляция природы вплоть до — страшно вымолвить! — планет и звезд («и до физического бессмертия человека и оживления умерших», — подал реплику молчавший до сих пор спутник говорившего) — все это будет возможно лишь при высочайшем уровне той науки, которую вы назвали кабинетной.

И все эти лабораторные «игрушки», которые расставлены здесь, они как раз добавляют крупицы знаний, без которых нельзя будет не то что достичь Луны и Марса, а и взлететь на металлических крыльях даже на сажень над землей. Ведь и сами-то вы, Николай Федорович, — об этом знает вся Москва — бережно храните у себя в библиотеке книги, рассказывающие об этих «игрушках». И не только храните, но и рекомендуете их своим читателям! Тиндаль, Гано, Гельмгольц, Бунзен — разве все это не «кабинетная» наука? Нет ли здесь у вас противоречия? И то же самое скажу о вашем отношении к городам, к городской жизни, к городскому рабочему люду. Тут, пожалуй, корень вопроса. Купцы, банкиры, фабриканты, те, которые, как вы правильно заметили, тиранят сейчас нашу грешную планету, они не уступят место так просто... В задуманном вами братском общем деле участвовать они добровольно не будут. Что толку им в этом деле! И единственное, что может вынудить их очистить место и отступить, — это сознательная воля тех, кто в больших городах работает на фабриках и заводах. Именно тут, в этой среде работников, выковывается общий труд, и братство, и воля, без которых не может быть ни освобожденья, ни спасенья. Нет, что ни говорите, а без городов, без городской крупной промышленности, без работающего там народа... («пролетариата», — подсказал второй посетитель), без городов не выйдет ничего. «Ex urbe lux!» — «из города свет!» — скажу я, перефразируя старое изречение. Но, конечно, — и тут вы совершенно правы, — города являют ныне зрелище безотрадное. Фабрики и заводы — каторга для тех, кто там работает. И наука всякий раз, когда она отвлекается на мелочи, на роскошь, на прихоти богатых, заслуживает всяческого осуждения. Об этом вами сказано справедливо... Простите меня за то, что я и мой друг (спутник говорившего поклонился) так долго злоупотребляли вашим вниманием. Надеюсь, мы увидимся с вами и обменяемся мыслями еще не раз...

Откланявшись, они ушли.

— Кто это? — спросил изумленный всем, что произошло, Костя Циолковский.

— Профессор Петровской сельскохозяйственной академии Тимирязев и с ним физик Столетов, — ответил Федоров.

13. ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК

Они увиделись не скоро.

Местом их новой встречи стало одно из знаменитых сооружений первопрестольной столицы — «замок волшебной красоты», как называл его Грибоедов, или «Пашков дом», как в просторечии окрестили его москвичи.

Построен был дом великим зодчим Баженовым в екатерининские времена на холме между Моховой и Знаменкой. Предназначался он в собственность богатому откупщику капитан-поручику Пашкову. Обширный сад с редкостными деревьями и кустарниками окружал дом на вершине холма. В восемьсот двенадцатом году словно бы чудом уцелело все это от пожара, и, глядя с вышки пашковского дома на сожженную Москву, люди со слезами опускались потом на колени и целовали землю спасенной Родины. Позже усадьба на холме перешла к дворянскому пансиону (где учились Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Салтыков-Щедрин), затем к Четвертой московской гимназии. И вот в шестидесятых годах часы истории пробили для волшебного замка начало новой судьбы. Здесь разместился очаг русского просвещения, которому суждено было стать одним из величайших книгохранилищ — книжной столицей мира. Официально присвоенное ему на первых порах название гласило: «Московские Публичный и Румянцовский музеумы». Имя Румянцова прозвучало здесь неспроста.

Сын полководца, фельдмаршала Румянцова-Задунайского, канцлер и министр при Александре Первом, он был одним из образованнейших людей своего времени. Не поладив сперва с всесильным министром духовных дел Голицыным (не терпевшим в Румянцове «дух Фернея» [1]), рассорившись затем с еще более могущественным временщиком Аракчеевым, он уходит с головой в ученые занятия. Тратит несметное свое богатство (как это делал и Чертков) на поиски редких книг и исторических документов. «Пролить новый свет на величие России, споспешествовать ее славному будущему» — такую задачу ставил перед собой ученый меценат. Еще в бытность

[1] В местечке Ферне жил и творил Вольтер.

свою канцлером и министром снаряжает на собственный счет знаменитые экспедиции Крузенштерна и Коцебу, пронесших русский флаг до краев света. Пушкин с уважением отзывался об этой деятельности Румянцова. Карамзин в письмах к поэту Дмитриеву не скупился на хвалу «сыну великого отца», делавшему все, чтобы «Россия стала величайшей нацией просвещенного мира».

В 1826 году Румянцов скончался. Собранные им ценности продолжали храниться в фамильном дворце канцлера на Английской набережной в Петербурге. Куратором и директором этого первого Румянцовского музея стал писатель Владимир Федорович Одоевский. Пребывание румянцовского культурного наследия в замкнутом аристократическом особняке на берегу Невы не могло не вызвать протеста. Общественное движение шестидесятых годов стучалось в тяжелые, литой бронзы двери дворца на Английской набережной. Спор шел о том, кому открыть эти двери, — Петербургу или Москве. Владимир Васильевич Стасов, литературный критик и книголюб, гудя своим знаменитым басом как рассерженный шмель, бурно настаивал перед петербургскими властями на передаче румянцовских фондов в Публичную библиотеку (душой которой он был). «Нас посещают ежемесячно тысячи читателей, — говорил Стасов, — и было бы преступлением лишать их доступа к этим культурным сокровищам!» Москвичи во главе с попечителем учебного округа Ковалевским столь же горячо возражали. Петербург, говорили они, уже располагает своей прославленной «Публичкой», имеет Эрмитаж, музеи и библиотеку Академии наук. Не говоря о картинных галереях другой Академии, той, что расположена у гранитного спуска на Неву со сфинксами из древних Фив. В Москве же недостает просветительных учреждений...

Спор решился в пользу первопрестольной, когда министром просвещения стал Ковалевский. В Петербурге были огорчены, и в ходившем по столице стишке, обращенном к Одоевскому, говорилось:

> Русский князь из рода древня,
> Упустил ты свой музей.
> Что ж, живи теперь в деревне,
> Ротозей ты, ротозей!

Коллекции румянцовского дома были бережно упакованы и перевезены по железной дороге в замок на

холме вблизи Кремля. Они стали истоком той могучей стремнины, о которой писал некогда древний русский летописец: «Словеса книжные напояют реки премудрости». Румянцовская публичная библиотека (ставшая через полвека Ленинской), вобравшая в себя тысячи, потом десятки, сотни тысяч и миллионы книг, открыла свой читальный зал демократическому читателю. Она получила важное для нее право на обязательный экземпляр всех книг, выходящих в России. В 1874 году ей были переданы фонды Чертковского хранилища, прекратившего таким образом свое существование. И, как это ни странно может показаться, сердцем и мозгом великого национального средоточия русской книги на долгие годы стал согбенный старичок, одетый зимой и летом в одну и ту же порыжелую кацавейку, питавшийся хлебом и водой, спавший на голых досках и размышлявший о расселении физически бессмертных людей по всей вселенной...

14. Genius loci

Федоров перешел из закрывшейся Чертковской в Румянцовскую на должность дежурного чиновника при читальном зале. И тут само собою вышло так, что кроме этой обязанности стала добровольно исполняться и другая. Взяты были под надзор каталоги, где он стал полновластным хозяином карточек, — помогал их составлять по новому, уже раньше придуманному им способу. «Зерновка» — так назвал он свое изобретение. Зерновка — теперь мы назвали бы это аннотацией — от слова «зерно», подразумевается зерно книги. Предельно сжатый обзор ее содержания. Обзор, приложенный к карточке и облегчающий поиск нужных читателю материалов. Книг в хранилище сначало было не так уж много — несколько десятков тысяч досталось от Румянцова да немногим больше от Черткова. Но потом, с поступлением обязательных экземпляров, счет пошел на сотни тысяч. И тут произошло чудо, которое не могли понять ни библиотекари Румянцовки, ни ее читатели. Чудом был не только сам он, загадочный этот старик (в семьдесят восьмом году ему стукнуло пятьдесят, но лысый его вместительный череп с остатками седых кудрей, и полусогнутая от вечного корпения у книжных полок спина, и шаркающая поход-

ка — все это уже окончательно отнимало надежду определить истинный его возраст). Чудом было то, что он знал содержание, кажется, всех этих книг, знал наизусть, где, на какой полке в бесчисленных галереях и коридорах лежит каждая. И стоило служителю принести написанное на бумажке читательское требование, чтобы повторилось одно и то же. Безмолвный взмах сморщенной, с вздувшимися голубоватыми жилками руки давал служителю знак удалиться. Теперь он оставался один среди могильной тишины бесконечных анфилад шкафов и стеллажей с их тисненными золотом, или матерчатыми, или просто бумажными переплетами. Пахло дурманящим запахом старой кожи, пыльного пергамента, засохшего клея. Подсматривавший как-то раз за ним из любопытства служитель с изумлением наблюдал одиноко бредущую среди огромных шкафов полусогнутую, шаркающую ногами фигурку. Вдруг, словно по мановению волшебного жезла, фигура останавливалась, с непостижимой ловкостью карабкалась вверх по стремянке или взбиралась по винтовой лестнице, снимала книгу за книгой, перелистывала, просматривала... Через немного времени все истребованное (и еще многое другое) лежало на столе перед растроганным читателем. Так бывало и тогда, когда требовались фолианты на арабском, японском, китайском языках. Он разбирался достаточно в восточных диалектах и, вручая посетителю какой-нибудь испещренный иероглифами трактат, не упускал случая отметить «поэзию и красоту» идеографического[1] письма. «Не правда ли, оно без сравнения превосходит буквенную письменность!»

Феноменальность его знаний казалась неправдоподобной.

Инженеры-железнодорожники, пришедшие как-то раз в Румянцовку, чтобы пополнить сведения о дальней окраине, где им предстояло прокладывать путь, были, разумеется, направлены «к Николаю Федоровичу». Бросив взгляд на схему будущего рельсового пути, он заметил, что в одном месте неверно показана высота горы, а в другом пропущен небольшой приток реки. Инженеры недоверчиво смотрели на стоявшего перед ними старика,

[1] Идеограмма — изображение целого слова или понятия посредством рисованного знака, иероглифа.

зябко прятавшего руки в рукава изношенной кацавейки. Через много месяцев на обратном пути в Москву они еще раз зашли в Румянцовку «к дорогому и уважаемому Николаю Федоровичу», чтобы сказать ему, как был он прав тогда и как они «самонадеянно ему не верили».

Директор библиотеки тайный советник Дашков нарочно спускался несколько раз из роскошного директорского кабинета в бельэтаже дома на холме, чтобы лично познакомиться со своим легендарным библиотекарем. Он называл его за глаза genius'ом loci — «добрым духом нашего книжного царства». Директор тайный советник Дашков был классиком и вместе с тем романтиком. И кроме того, хорошо воспитанным и гуманным человеком, не желавшим доставлять неприятность служащему, о котором он знал, что тот дичится чиновных людей. Директор просил поэтому своих подчиненных осторожно предупредить «духа», что к его владениям приближается начальство. Это было бесполезно. «Дух» вовремя успевал исчезнуть и спрятаться где-нибудь за шкафом в дальней галерее. Застигнутый даже там, откуда ускользнуть было невозможно, он делал вид, что роется в книгах и не слышит осторожных покашливаний и обращений по имени и отчеству.

Огорченный тайный советник капитулировал и уходил вместе со своей вицмундирной свитой.

Предложенное ему увеличение жалованья Федоров отклонил, попросил передать, что нынешних 26 руб. 50 коп. ему достаточно.

Ему было достаточно. Каждое двадцатое число к нему в каталожную приходили люди, ходившие в трескучий мороз в летнем пальто, к лицам которых редко прикасалась бритва. Приходили те, про кого он точно знал, что это не пропойцы, а неудачники, не нашедшие места в жизни и проводящие время в чтении книг. Таких в Румянцовской было немало. Служители библиотеки называли их федоровскими пенсионерами. 20-го числа он раздавал им бо́льшую часть своего жалованья, а тех, кто являлся к нему 21-го, жестоко ругал. «Вы же знаете, что двадцатого я отдаю все, что имею лишнего. Неужели вы думаете, что я держу в кармане эту пакость (он имел в виду деньги). Да будь она трижды проклята!»

Он пытался сделать своим пенсионером и Костю Циолковского, но тот, вспыхнув, замахал руками. Бросив на него колючий, пронизывающий взгляд, Федоров тронул его за плечо, сказал: «Как знаешь. Я не хотел тебя обидеть. Деньги все еще нужны, к сожалению, чтобы есть и пить. Только для этого. Деньги — мусор. Человечество избавится от них рано или поздно. Будь они еще раз прокляты!»

15. КОСТЯ ЦИОЛКОВСКИЙ ПОКИДАЕТ МОСКВУ

Занятия Кости в Румянцовской и пребывание его в Москве продолжались до весны семьдесят шестого года. Он похудел, почернел («съел весь свой жир», — шутил он), жить так дольше было невмоготу. Родные звали его домой, в Вятку. «Поезжай, — сказал Федоров, — теперь ты знаешь достаточно, чтобы стать уездным учителем. Нет почетнее этого звания. Поверь мне, старому уездному учителю. И это не помешает тебе сделать нечто большее... Вот, прочти».

Он дал ему несколько книг, припасенных для него еще раньше.

— Автор вот этих (он показал на три довольно объемистых тома) — молодой, но уже прославившийся французский писатель. Ему посчастливилось найти новую блестящую тему, до него почти не разработанную. Необыкновенные приключения исследователей природы. События, о которых рассказывается в этих книгах, созданы, конечно, авторским воображением. Это — фантазия. Но, я думаю, она заденет тебя за живое, мой мальчик!

Имя сочинителя романов, которые Федоров вручил Косте Циолковскому, по-французски писалось Jules Verne, но насчет русской транскрипции у переводчиков согласия пока не было. На обложке, например, московского издания «Воздушного путешествия через Африку по запискам доктора Фергюсона» — год издания 1864-й — значился автор Юлий Верне. Тот же автор в петербургском издании 1866 года другого романа— «От Земли до Луны 97 часов прямого пути» — писался Ж. Верне. Наконец в 1873 году, когда вышел в свет перевод

«Вокруг Луны» (сделанный известной писательницей Маркович, работавшей под псевдонимом Марко Вовчок), окончательно утвердилось знакомое отныне русской публике имя Жюля Верна.

Первые же главы «От Земли до Луны» заставили вздрогнуть от неожиданности — стало ясно, что не только он один, Костя Циолковский, и вместе с ним этот мудрый старик Федоров заглядывают дерзко ввысь, ища пути в небо! Весельчак и забубенная головушка Мишель Ардан на страницах жюльверновского романа рассуждал по этому поводу так:

«Дорогие мои слушатели, если верить некоторым недалеким людям (называть их иначе и не стоит), человечество будет вечно замкнуто в тесном круге, через который никогда не переступит, никогда не попадет в планетное пространство. Это не так. Люди будут ездить на Луну, поедут на планеты, поедут на звезды, как ездят теперь из Ливерпуля в Нью-Йорк, легко, быстро, безопасно, атмосферический океан будет скоро перейден, как перейдены уже океаны Земли...»

Эти ловкачи, члены Пушечного клуба в Балтиморе, придумали и технику полета людей в межпланетное пространство. Но тут у Кости возникли крупные сомнения. Начать с давления пороховых газов в стволе гигантской пушки Колумбиады. Ведь быстрота снаряда не может превзойти быстроты расширения газов, которые на него давят. А что может дать даже такое мощное взрывчатое вещество, как пироксилин, о котором говорится в романе Верна? Порывшись в справочниках, можно было убедиться, что больше трех-четырех верст в секунду выжать здесь невозможно. И как быть с толчком при выстреле? Пройдет ли он безнаказанно для пассажиров? Подсчитав ускорение, которое должен был испытать снаряд Колумбиады, Костя получил что-то около трехсот верст в секунду за секунду. В тридцать тысяч раз больше по сравнению с земной тяжестью! Что осталось бы от председателя клуба Барбикэна, от капитана Николя и Мишеля Ардана после такой встряски? Вряд ли они отделались бы одними лишь «приливами крови к голове». Вернее всего, их расплющило бы, как букашек, попавших под паровой молот!

Он поделился своими сомнениями и подсчетами с

«мудрым стариком», и тот долго испытующе смотрел на юношу.

— Вижу, ты не потерял времени в Москве, мой мальчик. Физика и математика пошли тебе впрок. Изучай же этот вопрос дальше и глубже, не выпускай его из виду. Решение должно быть найдено, оно будет найдено. Помни, небу суждено принадлежать людям, найти способ лететь туда — общее наше дело... А кстати, не заметил ли ты в этих книгах одну любопытную техническую мысль?

Федоров полистал «От Земли до Луны». Прочитал: «Но падение на Луну! — воскликнул незнакомец (это был капитан Николь). — Что скажете вы о падении на Луну? Мокрое место от вас там останется!» «А кто помешает мне задержать мое падение посредством удачно расположенных ракет?» — возразил Барбикэн...»

— Ракета, ракета... Фейерверочная забава. Я сам когда-то пускал ракеты в Рязани... — пробормотал Костя.

— Да, забава. Но ведь третий закон Ньютона действителен для всей вселенной. И когда ядру с тремя пассажирами грозило вечное кружение вокруг Луны, как поступил командир верновского корабля? «Час! — крикнул Барбикэн. Мишель приблизил горящий фитиль и зажег все ракеты. Ядро содрогнулось...» Тут есть над чем призадуматься. Не теряй этой мысли из виду, — сказал Федоров. — И еще, — продолжал он, — на что я хочу обратить твое внимание, это вот на какое поучительное место...

Он принялся шагать по комнате, держа в руках раскрытую книгу и воодушевляясь, словно бы находился на кафедре и имел перед собой не одного-единственного слушателя, а целую аудиторию. Заметил ли Костя, как метко и точно изображены в книгах Жюля Верна ученая каста на службе у торгашей и само торгашество? «Единственной заботой почтеннейшего этого общества (Пушечного клуба в Балтиморе), пишет Верн, было уничтожение как можно большего числа людей». И не просто уничтожение, а «с научной и благотворительной целью»! Послушать только, как страдают эти почтенные господа, когда на горизонте в данный момент не видно хотя бы плохонькой войны!

«— Как! — вскричал громовым голосом секретарь

клуба Дж. Т. Мастон. — Неужели мир не озарится выстрелами наших пушек? Неужели не возникнет самого пустякового конфликта, который дал бы нам повод объявить войну какой-нибудь державе? — Нет, не дождаться нам этого счастья, — грустно откликнулся полковник Бломсбери...»

Чувствует ли Костя, какая убийственная сатира заключена в этой сцене? Или вот еще. «Спустя некоторое время после возвращения путешественников с Луны появились объявления «Акционерного общества междузвездных сообщений», которое, имея основной капитал в 100 миллионов долларов, выпустило 100 000 акций. Публика отнеслась к этому обществу чрезвычайно благосклонно, но на всякий случай заранее был назначен ликвидационный комитет в составе судьи достопочтенного Гарри Троллопа и судебного пристава Френсиса Дейтона...»

— Ясно ли тебе, что хочет сказать здесь романист? Он прозрачно намекает, что человечество не доросло еще до полета к звездам. Сперва надо как следует проветрить Землю от торгашей и ростовщиков и только после этого с чистыми руками приступать к священной цели. Горе людям и их делу, если звездные крылья попадут в руки торговцев пушками и акционеров «Общества небесных сообщений» с основным капиталом в 100 000 000 долларов!

Они простились, и Федоров, заметив слезы на глазах у Кости, ласково потрепал его по плечу.

— Ну, ну. Будь мужчиной. Уверен, что еще услышу о тебе. Впереди вся жизнь. И дело, которому ты призван отдать эту жизнь.

16. «ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ»

Слух о «добром гении» Румянцовки — человеке необыкновенных знаний и такого же бескорыстия, снабжающем читателей самыми нужными для них книгами, — распространился далеко за пределами бывшего Пашкова дома. Слух стал достоянием всей читающей Москвы. Это произошло не без участия Петерсона. Он избрал теперь себе юридическую деятельность, устроился секрета-

рем в камере мирового судьи, изучал усиленно судебную реформу, уголовное и гражданское право, просиживал долгие часы в Румянцовке и оттуда провожал Федорова домой.

Петерсон рассказывал всем и каждому о необычайных идеях своего старшего друга и настолько заинтересовал ими читательскую публику, что в каталожной не было отбоя от желавших «поговорить с Николаем Федоровичем». Приходили книголюбы всех возрастов и положений. Завязывались споры, сыпались вопросы. Каталожная — довольно мрачная и плохо освещенная комната овальной формы, увешанная портретами предков Румянцова — превращалась в своего рода клуб. Председателем его и главным оратором был, конечно, сам знаменитый библиотекарь.

Окруженный, как всегда, толпой читателей — преобладали на этот раз студенты, и среди них несколько человек ученого вида постарше, — Федоров говорил на любимую им тему о физическом бессмертии людей. Он говорил о преодолении «самой невыносимой из всех дисгармоний мирового бытия» — человеческой смерти. Со всех сторон летели вопросы: как же представляет он себе конкретно эту неимоверную, эту фантастическую задачу? Как мыслит воскрешение умерших и бессмертие живых? Нахмурившись и наморщив свой огромный лоб, Федоров отвечал, засунув глубоко руки в рукава и сверля колючим взглядом слушателей. Усовершенствования в животном царстве, объяснял он, происходят, как мы знаем теперь после Дарвина, не какой-то чудесной силой. Никакая высшая мудрость, никакой творческий разум не участвовали в придумывании хитроумных анатомических приспособлений у плавающих, ползающих, летающих и бегающих существ. Все дело в случайных благоприятных изменениях среди множества неблагоприятных. Вредные черты уничтожаются гибелью миллионов особей, благоприятные сохраняются и накопляются наследственностью. Все это с помощью безудержного размножения и истребления слабых сильными. Двигатели этого чудовищного потока жизни — *рождение и смерть*. Человек своим разумом и сознанием призван вырваться из этого заколдованного круга. Прекратить смерть, остановить рождение, вернуть жизнь тем, кто умер, обессмертить тех, кто жив. . .

— Но как, как? — раздались со всех сторон нетерпеливые голоса.

— Человеческое тело, — невозмутимо отвечал Федоров, — как и всякое вещество, состоит из мельчайших частичек, и, по мнению тех, кто занимается вычислением их размеров, они могут быть еще меньше так называемых атомов. И в каждой такой частичке, побывавшей в теле человека, можно найти его след. Ведь любая среда, через которую проходил атом, оставляет на нем свое влияние, свой след. Ведь даже какой-нибудь валун, лежащий в степях Малороссии, своим составом и другими признаками открывает нам, что он — обломок Финских гор, унесенный оттуда ледниками... Я не знаю, сколько времени понадобится науке, чтобы, исследуя частицу величиной с миллионную долю линии, определить всю ее историю. Но как только это будет сделано, можно будет установить, в теле какого человека и в какой части этого тела находилась частица тысячу или сто тысяч лет назад. Не забудем, что почти все вещество верхнего слоя Земли — прах предков человеческих или животных и растений. «Из праха вышел и в прах изыдеши». И когда полностью будет выяснен чертеж соединения частиц в любом организме, тогда останется сочетать их вместе и получить живого человека!..

Федоров остановился, дав затихнуть все более громкому перешептыванию слушателей.

— Любопытно, — продолжал он, — что мысль об этом была высказана еще в древности Лукрецием Каром. Если есть среди вас латинисты, помнят они, конечно, эти поэтические строки из третьей книги «De rerum natura»[1] (Федоров внятно и торжественно, не запинаясь, прочитал по памяти вслух):

Nec, si materiem nostram collagerit aetas,
Past obitum rursumque redegerit ut sita nunc est
Atque iterum nobis fuerint data lumina vitae
Pertineat quicquam tamen ad nos id quoque factum!

Как это перевести? А кстати, первым, кто перевел Лукреция полностью (хотя и прозой) на русский язык, — десять тысяч стихотворных строк, труд неслыханный! —

---

[1] «О природе вещей» (лат.) — название философской поэмы Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.).

был скромный уездный нотариус Клеванов из Серпухова. Да, да, простой нотариус, чиновник двенадцатого класса, наш московский земляк. Переводил днями и ночами, отрывая время от семьи, от службы. И с помощью одного серпуховского купца, любителя наук и искусств, издал недавно — в семьдесят шестом — свой перевод. Вот какие люди живут в нашей провинциальной глухомани, господа! А строки, которые я вам сейчас прочитал, в переводе на русский звучат приблизительно так:

«Если бы частицы вещества, из которого мы состоим, могли соединиться снова после нашей смерти, тогда мы вторично появились бы на свет в том виде, в каком были раньше...»

Впрочем, Лукреций считал, что это «не имеет значенья», так как воссозданный из праха человек не помнил бы ничего о своем прошлом. «Нить бытия была бы прервана», — писал он. Я с этим не согласен. Ибо память в нашем мозгу, по всей вероятности, закреплена в том же самом узоре частиц, из которых соткана мозговая ткань. Так что, восстановив человека, мы восстановили бы полностью и его «я». Сначала, конечно, удастся возвращать жизнь людям, только что умершим, не успевшим еще распасться на атомы. А также сохранять постоянную молодость у живых здоровых людей. Но прогресс науки, верю в это, будет развиваться дальше и дальше. Первого воскрешенного, как я уже сказал, оживят, вероятнее всего, тотчас после смерти. За ним наступит очередь тех, кто менее подвергся тлению. И каждый новый опыт будет облегчать дальнейшие шаги. Заметьте, что нашим праправнукам будет несомненно труднее восстановить своих отцов, чем нам (если предположить на минуту, что мы овладеем сегодня этой возможностью). Почему? Да потому, что, чем больше поколений уходит вперед, тем больше расстояние от истока, то есть, я хочу сказать, тем длиннее история рассеявшихся частиц плоти. И тем запутаннее следы и сложнее задача отыскать и сочетать их вместе. Но с каждым новым воскрешаемым знание будет расти, потому что воскрешенные будут помогать воскресителям опознать их далеких предков... Такова, считаю я, заповедь, данная человеку богом, таков смысл прихода на Землю сына божьего, умершего и воскресшего за други своя...

— Мистика! Теология! — послышались голоса. Особенно волновался молодой человек с мальчишеским лицом, опушенным бакенбардами, делавшими его похожим на Писарева.

— Николай Федорович! — воскликнул он решительным голосом. — Имею категорически возразить. Позволите?

Федоров молча кивнул головой.

— Идея о том, что человеческий организм может быть сохранен неограниченно долго, — великолепная мысль! Это и Kraft und Stoff'у[1] бюхнеровскому не противоречит. Поскольку в вашей, Николай Федорович, теории места для бестелесной души нет, я это одобряю. Душа — просто одно из отправлений материи, продукт мозга, как желчь — выделение печени... («Ну, брат, загнул, тут посложнее», — послышался чей-то недовольный голос.) Согласен. Но вот чего я не понимаю. Зачем воскрешать предков? Кому это нужно? Мертвым — добрая память (тем, кто заслуживает, конечно!), живым — жизнь. И при чем тут, скажите пожалуйста, чья-то «заповедь»? При чем «сын божий»? Какая связь? Где логика? Человек — сочетание вещественных частиц, высшая ступень развития. Хорошо. Но развитие-то шло как? Сами же говорите: по Дарвину. Стало быть, без участия каких-либо творцов и вседержителей. Хоть убейте, не пойму, откуда могли взяться тут заповеди и откровения!

Федоров, нахмурившись и засунув еще глубже руки в рукава, не успел раскрыть рот, как был остановлен чьим-то вкрадчивым голосом:

— Позвольте, дражайший Николай Федорович, спросить вас вот о чем...

Протиснувшись из-за стоявших впереди, перед Федоровым предстал почтенного вида пожилой господин в золотых очках и с черным шелковым фуляром, повязанным поверх ослепительной белизны пластрона.

— Утопия ваша (извините, что так называю ее) очень интересна и, возможно, представляет вопрос для наук естественных. Но ведь понимаете же вы, конечно, что всей этой толпе воскрешенных личностей, всем этим, так сказать, живым трупам пришлось бы как-то уживаться с теми, кто их воскресил... Ералаш получится гомериче-

---

[1] «Сила и материя» (нем.) — название книги Г. Бюхнера.

ский! Ведь и сегодня-то нестроение людское на нашей грешной планете ой-ой-ой какое! Вспомним хоть о парижских безобразиях семьдесят первого года, о канальях петролейщиках. И не нужно так далеко ходить даже. Припомните четвертое апреля шестьдесят шестого в Петербурге или нынешние похождения милых наших вьюношей... (Господин в золотых очках и фуляре метнул взгляд на говорившего до него молодого человека.) Одним словом, я имею в виду тех, кто отрицает существование души, полагается исключительно на отправления мозговых атомов!.. Вы, Николай Федорович, высказываетесь, кажется, в пользу какого-то братства или, как его там, равенства?..

— Да, я говорю о братском общем труде, — нажимая на слова и с вызовом глядя на говорившего, молвил Федоров. — И я говорю также о неизбежном наступлении такого времени, когда люди не будут истреблять и пожирать друг друга как дикие звери. Не будет тогда банкиров и промышленников, держащих все в своем кулаке... О, на Земле не будет тесно тогда, поверьте! Смерть отойдет в прошлое, перед людьми будет вся бесконечная природа, которую они сделают своим царством человеческим и божьим...

— Вот-вот. Души нет, смерти тоже, божеское и человеческое едино, а устроителями и поощрителями всего этого благорастворения возду́хов кого прикажете считать? Господ Ставрогиных и Верховенских из «Бесов» господина Достоевского? Или, может быть, мосье Базарова из романа господина Тургенева? Или столь же знаменитых персонажей, выведенных государственным преступником Чернышевским? Стриженые девки, нигилисты...

«Кто это?» — зашептались присутствующие. «Оракул из «Московских ведомостей» Катков», — также шепотом ответило несколько голосов. «Ах вот оно что...»

— Послушайте, господин Катков...

Но в этот момент возник странный шум и движение. Кружок, образовавшийся вокруг Федорова, и сам он с недоумением оглянулись.

Причиной шума был Петерсон, почти бегом поднимавшийся через две ступени по крутой лестнице. Его лицо подергивалось, губы дрожали. За ним бежало в каталожную еще несколько человек, не замечавших, что

стучат каблуками громче, чем положено в залах Румянцовки. «Тише, господа, вы забыли, где находитесь», — раздались укоризненные голоса.

— Да знаете ли вы, что произошло? Невероятно! Трудно выразить... Боже мой! Поверите ли...

— Что такое? Говорите яснее.

Петерсон вынул дрожащими руками из бокового кармана сложенную вчетверо газету, голос изменил ему и сорвался до хрипоты.

— Ее оправдали.

17. ОНА ОПРАВДАНА

Вот уже несколько лет Россия жила, тревожно прислушиваясь к дальним раскатам грома, предвещавшим приход грозы.

Шестого декабря 1876 года на площади перед Казанским собором в Петербурге, сговорившись заранее, сошлись мастеровые и учащийся люд из Университета и Технологического. Было развернуто красное знамя, и студент Георгий Плеханов произнес речь, требовавшую земли и воли. Полиция вместе с лавочниками рыбных рядов (что в переулке перейдя Думу) набросились на собравшихся, били их шашками плашмя, медными пряжками поясов, пудовыми кулачищами. Плеханову удалось ускользнуть. Многих схватили, и тяжелее всех пришлось студенту Университета Боголюбову, получившему пятнадцать лет каторги.

В эти же месяцы шпики и доносчики из Третьего отделения продолжали охоту на людей, числившихся «распространителями пропаганды». Было арестовано несколько тысяч. Их гноили в тюрьмах и каторжных централах годами без суда и сфабриковали в конце концов два процесса-монстра — «дело 193-х» в Питере и «50-ти» в Москве. «Класс фабричных рабочих, — витиевато доносил по этому поводу царю харьковский губернатор, — требует усиленного надзора, не представляет залогов устойчивости и в большинстве своем не дает отпора возмутителям». Не успел царь прочесть эти строки, как московский ткач Петр Алексеев на процессе «50-ти» преподнес ему знаменитые слова. Их шепотом повторяли в Москве и по всей стране. Они заставили задуматься Федо-

рова и посетителей его каталога. «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Это было сказано в зале московского суда в феврале семьдесят седьмого года.

А в июле столичные газеты разнесли весть, хлестнувшую как крик боли, как удар бича по сознанию людей.

Томившийся уже полтора года в петербургской тюрьме в ожидании отправки на каторгу студент Боголюбов (тот, что был рядом с Плехановым, поднявшим знамя у Казанского собора) попался на глаза градоначальнику Трепову. Знаменитому генералу-казнокраду, наворовавшему миллионы махинациями с подрядчиками, показалось при посещении тюремного двора на Шпалерной улице, что заключенный недостаточно почтительно ему кланяется. С площадной руганью сбив шапку с головы узника, Трепов приказал его высечь. Свидетелями этой сцены были сотни политических, смотревших через зарешеченные щели-окна на тюремный двор. Они видели, как, глумясь над ними, начальник тюрьмы Курнеев показывал им издали связки розог и издевательски причмокивал, изображая свист лозы. Они слышали стоны истязаемого Боголюбова. Взрыв неистового гнева охватил тюрьму. «Был ад», — вспоминали очевидцы. Были крики ярости, звон разбиваемых стекол, лязг металла, истерические конвульсии женщин, отчаяние измученных и затравленных людей, колотящихся лбами об стены и чугунные решетки. Потом упадок сил и гробовая тишина. И зверская расправа. Предводимые своим начальником стражники врываются в камеры, избивают до полусмерти всех без разбора. Окровавленные, бесчувственные тела избитых влекутся по лестницам в карцеры и лазареты («тащили за ноги, и головы стукались о ступеньки»). Новые мучения и новые пытки...

Трепов поздравил тюремщиков с успешным подавлением «бунта» и облобызал их командира.

Летом семьдесят седьмого года весть о расправе над Боголюбовым и о кровавой драме в петербургской тюрьме дошла до провинциальной домашней учительницы, скромной дочери армейского капитана Веры Засулич. Семнадцатилетней девушкой пришлось ей хлебнуть горя — попасться в сети всероссийской облавы на «распространителей пропаганды». Участие ее в этих делах было

незначительным — она предоставила только свой адрес для писем, посылаемых руководителю одного из кружков. Ее арестовали, продержали без суда год в одиночке Литовского замка в Петербурге, затем еще год в Петропавловской крепости. Потом выпустили под надзор полиции с волчьим паспортом на бродяжническую жизнь, на голод и нищету.

Ближайшая цель этой тяжкой жизни была ясна ей отныне.

«Если палачи народа думают, что могут творить свои черные дела безнаказанно, они ошибаются». Она, Вера Засулич, докажет это своими руками.

Достав револьвер и спрятав его под широкой черной накидкой, она приходит на прием к градоначальнику, вручает ему прошение и, пока тот передает бумагу дежурному, стреляет.

> Грянул выстрел-отомститель,
> Опустился божий бич,
> И упал градоправитель,
> Как подстреленная дичь! —

писал безымянный поэт в ходившем по рукам стихотворении. Трепов тяжело ранен, но остался жив. Дежурный чиновник — это опять Курнеев (он уже на новой теплой должности!) — с диким криком вцепляется в горло стоящей неподвижно девушки, душит ее. Полицейским с трудом удается его оттащить.

31 марта 1878 года рано утром у здания Петербургского окружного суда на Литейном проспекте угол Шпалерной начинают собираться несметные толпы народа. Слушается «дело дочери капитана Веры Ивановой Засулич о покушении на жизнь генерал-адъютанта свиты его величества Ф. Ф. Трепова».

Петерсон вытер платком лоб, покрытый бисеринками пота. На секунду воцарилось молчание. Его нарушил только звук шагов удалявшегося с озабоченным видом Каткова. Молчание взорвалось гулом возбужденных голосов. Петерсона обступили, теребили со всех сторон.

— Читайте же. Рассказывайте!..

Никто не спрашивал, кого оправдали, потому что все знали, о ком и о чем идет речь. Процесса Засулич (как и

исхода упорных боев русских войск, принесших свободу Болгарии) с нетерпением ожидала Москва и вся страна. Но то, о чем говорилось в принесенной Петерсоном газете, и подробности, которые добавились в последующие дни, оказались действительно столь невероятными и полными такого значения, что эхо от этих событий разнеслось по всей России и далеко за ее рубежом.

Удивительным казалось уже то, что дело о выстреле, тяжело ранившем петербургского сатрапа, передано было не в особое присутствие, а обычному суду присяжных. Петерсон, вхожий в судейские круги, дал ответ на эту загадку. Правительство, объяснил он, не хотело придавать процессу Засулич политического значения. Дело хотели свести к поступку экзальтированной девицы, одержимой навязчивой идеей мести неизвестно за кого и неизвестно за что. Состав присяжных, которым предстояло заседать 31 марта в здании на Литейном, казался благонадежным — пожилые чиновники средней руки, купцы, служащие контор и банков. Получилось неожиданное. Суд над девушкой, чья страдальческая жизнь и благородный облик были у всех на виду, превратился в другой суд. В суд над теми, кто истязал Боголюбова и узников тюрьмы (зловещей «Предварилки», соединенной внутренним ходом с зданием, где помещался окружной суд). Знаменитый адвокат Александров добился своего. Он настоял на том, чтобы свидетелями защиты выступили жертвы злодеяний, свершившихся летом семьдесят седьмого на тюремном дворе Шпалерной. Трепов, давно выздоровевший после ранения, трусливо уклонился от показаний и был пригвожден к позорному столбу. «Мы возмущаемся, — воскликнул защитник, — когда читаем в газетах о зверствах башибузуков в братской Болгарии, куда вступили наши войска-освободители. Но как отнестись тогда к поруганию человеческой чести и достоинства, творимому вот здесь, рядом с нами, в самом центре столицы российской, под мрачными сводами зловещего мертвого дома!» Речь вызвала восторг в креслах публики. И кто же сидел там? — изумлялись газеты. Тщательно отобранные господа и дамы — судебные чины, их родственники. На особо почетных местах сияли звездами и лентами высокопоставленные лица и среди них министр Милютин и канцлер (и друг юности Пушкина) Горчаков.

В ложе печати — Достоевский и Чичерин.[1] Процесс был краток — продолжался один, только один день. Затем десять минут совещания присяжных. И ответы, прочитанные председателем суда, знаменитым юристом Кони. Ответы, заставившие вздрогнуть: «не виновна», «не виновна», «не виновна»... Бурю, пронесшуюся в эти мгновения в зале на Литейном, писали газеты, бессильно изобразить перо хроникеров. Люди в местах для публики и в креслах для почетных гостей плакали, обнимались, выкрикивали бессвязные восторженные слова. Неистово аплодировал престарелый канцлер Горчаков и вместе с ним сановники со звездами Андрея Первозванного и Александра Невского (им попомнили скоро эти аплодисменты). Достоевский долго стоял безмолвно, погруженный в думу и устремив в одну точку невидящие глаза. «Это был приговор не суда, а всего русского общества — приговор царству произвола и насилия», — писали западные газеты. «Засуличевское дело — не шутка... Похоже на провозвестие революции», — отозвался Лев Толстой.

Этому дню, 31 марта, кажется, не суждено было скоро кончиться.

Толпы людей, запрудившие с утра Литейный и Шпалерную, терпеливо ожидали вестей о происходящем за стенами мрачного углового здания. Рабочие со строящегося неподалеку моста через Неву мешались в толпе с молодежью в косоворотках и высоких сапогах. Полиция оттесняла людскую массу к набережной, люди собирались снова. Вечером молнией пронеслась весть: оправдана! В зале суда к председателю Кони, только что объявившему подсудимой «вы свободны», подошел жандармский генерал. Щелкнув шпорами, сказал, что с минуты на минуту ожидается курьер из Зимнего и что Засулич нужно не выпускать. Она, вероятно, будет снова арестована по указу самодержца. Ответом была презрительная усмешка: «Генерал, в этом здании распоряжаюсь только я и подчиняюсь только закону, а не Третьему отделению собственной его императорского величества канцелярии». Генерал скривился и отошел. Засулич

---

[1] Б. Н. Чичерин (1828—1905) — ученый-правовед, публицист и общественный деятель.

с узелком принесенных из тюремной камеры вещей и в наспех накинутом на голову платке вышла из ворот на Шпалерную и была подхвачена человеческим морем. Дул пронизывающий ветер с Невы. Шел лед. Ей не было холодно. Раздались крики: «Жандармы! Жандармы!» Со стороны Кирочной скакал жандармский взвод. Дружеские руки подняли ее высоко над головами, втиснули в застрявшую средь толпы извозчичью карету. На козлы, потеснив возницу, вскочил юноша с бледным лицом и спускающимися почти до плеч волосами. Хлестнул кнутом изо всех сил. Карета помчалась. Засулич была спасена, укрыта у друзей, переправлена за границу. Там узнала о том, что Энгельс назвал ее «героической гражданкой» и что «на 48 часов Европа забыла о Бисмарке и Биконсфильде, чтобы заняться только Верой Засулич и ее удивительным процессом»... Это было позже. Теперь же, вечером 31-го, курьер, прискакавший из Зимнего с приказом об аресте оправданной, и конные жандармы, ворвавшиеся карьером в толпу, сделали свое дело. Нагайки и сабельные удары хлестали и рубили направо и налево. Молодой человек (это был тот, кто вскочил на извозчичьи козлы и, отъехав немного, передал карету с Засулич другому) выстрелил в жандарма. Потом приставил револьвер к виску и покончил с собой. Его имя — Сидорацкий — долго не сходило со страниц газет. Катков в «Московских ведомостях» злобно обрушился на столичных присяжных, обливал грязью председателя суда, глумился над «выжившими из ума сановниками», аплодировавшими «стриженой девке-нигилистке». Царь уволил министра юстиции Палена, приказал изъять из суда присяжных политические дела. Кони предложили подать в отставку. Он отказался — судьи по закону несменяемы. «Судите меня, приискав для этого подходящую уголовную статью, и осудите. Тогда и только тогда вы сможете меня удалить. Hier stehe ich und kann nicht anders!» [1]

Федоров в первый раз в тот день, не дождавшись закрытия читальных залов, ушел из Румянцовской потрясенный и нравственно оглушенный всем, что услышал.

---

[1] «На этом я стою и не могу иначе!» (нем.) — слова, сказанные Лютером.

Его сопровождал, осторожно поддерживая под локоть, Петерсон. Но, не дав пройти и трех шагов, их догнали посетители каталожной, остановили библиотекаря и, заглядывая ему в глаза, просили дать ответ.

— Правильно ли поступили присяжные, сказав «не виновна» девушке, которая сама признала на суде, что ранила градоначальника? Как поступили бы на их месте вы, Николай Федорович? Вы, мечтающий о братском общем деле и о согласии всех людей на этой Земле?..

Он нахмурил брови, засунул глубоко кисти рук в рукава, долго молчал, потом вымолвил:

— Я сказал бы ей: иди на волю и не стреляй больше в градоначальников. Этим ты не добьешься ничего...

18. ДУ́ХИ В РОССИИ

Невероятные дела стали твориться, и столь же невероятные издания с некоторых пор стали поступать в Румянцовскую библиотеку. Они заставили то хмуриться, то едко усмехаться ее рачительного хозяина.

Из-за океана пришла почтой книга «Новейший спиритизм», отпечатанная в Бостоне (в штате Массачусетс). Петербургское издательство, не желая отстать от Америки, презентовало читателям перевод с английского — «Спиритизм и наука. Опытное исследование над психическою силою Вильяма Крукса». Затем последовали отечественные опусы на ту же тему господ Аксакова (племянника известного писателя), Вагнера, Бутлерова и других. В газетах появились еще более странные сообщения о гастролях в России загадочных личностей. Они именовали себя «медиумами» и за приличный гонорар вступали в сношение с загробным миром. Делалось это в темной комнате, где участники сеанса сидели, сцепив руки, за столом в ожидании появления духов. Духи давали о себе знать бренчанием гитары, звоном колокольчиков, брызгались ароматическими эссенциями, хватали присутствующих за руки и за нос, подбрасывали (из потустороннего мира, разумеется) букеты цветов... Все это называлось спиритизмом, от латинского «спиритус», что значит дух. Столы, за которыми сидели спириты, ходили ходуном, даже подпрыгивали к потолку. Сам медиум при этом предполагался сидящим неподвижно в кресле и по-

груженным в глубокий сон. Некоторые из наиболее беспокойных покойников оставляли отпечатки своих рук и физиономий на тарелках с расплавленным воском. Другие показывались — на почтительном, впрочем, расстоянии — в полный рост с усами и бородой либо в образе прелестных девушек в белых хитонах и с розами в волосах. И хотя один из женских духов, схваченный кем-то за талию, вырвался из рук с отборной бранью, оставив скептику кусок вполне материального тюля, это было объяснено научно. Флюиды, циркулирующие между духом и медиумом, грубо нарушенные посторонним вмешательством, произвели материализацию духовной субстанции!

Увлечение этими чудесами достигло апогея, когда в Москву прибыл на гастроли сам знаменитый Юм, англичанин, выписанный в Россию Аксаковым и Бутлеровым. По сравнению с Юмом другие медиумы могли показаться робкими приготовишками. На сеансах заморского гостя духи приносили с собой из царства теней не только горшки с цветами, но даже живых угрей и раков! В протоколах лондонского кружка спиритов значилось, что «мистер Юм, сидя на стуле, поднялся на воздух при лунном свете, вылетел в одно окно и влетел в другое на высоте семидесяти футов...».

С немалым интересом узнала читающая публика и историю обращения в спиритическую веру такого знаменитого и уважаемого ученого, каким был академик Бутлеров. «Мы уселись, — писал его друг и тоже известный ученый, профессор Вагнер, — за круглым столом: Бутлеров, его тетка и я. Потом за тем же столом расположился Юм. Потушили свет. Не прошло и пяти минут, как стол затрещал и двинулся.

— А ноги ваши где? — спрашиваю я Юма.

— Вот они, — говорит он и кладет обе свои ноги, закутанные пледом, на мою правую ногу и смотрит на меня в упор. А стол продолжает подвигаться... Таково было первое наше знакомство с медиумическими явлениями»... Затем Бутлеров присутствовал «при полных поднятиях стола вне прикосновения рук присутствующих», а в другой раз «ясно чувствовал, как мою руку нежно гладили и ощупывали маленькие, детские, теплые ручки» (детей в комнате не было). «Двигались различные предметы — гармоники, колокольчики, платки». Было много

и других чудес, «неподдельность которых, — писал Бутлеров, — не подлежит для меня ни малейшему сомнению». И так, «волей-неволей, постепенно и медленно, но неотразимо я приведен был к признанию реальности медиумических явлений. Причина этого признания заключалась для меня в том, что с фактами не спорят!..»

Не удивительно после всего этого, что многие замоскворецкие обыватели отказались по вечерам от привычного преферанса и подкидного дурака и стали проводить время в темноте за столом, сцепившись руками и беседуя (на чистом русском языке) с духом Юлия Цезаря или Александра Македонского.

Вслед за медиумами — вызывателями духов — густо пошли ясновидцы, чтецы мыслей (так называемые телепаты), а также предсказатели судьбы, предлагавшие за умеренную плату проникнуть в будущее, посмотрев в магический стеклянный шар. Говорилось, что все это отвечает последнему слову науки и одобрено знаменитым ученым, академиком Бутлеровым. И уж, конечно, это выглядело гораздо солидней, чем какая-нибудь тривиальная колода засаленных карт, сулящих ссору с червонной дамой при пиковом интересе...

Это своеобразное поветрие оживленно обсуждалось в каталожном зале Румянцовки.

— Нет, вы скажите, Николай Федорович, как вот это понять? Как объяснить, что глупейшими фокусами, этакой чепухой на постном масле занимаются ученые? Да, да, светила науки! — кипятился долговязый юноша в гимназической, слишком короткой для него куртке. Он размахивал красными, как у гуся, руками в чернильных пятнах, и его срывающийся на фальцет тонкий голосок смешно не соответствовал дюжему росту и пробивающимся гусарским усикам. — Ну хорошо, Юм или этот, как его?.. Одним словом, жулики, фокусники, дело ясное. Но ведь Крукс-то, Крукс! Читали? «Слова бессильны описать красоту... Самый воздух вокруг нее светится... Хочется пасть перед нею ниц и замереть благоговейно»... Это он о духе, явившемся к нему в образе прелестной девицы. А ведь профессор физики! И, кажется, уже за пятьдесят... («В этом возрасте, юноша, на женскую-то красоту особенно и льстятся. Это еще у Пуш-

кнна Александра Сергеевнча написано!» — пробубннл нз задннх рядов чей-то мрачный бас.) Нет, я серьезно. Или вот еще господин Целльнер. Из немецкого универснтета знаменнтость. Духн у него веревочный узел развязали, не тронув сургучной печати, пншет, что духн в четвертом измереннн н потому печатн нм не мешают. Потеха! А наш-то, наш-то Бутлеров... Ведь, кажется, академик, ученостн не занимать, лекцнн чнтает, хнмическую реакцню, говорят, открыл такую, что можно будет спнрт получать прямо из простейшнх газов... (В кружке, столпнвшемся вокруг Федорова, нроническн хмыкнули, но гнмназнст, не обратнв внимання, продолжал.) Представьте, у Бутлерова дух стащил с пальца перстень н пересадил на другой палец! Сам читал в «Московскнх ведомостях». *Это* как поннмать прикажете? То есть я хочу спроснть, как получается, что ученые мужн позволяют себя обжулить? И верят во все это...

— Вы хотите знать как. Я отвечу вам.

Федоров обвел спокойным взглядом обступнвший его со всех сторон кружок.

— Слышали про французского фнлософа господнна Конта? И про его *познтивную* философню — так ее именуют. Хвалнтся она тем, что ограннчнвает познанне однНм лишь чнстым опытом. То, что *вижу*, то, что *слышу*, — вот все, что мне дано, н дальше этого ннчего не знаю н никогда не узнаю. И это называют последннм словом фнлософской мыслн! Упасн нас боже от такого «слова». Вернее будет сказать, что «слово» это — очередное видоизменение метафизической схоластики, которая сама произошла от схоластики богословской. Слепцы обращают свою слепоту в добродетель и обрекают науку на вечное младенчество. Ибо познание мира, такого, каков он есть, мира, лежащего позади наших чувств, позитнвистами отрицается. А ведь только мир, познанный в истинной своей сущности, может быть изменен, регулнрован человеком. А не мир — декорация, мир — фикция, составленная из внешней кажимости. Наука, однако ж, не желает быть кастрированной. Она рвет все эти путы. Вот-с, вспомните, как опростоволосился господин Конт, когда вздумал предсказать, что человек никогда не узнает химического состава солнца и звезд. Ведь туда с пробиркой и лакмусовой бумажкой не отправишься. А чистый опыт, — от него в данном

случае толку мало! Глаза человеческие, даже вооруженные телескопом, видят не солнце, а желтый блин с черными пятнами, не звезды, а блестящие точки. Вот вам и пределы познания! Ан нет, не прошло и десяти лет, как наука добилась своего. Посрамила позитивистов. Определила химический состав небесных светил...

— Бунзен и Кирхгоф, — пискнул долговязый гимназист.

— Да, Бунзен и Кирхгоф. Спектральный анализ. Вот и получается ответ, каким образом дают себя одурачить мудрецы из ученого сословия. Ведь дальше ощущений, получаемых глазами и ушами, дальше поверхности явлений знать ничего не хотят. Что им покажут, тому и верят. И это у них называется «фактами, с которыми не спорят»! Факты... Не понимают, что «факт», взятый из внешних впечатлений, факт, не осмысленный критически, — такой факт в науке гроша медного не стоит. Ведут себя, одним словом, эти господа на спиритических, телепатических и тому подобных зрелищах не как ученые, а как наглотавшиеся дурмана курильщики опиума. Увидеть в таком состоянии можно все что угодно, хоть бы и самого черта с хвостом и рогами! Одурманиваться, кстати, ухитряются люди всяческими способами, ну хотя бы кружением и скаканием, как у хлыстов, скопцов и прочих мистических сект. Одним словом, не вижу разницы между кликушами из низших (как их называют) слоев общества и мистиками из высших. Да и весь мистицизм есть принадлежность народов еще недозревших, слабых в познании природы или же сословий, так сказать, перезревших, отживающих. Наука в их руках превращается опять в колдовство, магию...

Федоров остановился и обвел пронизывающим взглядом слушателей, как бы желая проверить впечатление от сказанного им. Аудитория ждала, что он скажет дальше. Гимназист высунулся было, но его дернули за фалды и он осекся. Поглощенный своими мыслями, Федоров не заметил Петерсона, который, появившись с некоторым запозданием в каталожной, быстро записывал его слова стенографическими знаками в тетрадку. Не заметил и высокого худощавого господина в профессорском вицмундире с донкихотовской бородкой на тонком лице. Он незаметно подошел к кружку и следил с сочувственным видом за речью Федорова.

— Но есть, — продолжал тот, — в современном мистицизме и другая сторона. Как ни тщатся господа позитивисты вытравить у людей желание познать непознанное, проникнуть в потаенную суть вещей, сделать это не так-то просто. Истребить это врожденное человеческое стремление невозможно. И вот видим, как чрез медиумов, телепатов, колдунов надеются кратчайшим способом открыть мировые тайны. Детская простота! Не понимают, что магия и волшебство, хотя бы и в нынешней якобы научной форме, дают лишь иллюзию власти над природой. Они так же мало способны дать человеку эту власть, как ребенку, скачущему верхом на палочке, нельзя научиться управлять настоящей лошадью. И показом каких-нибудь чучел в темной комнате (спириты, говорят, пользуются для своих фокусов чучелами!) можно, конечно, с успехом морочить ученое сословие. Можно шарлатански «материализовать духи покойников», но нельзя добиться подлинной победы над смертью. А такой победы человечество несомненно добьется, хоть и понадобится для этого бездна трудов. И прежде всего освобождение науки от торгового и промышленного рабства...

Федоров круто оборвал речь энергичным жестом, показывающим. что вопрос для него ясен. Он сделал было шаг, чтобы уйти к своим делам, когда его остановил голос, принадлежавший высокому худощавому господину с донкихотовской бородкой. Федоров узнал профессора Тимирязева и учтиво поклонился. Тот протиснулся к нему и крепко сжал его руку.

— Николай Федорович, здравствуйте! Рад, что свиделись снова...

— Мне всегда приятно видеть вас, Климент Аркадьевич.

— Задержу, если позволите, на минутку. Как в тот раз на выставке, помните?

Федоров утвердительно наклонил голову.

— Метко и точно ухватили вы суть нынешней обскурантской эпидемии. Хочу только опять вступиться за ученое сословие. Любите вы, Николай Федорович, погладить нашего брата против шерстки... Что, не прав я? (Тимирязев залился добродушным смехом.)

— Долгий разговор, — махнул рукой Федоров.

— Так вот, русская наука не молчит, а дает отпор безобразию. Столовращателям, телепатам e tutti qu-

anti.[1] В Питере работала комиссия Менделеева, и сам Дмитрий Иванович выступил с лекциями в Соляном городке. Не только разоблачил перед публикой плутни медиумов, но — что еще важнее — показал общественный вред, наносимый этими господами. И у нас в Московском университете тоже попробовал было парадировать один такой артист — Бредифф, если память мне не изменяет. И был пойман за руку публично профессором Столетовым. Ведь до чего дошло дело! Привидения стали по ночам являться. И где бы вы думали? Не на горе Брокен, а на Зацепе в меблированных комнатах! Не давал спать один такой призрак. Репортер из катковских «Ведомостей» выезжал на место и удостоверил: действует-де «дух женщины, бросившейся в воду по причине несчастной любви». Так и написано: «по причине несчастной любви». Дух оказался шаловливый — «стучал в двери, мяукал по-кошачьи и сотрясал стены». Ну, жильцы, разумеется, в панике. Стали разъезжаться, хозяину разорение. Спириты, конечно, тут как тут. Господин Аксаков даже подвел теорию — психическая-де энергия остается после смерти и концентрируется лучами и звуковыми волнами... Каково! Профессор Столетов со своими студентами не поленились. Отправились ночью на Зацепу и вывели на свет божий психическую энергию. Оказалось — великовозрастные озорники из соседнего дома забавлялись, пугая по ночам обитателей меблирашек...

— Но Бутлеров-то, Бутлеров! — вскипел гимназист с гусарскими усиками.

— Что Бутлеров? Я давно знаю Александра Михайловича, слушал его лекции. Ученый с мировым именем, сделал в своей области немало замечательных открытий. И в таковом качестве я его ценю и уважаю. Но ведь надо знать и мировоззрение Бутлерова, его взгляды в вопросах общественных, философских. Николай Федорович правильно сказал. Тут все к одному. Бутлеров еще в шестидесятом году в Казани (где он был ректором) так круто повернул против освобождения крестьян и за сохранение крепостного права (сам ведь владел не одной сотней душ!), что студенты заволновались. И не только студенты. Профессорская коллегия in corpore. Пришлось ему покинуть Казань. А что писал он по вопросам фило-

---

[1] И всем прочим (итал.).

софским? «Подобно тому как сила может существовать без материи, так и дух человеческий может пребывать без своей бренной оболочки, и со смертью тела душа не погибает, но продолжает жить и развиваться в новой сфере своей деятельности...» Правильно я цитирую, Николай Федорович?

— Вы процитировали правильно. И еще более правильно, что сила не может существовать без материи, как и дух без тела, — тихо ответил Федоров.

19. СИЛА И МАТЕРИЯ

Решительно, этот пресловутый дух вместе с нежелающей отделиться от него материей продолжали оставаться в центре общественного внимания в те годы бури и натиска в науках о природе.

Каждый номер журналов, каждый экземпляр научных монографий, приходивших в эти семидесятые годы девятнадцатого века, приносил и в самом деле что-нибудь новое в физике, биологии, химии, астрономии. Вслед за «Происхождением человека» Чарлза Дарвина последовали один за другим «Трактат об электричестве и магнетизме» Клерка Максвелла, затем молекулярная теория теплоты и вещества того же Максвелла, а также Больцмана и Ван дер Ваальса, спутники Марса, открытые Асафом Холлом... Да, то был подлинный Sturm und Drang[1] испытателей природы, и это был ответ материалистического естествознания телепатам, ясновидцам и прочим духоведам, вертевшим столы в университетах и колледжах по обеим сторонам океана.

Случались, однако, в этом историческом потоке и такие эпизоды, которые повергали в неудержимый смех всю читающую Европу.

Просматривая как-то раз поступившую к нему в каталог пачку английских журналов — «Контемпорари ревью» («Современное обозрение»), «Спектейтор» («Наблюдатель») и других, — Федоров натолкнулся на статью, заглавие которой заставило изумленно приподнять

[1] Буря и натиск (нем.).

бровь. Заглавие гласило: «Молитва о выздоровлении». А автор? Имя автора обозначено не было. Но кто бы мог подумать, что рекомендательное предисловие к статье со столь странным названием было подписано знаменитым физиком Джоном Тиндалем? Тем самым Тиндалем, книги которого он, Федоров, давал когда-то читать юноше Циолковскому.

Имя этого английского ученого было хорошо известно образованной России. Глубокий мыслитель и автор многих ценных работ по акустике и тепловым явлениям, он был в то же время (как и француз Гано) зачинателем популярного изложения сложных вопросов науки. Это особенно нравилось Федорову в Тиндале, как и его непримиримость к любым попыткам подменить науку шаманскими и магическими ритуалами.

Переводы речей, лекций и натурфилософских трудов англичанина расходились в России многими изданиями (причем искусство Павленкова в обращении с цензурой помогло им дойти почти без повреждений до русского читателя!).

Вот и сейчас на столе в Румянцовской библиотеке лежала готовая к отправке в читальный зал стопка тиндалевских книг. Тут были «Лекции о свете», «Вода в виде облаков, рек, льда и глетчеров», «Тепло и холод», «Устройство вселенной» и некоторые другие. Все это бережно было отложено Федоровым для какого-то начинающего читателя с подбором, главным образом, публичных лекций. Блестящим мастером их был Тиндаль. Да, никогда еще в Англии и во всей Европе не было раньше такого случая, чтобы маститый ученый, член Королевского общества и многих иностранных академий всходил на кафедру не только перед студентами и профессорами, а и в аудиториях рабочих и ремесленников (как, например, в шотландском городе Данди, где он читал о «Материи и силе» перед тремя тысячами шахтеров и их семьями). Это было опять то, что не переставало восхищать Федорова, — нежелание английского физика быть ученым сухарем и представителем напыщенной жреческой касты. Поистине этот британский академик не упускал случая поглумиться над чопорностью и ханжеством некоторых своих соотечественников! Он умел расцветить свою речь остротами, шутками, меткими и озорными словечками. Говоря о солнечной энергии, запасаемой растения-

ми и переходящей в организм животных и людей, он первым, кажется, бросил в публику блестящее сравнение: «В этом смысле мы все — порождения солнечного огня и дети Солнца!» Но мы не должны, продолжал лектор, «упускать из виду, что разделяем наше небесное происхождение с гораздо менее высокопоставленными существами. Лягушка и жаба, орангутанг и макака черпают силу из того же источника, что и человек!» (Стенограф и издатель тиндалевской лекции сделали в этом месте примечание в скобках: «Смех и аплодисменты в зале».)

«Может быть, между вами, — восклицал далее Тиндаль, — найдутся и такие, что с ужасом усмотрят здесь тенденцию к тому, что они назовут материализмом. Но необходимо знать, что физик и в самом деле должен быть материалистом... Ведь все видимое и то, что мы чувствуем в себе, то есть явления физические и явления духовные, — все это берет свое начало во всемирном бытии материи...»

Тут ни слова не говорилось о творении мира богом, и Федоров недовольно поморщился, читая эти строки. Но здесь же рядом, буквально на той же странице, он дошел до фразы, поразившей его своей близостью к его собственным, федоровским мыслям.

«Если бы химик умел составить из атомов и молекул ребенка, он сделал бы эту работу в своей лаборатории, как любую другую. Почему бы нет? Какой закон природы, какое правило науки запрещает это?»

Очевидно, это было то, о чем мечтал он сам, Федоров! Возможность воссоздавать, воскрешать средствами естественных наук человеческие существа из праха. Воскрешать людей целиком с их мыслящей и чувствующей душой и плотью! Тиндаль называет это материализмом. Что ж, это его право. Дело не в словах, дело в том, что за ними скрывается...

Или эта великолепная тиндалевская речь «Ду́хи и наука», где с неподражаемым сарказмом оратор рассказывает о своих впечатлениях от спиритического сеанса. Его пригласили туда, чтобы он засвидетельствовал научным авторитетом реальность бесед с покойниками. «Дело шло о нечеловеческой силе духов, — с британским юмором сообщал Тиндаль. — Но я решил попробовать побороться с ними и, крепко обхватив стол ногами, от-

кинулся на спинку стула. При этом я сделал вид, что рассеянно осматриваю потолок и стены. И что же! Ожидания мои сбылись. Несколько секунд оставался открытым вопрос: кто сильнее, духи или мои мускулы? Последние одержали верх, и стол остался недвижим. Этот интересный факт, однако, был известен лишь мне да тому духу, с которым боролись мускулы моих ног!..»

Замечательно было сказано Тиндалем и о тех людях, которые, вместо того чтобы регулировать природу своим самоотверженным общим трудом, возлагают нелепые надежды на чудо, на молитвы господу богу.

«...Те, кто затевают подобные молитвы, — писал Тиндаль, — знают, что век чудес прошел, и тут же просят о совершении чудес. Они просят хорошей погоды и дождя, хотя настолько благоразумны, что не просят, чтобы вода потекла сама собой из долины на вершину горы. Между тем ученые видят ясно, что исполнение первой просьбы было бы таким же нарушением закона сохранения энергии, как и исполнение второй!»

Статья с экстравагантным названием «Молитва о выздоровлении», оказывается, была прямым логическим продолжением этой последней мысли.

Озорной и насмешливый характер Тиндаля проявился тут вовсю. «Как бы вы думали, — рассказывал своим друзьям после изучения английских журналов Федоров, — как бы вы думали, что предложил Тиндаль на страницах «Контемпорари ревью»? Ни больше и ни меньше, как провести по всем правилам науки следующий эксперимент: «подвергнуть проверке (так написано у Тиндаля) и точному измерению сверхъестественную силу, которая возникает в результате молитвы, обращенной к богу». Каково! Устроить такой эксперимент он рекомендует в своем предисловии к анонимной статье в «Ревью». Но и сама статья, конечно, написана тоже им...» [1]

— Эксперимент с молитвой богу? Как это возможно?

— А вот как.

[1] Здесь Федоров ошибся. Автором статьи, как выяснилось впоследствии, был друг Тиндаля, лондонский врач Генри Томпсон. Но замысел ее принадлежал Тиндалю, и он принимал близкое участие в ее написании и публикации.

И Федоров поделился со своими слушателями содержанием знаменитой статьи.

Действие молитвы, — писал анонимный автор, — проще всего научно измерить, взяв в качестве показателя состояние здоровья больного, за которого молятся. Надо, продолжал автор, отобрать две группы пациентов — одну, состоящую из больных, за здоровье которых молятся, и другую — контрольную (за которых не молятся). Все это, разумеется, при прочих равных условиях: одна и та же болезнь, одинаковая продолжительность лечения, возраст и т. д. Молиться за «своих» больных каждый день в течение, скажем, года или двух должны по возможности все верующие во всей Англии. В конце срока процент смертности в той и в другой группе сравнивается. Если будет разница, значит, молитва подействовала. Если нет, то нет. Изложено все это, сказал Федоров, в статье, написанной в серьезнейшем тоне, но, конечно, не без некоторой тонкой издевки...

— Ну и что же дальше?

— Дальше... Если сказать, что эта статья произвела впечатление палки, сунутой в чопорный британский муравейник, это было бы еще весьма бледным сравнением. Шум в печати возник страшный. Но интересно, что в поддержку Тиндаля сразу же выступил знаменитый Гальтон, автор книг о наследственности и специалист по вопросам статистики. Он сообщил в том же самом «Контемпорари ревью», что в течение ряда лет собирал как раз такие статистические данные, которые позволяют судить о силе молитвы. Гальтон составлял таблицы средней продолжительности жизни людей, принадлежащих к разным слоям общества. И что же оказалось? Короли и королевы (за которых, как известно, молятся во всех церквах!) умирают в более молодом возрасте, нежели юристы, помещики и армейские офицеры. Церковнослужители (за которых положено молиться и которые сами молятся) живут тоже лишь немногим дольше, чем врачи и адвокаты. Процент мертворожденных младенцев в семьях молящихся и немолящихся опять-таки совершенно одинаков (хотя следовало бы ожидать, что верующие супруги должны особенно усердно молиться за счастливый исход родов)...

— Гальтон шутил, конечно?

— Если и шутил, то очень зло и тонко, и с весьма дальновидными целями. Эти англичане умеют облекать свой сарказм в такую неподражаемо бесстрастную форму, что он бьет подчас больней и глубже, чем самая яростная полемика. И любопытно, что на эту удочку тотчас же попались представители британского духовенства и консервативно настроенных кругов. Один из них писал, например, что Гальтон не прав, говоря, что «молитва за королей не действует». Вот, например, когда супруг королевы Виктории принц Альберт долго болел, о его выздоровлении молилось множество людей. Правда, принц Альберт не выздоровел, а умер, но это ничего не значит. Ибо сразу после его смерти советники королевы предлагали ей объявить войну Соединенным Штатам (там шла гражданская война), но королева отказалась. Она сказала, что ее покойный муж был против этого. Предположим теперь, что принц остался бы жив и его влияние оказалось бы недостаточным, чтобы не допустить войны. Вышло бы, что бог поступил мудро, не послушав тех, кто молился за выздоровление Альберта... И так далее и тому подобное.

— Какая чепуха!

— Очевидно, замысел Тиндаля и Гальтона в том и состоял, чтобы вскрыть всю бездонную глубину человеческой глупости. И дискуссия «о силе молитвы» продолжалась довольно долго. Было высказано немало любопытных суждений. Один из авторов — кажется, это был какой-то шотландский епископ — предложил Тиндалю свой вариант «эксперимента». Он предлагал сравнивать процент смертности больных, за которыми ухаживают (с молитвой к богу, разумеется) сестры-монахини, с теми случаями, когда с больными имеют дело сиделки, работающие за деньги. Не было недостатка и в возгласах негодования. Респектабельная «Таймс» долго брюзжала по поводу «кощунственного поведения некоторых ученых». Журнал «Спектейтор» в редакционной статье назвал эксперимент, предложенный Тиндалем, «возмутительной и противоречащей духу христианской молитвы затеей». Журнал обрушился на «высокомерных физиков, посягающих на святость религии». Автор статьи в «Спектейторе» писал, что «Бог вряд ли будет сотрудничать в проведении эксперимента, чья цель состоит не в помощи больным людям, а в научном измерении Его силы».

— Разумеется, эти критики больше всего опасались, как бы такой эксперимент не был осуществлен на самом деле, — заметил, улыбаясь, Федоров.

— Ну а вы сами, Николай Федорович, что скажете по этому поводу? Как согласуется то, что предлагал Тиндаль, с вашими религиозными убеждениями?

— Как согласуется? Я, кажется, уже не раз говорил вам, что единственный реальный вид чудес — это те чудеса, которые творит человек, заставляя работать на себя силу и материю в природе.

— А как же бог?

— Богу нет дела до состояния мочевого пузыря у принца Альберта (отличавшегося, как известно, беспробудным пьянством). Бог передал вселенную на управление человеку...

20. ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Это произошло на второй или на третий день после оправдания Веры Засулич. Федоров спускался по Тверской к Охотному, бережно неся в левой руке книгу. (Правой, борясь с ветром, запахивал поминутно ветхое пальтецо, застегнутое на одну-единственную пуговицу. Остальные осыпались, но он как-то не замечал этого.) Книгу — парижское издание «Этики» Спинозы на французском языке — купил он на собственные деньги в лавке Глазунова. Предназначалась покупка для пополнения румянцовских фондов. Он нахмурился, вспомнив, что несколько его, федоровских, «пенсионеров» останутся из-за расхода на книгу без очередных положенных им рублевиков и полтинников. Но книга была нужна библиотеке — Спинозу часто спрашивали, и имевшиеся его тома были далеко не достаточны. Он приблизился уже к Охотному ряду, погруженный в свои мысли, когда вдруг страшный шум и крики заставили поднять голову и остановиться. Это спасло ему жизнь, потому что, сделай он еще десяток шагов, первый же удар по голове в дикой свалке оказался бы роковым... Он смотрел с ужасом — на всем пространстве до Никитской в лужах стаявшего снега, смешанного с кровью, под лучами весеннего солнца валялись изувеченные, стонущие человеческие тела. Он отпрянул в страхе, и какой-то незнако-

мый доброжелатель в мещанской чуйке и картузе отвел его подальше. Доброжелатель объяснил, что «мясники с Охотного бьют смертным боем не разбирая всех, кто одет в немецкое платье». Главным же образом «барских щенков», то есть гимназистов, студентов и курсисток...

Повторилось в еще более зверском виде то, что произошло несколькими годами раньше у Казанского собора в Петербурге. С вокзала Курской железной дороги везли через Москву группу киевских студентов. Их отправляли в дальнюю ссылку за участие в беспорядках. На вокзальной площади полицейские кареты были окружены учащейся молодежью, и по пути к ней присоединялись новые толпы. Лошади шли шагом, полицейский конвой был малочислен, и процессию, растянувшуюся с лишним на полверсты, нарочно направили через весь город. В Охотном ряду ее ждала ловушка. Подзадориваемые полицией лабазники и мясники набросились на «барских щенков». Побоище наблюдал издали полицеймейстер, стоявший во весь рост в открытых дрожках на углу Моховой. В Манеже скрывалась рота солдат. Ее вывели на площадь, когда все было кончено. Раненых и искалеченных увозили на безрессорных, беспощадно трясшихся на булыжнике телегах. Приговор москвичей был единодушен — это была «месть правительства за Трепова и за оправдание Веры Засулич».

Дрожа мелкой нервной дрожью и едва переступая не желающими слушаться ногами, Федоров поднялся по лестнице, когда стрелки часов большого читального зала показывали уже далеко за полдень. Его встретил дежурный чиновник, торжественно возгласивший:

— Вас дожидается в каталоге граф Лев Николаевич Толстой. Ему нужна какая-то справка. Да что с вами, Николай Федорович? На вас лица нет...

Федоров только отмахнулся и, шаркая ногами, поднялся в каталог. Толстой шел ему навстречу.

Дав старому библиотекарю отдохнуть и отойти от пережитого потрясения, Толстой с тревогой в голосе стал расспрашивать о случившемся в Охотном ряду. Федоров отвечал кратко. Затем дал писателю нужные ему библиографические сведения (его интересовала литература о Ренане). Толстой продолжал с возмущением говорить

об устроенном московскими властями побоище. («Генерал-губернатор Долгорукий — известный негодяй, да еще и вор почище Трепова!») Но отозвался неодобрительно и о студентах, которые, «вместо того чтобы учиться, устраивают беспорядки». — Я все больше, — сказал он, — склоняюсь к убеждению, что у нас учат молодых людей не тому, что им нужно в жизни. Незачем тратить время на рассматривание в микроскоп строения мушиной ноги, и столь же мало толку в знании, из чего состоит Млечный Путь. Кажется, Николай Федорович (мне говорил об этом Петерсон), вы придерживаетесь такого же мнения?

Федоров ответил, что Петерсон, видимо, неточно передал его мысли. Наоборот, он, Федоров, считает, что наука — главное дело человечества. Но весь вопрос в том, кто должен двигать науку и для какой цели. Если отдать ее на откуп замкнутой и отгородившей себя от людей ученой касте, такая наука никому не нужна. Иначе будет, когда труд землепашца и фабричного работника сольется с трудом ученого. Да и самому земледелию надобно заниматься не пустяками, не разведением каких-нибудь артишоков или спаржи (барской прихоти!). А городской промышленности — не изготовлением бархатных кресел, или дурацких женских турнюров, или карет с золочеными дверцами и лакеями на запятках... Задача не в том, чтобы дать как можно большему числу людей возможность обжираться и бездельничать. А в том, чтобы устранить разъединение ученых от неученых, чтобы слить усилия всех в едином общем труде. Слить для чего? Чтобы накормить голодных и обуть разутых? Конечно, но не только это. Главное — внести цель и смысл в мироустройство. Сделать всю вселенную царством человеческим, а через то и божьим. Победить смерть. Добиться бессмертия реального, физического. Вот для этого пригодится знание звезд Млечного Пути. И строение мушиных ног тоже. Ведь мухи — переносчики болезней, сокращающих жизнь. На каждой мушиной ноге миллионы микробов. («Пастера небось читали?») А что касается молодого поколения, которое волнуется, ищет правды, за это ему низкий поклон. Оно хочет бороться против зла, надо лишь направить эту борьбу на верный путь...

Толстой стал возражать, сказал, что царство божие надо искать не во вселенной, а внутри нас. Что бороться со злом следует одним способом — не противиться злу, не применять насилия, уходить прочь от зла... Толстой добавил, что совсем недавно он подошел к поворотной точке своей жизни и отказался от всего, что казалось ему правильным раньше. Свое писательство он теперь считает пустяками, хотя еще недавно тешился рукоплесканиями за свой ничтожный труд. Соблазнялся славой и огромным денежным вознаграждением за свои писания и заглушал в душе самые важные вопросы — о смысле жизни своей и общей... Теперь все пойдет по-иному, к писательству возврата больше не будет...

— Ну и напрасно! — перебил его Федоров. — Читал на днях в списке вашу «Исповедь» (уж очень много орфографических ошибок насажал туда переписчик!) и очень сожалею, что вы решили зарыть в землю свой великий талант художника. Вы — русский писатель, и в этом ваш долг перед людьми и Россией. А теперешняя философия ваша — философия непротивления, и неделания, и копания в собственной душе, и искания там, внутри, царства божьего, — это, извините меня, Лев Николаевич, не что иное, как причуда барская. Ну вот как у вашего Левина в «Анне Карениной». Решил, видишь ли ты, косить, потому что приятно встать утром на заре и испытать физическое наслаждение от усталости! Отношение крестьян левинских к физическим наслаждениям своего барина вам известно. Вы его блестяще уловили художническим чутьем. Оно, как всегда в ваших романах, вам не изменило... Эх, граф, сказал бы я еще несколько горьких слов по поводу вашей, как вы выразились, «поворотной точки». Да не буду. Пойдемте-ка лучше, я покажу вам наши книжные богатства...

— Спасибо, с удовольствием. Но сначала хочу взять с вас слово пожаловать в мой дом. Мы продолжим беседу, поговорим обо всем.

— Нет уж, увольте. Куда мне с моей амуницией (Федоров показал на свою одежду), да в барские хоромы! Не обессудьте...

— Может быть, позволите посетить вас?

— Отчего же, если не боитесь посидеть на жестком... Другой мебели у меня нет. Милости просим.

Он повел Толстого по залам фондов Румянцовки.

21. ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В анфиладах, заставленных бесконечными книжными шкафами, царит гробовая тишина. Лишь изредка гулко раздаются шаги дежурного библиотекаря да какой-нибудь случайный посетитель забредет сюда, сокращая путь из читального зала в каталог.

Один из таких посетителей записал свои впечатления в несколько приподнятых выражениях:

«Что-то таинственное в этом книжном лабиринте... В этих бесчисленных кожаных переплетах застыли на вечность мысли и переживания тысяч писавших эти книги людей... Вас охватывает какой-то мистический трепет. Реют тени тех, чьи имена сокрыты за этими тускло блестящими стеклами, за этими тяжелыми замками!»

Те двое, что находились тут сейчас — стройный и бородатый, с блестящими озорным блеском глазами и быстрыми ловкими движениями завзятого кавалериста, и его сгорбленный, шаркающий согнутыми в коленках ногами спутник, — не испытывали никаких мистических чувств. Федоров был здесь хозяином, а Толстой любопытствующе и немного скучающе скользил взглядом по бесконечным шеренгам книг. Иногда задерживался и спрашивал, Федоров давал пояснения и сам привлекал внимание гостя к какой-нибудь библиографической редкости. Уже недалеко от выхода Толстой остановился, посмотрел пристально на своего гида и сказал с лукавой улыбкой, показывая на уходящую вдаль книжную галерею:

— В сущности, все это следовало бы сжечь!

Федоров не заметил, конечно, лукавинки, промелькнувшей в глазах Толстого, когда тот произносил эти слова. Сказаны они были явно не всерьез, а просто с желанием пошутить и разрядить шуткой чересчур уж торжественное и даже немного давящее настроение, вызванное долгим путешествием по нескончаемым книжным коридорам. А кроме того, Толстой, как хорошо знали близкие к нему люди, иной раз, как бы желая испытать собеседника, бросал ему на лету острую мысль, озадачивавшую и бравшую за живое... Это был — как заметил однажды друг писателя доктор Маковицкий — своеобразный толстовский способ «прощупывания души человеческой».

Но результат в данном случае получился неожиданный, изумивший и смутивший Толстого.

Федоров окаменел. Несколько секунд он не мог от волнения сказать ни слова. Потом дрожащим от негодования голосом выкрикнул:

— Боже мой, что вы говорите! Какой ужас...

И, не в силах сдерживаться, бросился вон, оставив писателя одного, недоумевающего и огорченно покачивающего головой.

Несколько дней после этого Федорова не было в библиотеке. Два тяжелых переживания — в Охотном ряду и от этих толстовских слов — сложились вместе. Он заболел, слег. Толстой, пришедший назавтра в Румянцовку успокоить библиотекаря, извиниться перед ним, услышал о его болезни. Узнал домашний адрес и вместе с сыном Ильей, осторожно постучав в дверь, вошел в каморку.

Федоров сидел на единственном колченогом стуле у такого же стола. Закутавшись с головой в продранное во многих местах одеяло, похожий на больную нахохлившуюся птицу, писал. Бросив взгляд на одежду Толстого — простую холщовую блузу и смазные сапоги, — усмехнулся, сказал: «Меня перещеголять хотите? Не сто́ит». Пригласил гостей сесть на покрытый вылинявшим ковриком сундук. Разговор не клеился. Выслушав молча толстовские извинения, ничего не ответил, только устремил на гостя пронизывающий колючий взгляд. Спросил, не сможет ли Толстой отдать Румянцовской библиотеке свои автографы, в частности рукописи «Войны и мира» и «Анны Карениной»? Тот смущенно ответил, что не может, так как давно подарил все свои бумаги жене. «Тут я ничего не могу поделать. Это — женина собственность, а не моя!»

Расстались холодно, и Толстой записал в дневнике:

«Николай Федорович — святой. Каморка. Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели...»

И в письме к своему другу Алексееву:

«...Николай Федорович Федоров — библиотекарь Румянцовской библиотеки. Помните, я вам рассказывал... План общего дела всего человечества, имеющего целью воскресение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. Не бойтесь, я не разделяю его

взгляды, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель...»

Инцидент с «сожжением книг» стал каким-то образом известен библиотекарям Румянцовской, а через них «федоровскому» кружку в каталожной.

Федорова забросали вопросами, утешениями, соображениями по поводу смысла толстовских слов.

— Толстой просто пошутил, — сказал один из читателей.

— Да разве *этим* можно шутить! — гневно воскликнул Федоров. «Он весь горел, кипел негодованием, хотя прошла уже почти целая неделя», — вспоминал потом этот читатель.

— Ему просто захотелось поразить вас, попугать, — заметил другой. — У него есть эта печоринская черточка...

Федоров махнул презрительно рукой и принялся рыться в карточном указателе. Пробормотал:

— Печоринская черточка... Но ведь он, слава богу, не Печорин, а Лев Толстой! К тому же тут не столько Печориным, сколько Скалозубом и Фамусовым пахнет. «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь!»

— Вы несправедливы к Льву Николаевичу, — вступил в разговор солидного вида пожилой мужчина в свободного покроя блузе и с тщательно расчесанной надвое окладистой бородой. Внешним своим видом он явно подражал графу. («Толстовец», — мелькнуло в голове Федорова.) — Вы знаете нынешний склад мыслей нашего великого писателя, — продолжал мужчина в блузе. — Я бы выразил их так: зачем эти библиотеки, когда есть евангелия, где изложено все, что нужно для жизни и счастья людей?

— Э, батенька, куда махнули! — перебил говорившего молодой человек в поношенной студенческой тужурке. — Если все так, как вы говорите, то в истории можно подыскать хороший пример. Халифа Омара помните? Того самого, что взял штурмом Александрию... В каком бишь это веке? Кажется, в восьмом... («В седьмом», — угрюмо отозвался Федоров.) Да, так вот Омара спросили, как поступить с александрийской знаменитой

библиотекой. «Сжечь!» — ответил он. И аргументировал: «Если в книгах написано то же, что в Коране, тогда они излишни. А если там есть то, чего нет в Коране, они вредны!» Нет, тут скалозубовщина чистейшая. Правильно сказал Николай Федорович!

В публике одобрительно загудели.

— Но вы же не будете отрицать, милостивый государь, — обидчиво повысил голос «толстовец», — не будете спорить, что действительно пишется и издается много книг бесполезных и прямо вредных. Ну хотя бы пошлые бульварные романы, порнография, разные там блюхеры и милорды глупые... Сколько яда вливается в народную душу! Лев Николаевич лишь в резкой и парадоксальной форме выразил это...

— Нет уж, избави нас боже от таких парадоксов! — молвил Федоров и, подойдя к студенту, крепко стиснул ему руку.

22. ГОДЫ И ЛЮДИ

Мчались годы, и люди проходили один за другим через книжные анфилады дома на холме, задерживаясь, как всегда, в каталожном зале. Они вглядывались пристально — одни с изумлением, другие с немым преклонением — в согбенную, неопределенного возраста фигуру, то склоненную над карточками каталога, то занятую розысками книг, то беседующую с читателями.

Это был он, все тот же «загадочный» (и, казалось, двужильный) старик в убогом своем рубище, почти неправдоподобно выглядящем среди изысканных баженовских интерьеров.

Приходил Тимирязев, с которым Федоров с некоторых пор был особенно ласков и засыпа́л его вопросами о биологических механизмах, влекущих смерть многоклеточных существ. Посещал каталожную художник Леонид Пастернак, не забывавший услугу, которую оказал ему «старик», подобрав ценнейшую литературу по средневековой живописи. Любопытно, между прочим, что Пастернак совершенно искренно считал этого (как писал он в своих воспоминаниях) «маленького, согбенного, странно одетого старичка» «директором огромной и великолепной Румянцовской библиотеки». Художнику

и в голову не приходило, что там может быть еще какой-нибудь директор! Они подружились, но вышла и размолвка, когда Пастернак нечаянно, добродушным тоном сказал: «Вот вы, Николай Федорович, аскет...» С недоброй вспыхнувшей в глазах искоркой Федоров перебил: «Чушь говорите, батенька! На наряд мой смотрите? Так ведь финтифлюшки-то ваши (он показал на вельветовый вестон художника и венецианскую булавку, которой был небрежно заколот его широкий галстук) небось полсотни стоят? А я лучше дам их студенту Колбасьеву, которого завтра из университета выключат, потому что нечем платить!» «Нет, он не аскет, тут что-то другое, — говорил потом Пастернак своим друзьям. — Аскетам до искусства дела нет, а вы посмотрели бы, каким восторгом светились его глаза, когда он судил о живописи Гирландайо! И как глубоко он ее знает...» Пастернак, вступив в заговор с Петерсоном, пришел однажды, чтобы тайно написать портрет Федорова (тот не разрешал делать с него ни фотографий, ни рисунков). Под каким-то предлогом художник устроился в каталоге с кучей книг (в этот час Федоров сидел за столом, углубившись в книжные карточки, и иногда, отвлекаемый мыслями, надолго устремлял вдаль отрешенный взгляд). Обложившись книгами, Пастернак делал вид, что читает, а между тем исподлобья кидал взгляды на свою цель и лихорадочно делал карандашные наброски. Так возник большой портрет, где Федоров запечатлен в своей любимой позе сидящим у каталожного стола. За этим портретом последовал другой, групповой — рядом с Федоровым у стола заняли место Лев Толстой и философ Соловьев. Не будь этих картин, внешность «загадочного старика» оказалась бы навсегда утраченной для потомства...

Петерсон, не сказав Федорову ни слова, послал в Петербург Достоевскому изложение федоровских взглядов на регуляцию космоса и превращение вселенной в царство людей, победивших смерть. Достоевский немедленно ответил.

«...Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли которого Вы передали? Если можете, сообщите его настоящее имя. Он слишком заинтересовал меня. По крайней мере сообщите хоть что-нибудь о нем подробнее, как

о лице, все это — если можно... Затем скажу, что в сущности совершенно согласен с этими мыслями. Их я почел бы как бы за свои...»

Далее Достоевский писал, что познакомил с изложением федоровских мыслей Владимира Соловьева, «молодого нашего философа, читающего теперь лекции, посещаемые чуть не тысячной толпой... Это нам дало прекрасных 2 часа...».

В заключение в письме говорилось, что он, Достоевский, так же как и Федоров, верит, что «наступит бессмертие и воскрешение умерших», но что «воскрешенные тела» будут «иные, не теперешние». И вместе с ними «закончится человечество»...

Петерсон поспешил показать своему старшему другу эту переписку, и тот отнесся к ней неодобрительно. Он сердито сказал Петерсону, что Достоевский — мистик, убежденный в существовании «каких-то иных миров». «Миры» эти отличаются от того реального, в котором мы с вами живем. «Почитайте «Преступление и наказание» и рассуждения Свидригайлова, который в данном случае выражает идею автора. Люди, по его мнению, не воспринимают призраков и привидений, пока здоровы. Стоит, однако, здоровью расстроиться, как организм начинает взаправду видеть и ощущать то, что находится «по ту сторону». — А я бы добавил к этому, — продолжал Федоров, насмешливо поглядывая на Петерсона, — что добиться подобных ощущений можно и не дожидаясь, пока тебя хватит болезнь. Для этого, как вы знаете, вполне достаточно оглушить себя алкоголем, гашишем и тому подобными снадобьями. Достоевский пишет, что «совершенно согласен» с моими мыслями. А я полагаю, что мы с ним серьезно расходимся. Расходимся в главном. Для него достижение бессмертия живущих и воскрешение умерших мыслимо опять-таки лишь «в иных мирах», то есть мистически. А для меня бессмертие и воскрешение — конечный результат научного труда. Оно произойдет, когда станет возможно управлять молекулами и атомами так, чтобы рассеянное в пространстве собрать, разложенное соединить, сложив его в живые и бессмертные человеческие тела... Да, кстати, читали вы это? (Федоров раскрыл лежавшую у него на столе книгу со многими закладками, карандашными подчеркиваниями и сердитыми вопросительными и восклица-

тельными знаками на полях. Очевидно, подумал Петерсон, речь идет там действительно о чем-то, выведшем из равновесия владельца книги, раз он решился прикоснуться карандашом к столь священным для него печатным страницам!) Если не читали, полюбуйтесь — «Дневник писателя» Достоевского за октябрь 1876 года. Со злой карикатурой, нарисованной, как бы вы думали, на кого? Напечатано «предсмертное письмо» от имени некоего (сочиненного Достоевским) «самоубийцы от скуки» и «разумеется, материалиста». Послушайте, что пишет этот персонаж:

«...Говорят мне, что можно устроиться жить на земле на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доныне. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться?.. Ведь все равно я знаю, что завтра же все это будет уничтожено — и я умру, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратятся в ничто!.. Ну пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна и человечеству срок — такой же миг, как и мне. И как бы разумно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, все это тоже приравняется завтра к тому же нулю...»

И кончается вся эта мировая скорбь вы уже догадываетесь как:

«Поскольку нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупою, то присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истреблю себя одного...»

Карикатура хороша, но в кого она метит? Чувствуете, куда клонит Достоевский? Для человечества на этом свете, в этом мире выхода нет. «Устраиваться» здесь нет смысла. Выход только один — через смерть на тот свет, где будут всяческие блага и райские яблочки... Да ведь нет, не хочет он понять, — голос Федорова задрожал от негодования, — нет никакого «того света», ничего нет, кроме этой, нашей, одной-единственной, данной нам вселенной. И «устраиваться» надо здесь, только здесь, и нигде больше! А если мешает смерть, мешает бренность всего земного и небесного, то и тут есть решение.

Победить смерть, упразднить ее раз и навсегда, завоевать вечность и для людей и для всего звездного мира...

Петерсон попробовал было заметить, что Достоевский в этом отрывке из «Дневника писателя», в сущности, выражает свое презрение к «самоубийце от скуки», показывает все его духовное ничтожество и пошлость. И, к тому же, называет его «материалистом» — самое бранное в устах Достоевского слово! Так что, может быть, и не следует приравнивать тут одно к другому? Но Федоров не стал слушать. — Э, полноте, «Бесов» небось читали? Тут презрение его собственное. Презрение к науке, к регуляции природы и общества, к возможности создать правильную, человеческим общим трудом устроенную жизнь людей на этой Земле...

Встретиться с Федоровым Достоевскому было не суждено. Он умер, не успев выполнить это свое желание, и смерть его оплакивали даже те, в кого Достоевский метнул в конце жизни несправедливые полемические стрелы. Федорову пришлось несколько раз объяснять молодым своим слушателям трагедию великого писателя, заплатившего каторгой и страданием за идеалы, которые он на склоне лет отринул в «Бесах». «Мы можем во многом не соглашаться с Достоевским, — говорил Федоров, — но одного не отнимем от него. И это одно — самое драгоценное в человеке: искренность и бесконечное сострадание к униженным и оскорбленным. Он мог заблуждаться, и к его художнической палитре могли примешиваться порой неверные краски, но и в заблуждениях своих был он честен и искренен. А этого, увы, не скажешь обо всех великих писателях!..»

И на лице Федорова появлялось в этот момент саркастическое выражение, а его слушатели лукаво переглядывались и подталкивали друг друга, давая знать, что догадываются, о ком и о чем идет речь.

23. ПЕРВОЕ МАРТА

Первого марта 1881 года, через месяц после смерти Достоевского, разрывной снаряд, изготовленный народовольцем Кибальчичем, отправил на тот свет русского

царя. Бомбу, начиненную динамитом особенной силы — секрет его был открыт Кибальчичем, — бросил под ноги царю юноша, умерший через несколько часов от ран, полученных при взрыве. Придя ненадолго в сознание перед смертью, он не сказал жандармам своего имени. На суде о нем упоминали как о Ельникове. Настоящего его имени не знал даже метальщик первой из брошенных бомб Рысаков, выдавший полиции своих товарищей. Прошло некоторое время, прежде чем Россия и весь мир узнали, как зовут человека, казнившего царя. Это был Игнатий Гриневицкий, и Федоров, наморщив лоб, долго вспоминал. Где-то и когда-то ему попадалось на глаза это имя. Да, конечно, машинально пробегая поступивший в Румянцовку годовой справочник Петербургского технологического института, он задержался на нескольких не совсем обычно звучащих фамилиях. И среди них запомнил студента Гриневицкого. Тут сработала, как всегда, чертовская библиотекарская память, и вот — кто бы мог подумать! — куда она привела...

Газетные отчеты о процессе цареубийц дали повод для многих размышлений.

Необыкновенные личности Желябова и Перовской вызывали симпатию и уважение даже у тех, кто не сочувствовал идеям первомартовцев. С брезгливой усмешкой проходили читатели газет мимо цветов прокурорского красноречия — обвинял на суде карьерист Муравьев, метивший в министры и достигший впоследствии этой цели. Желябов на скамье подсудимых громко смеялся, слушая прокурорские трели по поводу «адских плевел» и «развратителей молодости», совершивших «убиение величайшего и кристальнейшего из монархов, каких знала Россия». Кристальная чистота Александра Второго — и, в частности, его регулярные посещения Смольного института благородных девиц — была достаточно известна в столицах. Эти визиты кончались нередко тем, что некоторые из благородных девиц переставали быть таковыми, и один из опозоренных отцов решился даже на отчаянный поступок — послал самодержцу вызов на дуэль!

С огромным волнением вчитывался Федоров в газетные строки, относившиеся к Николаю Кибальчичу.

Этот бесстрашный и поражавший судей своим молчаливым спокойствием революционер был, оказывается, и

замечательным ученым. Он владел не только знанием химии и математики на самом высоком уровне тогдашней науки. Он изучал, как выяснилось позже, и движение летательных аппаратов, могущих поднять человека над Землей! Не ставило ли это Кибальчича в ряды бесценных строителей и зачинателей задуманного общего дела? И тем ужаснее казался неминуемый конец этой молодой и так много обещавшей жизни...

Читая и перечитывая судебные отчеты, Федоров складывал мысленно из разрозненных кусков биографию своего неожиданного соратника.

Блестящее окончание гимназии в тихом провинциальном городке, потом студенческие годы — путейский институт, медико-хирургическая академия. И изумление профессоров, заметивших необыкновенные способности молчаливого юноши. И все это оборвалось в один злосчастный день, словно бы провалилось в темную бездонную пропасть! В исчезновении этом не было, впрочем, ничего таинственного.

Все произошло так, как бывало уже много раз — с Каракозовым, с Верой Засулич, с Желябовым и Перовской — с десятками и сотнями русских молодых людей, мечтавших о народном благе, о хождении в народ, о мирной пропаганде разумного, доброго, вечного.

Мечта была разбита, и ее сменил уход в террор.

Из материалов, оглашенных на процессе, явствовало, что все началось у Кибальчича с раздачи крестьянам в деревне на Киевщине (где он проводил каникулы у брата) нескольких книжек. Одни из них содержали сведения по географии и истории, другие толковали об удобрениях и урожае. Была там и знаменитая «Сказка о четырех братьях и их приключениях» с эпиграфом: «Сказку эту читай да на ус себе и мотай!»

О, Федоров слишком хорошо помнил эту небольшого формата, уже успевшую пожелтеть книжечку. Она хранилась в особом фонде Румянцовки вместе с другими изданиями вольной русской печати. Старый библиотекарь постоянно навещал этот фонд (пока не вмешалось начальство — это произошло после первого марта — и не приказало заколотить наглухо дверь в опасное хранилище, объявив его как бы несуществующим вовсе!).

«Сказку о четырех братьях», прервавшую мирный ход жизни Кибальчича, Федоров не только читал. Он помнил ее почти наизусть и словно бы видел сейчас первое ее издание со всеми удивившими тогда подробностями.

На обеих сторонах титульного листа значилось и в самом деле нечто странное. Говорилось об «издании втором, исправленном и дополненном». Отпечатано издание якобы в Москве, «в -типографии Мужникова», и «дозволено цензурой апреля 19-го дня 1868 года». Но все это — Федоров отлично знал — было лишь искусной маскировкой. «Сказку» выпустили русские революционеры в Женеве в 1873 году и по праву ценили это литературное произведение. Оно было написано, как заметил один из них, с пониманием психологии тогдашнего читателя-простолюдина. «Карманные размеры, форма сказки и отличный язык, далекий от ложной народности и аляповатого лубка. . .»

Но главное достоинство «Сказки» (этого не мог не заметить Федоров) — она говорила ясно своим читателям, что́ им надо д е л а т ь и как дальше быть.

Четыре брата, о которых рассказывалось в книжке, живя в дремучем лесу и не общаясь с людьми, не знали ничего дальше своего леса. Заметив однажды с высокого холма далекую страну с большими городами и зелеными лугами, вышли они посмотреть на нее с четырех разных сторон. Сойтись условились позже. Дивились всему увиденному братья — Иван, Степан, Демьян да Лука — и в простоте своей выкладывали встречным вопросы и сомнения. И так пришлось Ивану узнать от оборванного мужика в трактире, что бос он и гол оттого, что отнимает от него помещик и царь все, что мужик выработает. «Да кто такой, скажи на милость, этот самый царь? Откуда он взялся? Выбирали вы его, что ли?» — «Какое выбирали! Просто родился он от отца своего. Отец был царь, ну и он царь». — «Однако чудные у вас порядки, вижу! . .» А Лука, забредя в большой город с богатыми домами, улицами и фабриками, добивается от встречного богача ответа, откуда у него столько денег. «Чудной ты человек. Известно, подмастерье тебе выработает на 500 рублей в год, а ты ему заплатишь от силы 200. . . Мастерская дает мне 30 тысяч, а платил я своим рабочим 10. Вот, стало быть, и 20 тысяч чистого

дохода!..» Немало еще диковинного узнают братья — и про крестьянских сыновей, взятых царем в солдаты и вынужденных стрелять в своих дедов и отцов, и про монастырь, где игумен с монахами хлопочут о ремонте испортившейся «механики» (из глаз богородицы на иконе при незаметном нажатии на пружинку «льется вода словно слезы»), и многое другое.

Было сказано там еще о каторжной Владимирке («Эх ты славная дороженька Володимирская!.. Много горя, много слез на тебе проливается. И ведешь ты из матери России в мачеху Сибирь»...). Строки, напомнившие Федорову его прогулку вместе с Петерсоном по этой самой дороженьке в давние учительские времена...

Кибальчичу за передачу этой книжки полагалось по закону не больше месяца тюрьмы. Он и получил его, этот месяц, но просидел предварительно почти три года в одиночке. Просидел, истязаемый допросами, после которых, по свидетельству очевидца, выходил «с каплями пота на лбу, пошатываясь, с блуждающим взглядом».

24. Per aspera...

Нет, конечно, этот бесстрашный конспиратор не был тем «адским плевелом» и «кровожадным злодеем», каким его рисовали рептильные газеты и прокурор Муравьев. Бессребренность первомартовцев, жертвенность их жизни, отрешенность от житейских благ казались легендарными. Об этом шептались в кулуарах особого присутствия сената на набережной Невы (где шел процесс), и каждая подробность разлеталась мгновенно по России. Некоторые из тех, кто видел Кибальчича разъезжающим по Петербургу (как требовала конспирация) в цилиндре и фраке на дорогих лихачах, знали, что он отказывался истратить лишний двугривенный, чтобы пообедать в кухмистерской. Черный хлеб и чай (Федоров сочувственно усмехнулся, услышав об этом) были его постоянной пищей. Порядочный свой литературный заработок он отдавал в партийную кассу. Каким-то образом посетителям Румянцовки, а через них Федорову, стало известно, что автором многих рецензий и научных статей в таких популярных ежемесячниках, как «Русское богатство», «Новое обозрение», «Слово», был Кибальчич.

Редакции этих журналов знали его как Самойлова, и принадлежащие ему статьи чаще всего шли без подписи. Ими зачитывались. Из них черпались сведения о самых последних идеях естественных наук, и сам Федоров имел обыкновение начинать с них просмотр очередных номеров журналов. Мог ли он догадываться тогда, что автор этих статей — знаменитый «техник» «Народной воли», след которого давно затерялся в каменных дебрях столицы!

О научном его таланте говорили вызванные на суд эксперты. И состав изобретенного им «гремучего студня» (взрывчатого вещества неимоверной силы), и конструкция бомб, и обширность знаний — все это не укрылось от артиллеристов и инженеров, прибывших в судебное здание на берегу Невы. Покачивая удивленно головой, они осматривали еще раз собранные на судейских столах «вещественные доказательства». По поводу «склонности подсудимого к научным изысканиям» пытался безуспешно иронизировать прокурор. Сам Кибальчич не отрицал, что главным интересом в своей жизни он считает науку.

— Если бы обстоятельства сложились иначе, если бы не то положение, в которое сейчас поставлена Россия, я, конечно, употребил бы свою изобретательность на улучшение способа обработки земли, на устройство сельскохозяйственных орудий...

Дойдя до этого места показаний Кибальчича, Федоров мог только горестно вздохнуть. Да, при всем различии их политических взглядов, этот смело глядящий в глаза смерти цареубийца не так уж далек от его, федоровских, заветных мыслей! Вышло наружу наконец и то неслыханное и волнующее, что прозвучало в первый раз в речи защитника Кибальчича и заставило Федорова выронить от неожиданности газетный лист. «Когда я явился к Кибальчичу как назначенный ему защитник, — говорил присяжный поверенный Герард, — меня прежде всего поразило, что он был занят делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он погружен был в изыскание о каком-то летательном снаряде. Он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические вычисления... Он их написал и представил по начальству. Вот какого человека видите вы перед собой, господа!»

О, как хотел бы Федоров встретиться сейчас с этим человеком и заглянуть хотя бы краешком глаза в его вычисления, понять, какие возможности для *общего дела* они сулят! Что сам Кибальчич придавал им серьезнейшее значение, следовало уже из того, что в последнем (последнем!) своем слове на суде опять и опять говорил он об изобретении, которое оставляет в дар России. «...Я написал проект воздухоплавательного аппарата. Я полагаю, что этот аппарат вполне осуществим, и я представил подробное его изложение с рисунками и вычислениями. Так как, вероятно, у меня уже не будет возможности выслушать взгляды экспертов на этот проект и вообще следить за его судьбою, я теперь публично заявляю, что проект мой и эскиз, составленный мною, находятся у господина Герарда...»

Федоров долго ждал опубликования идеи Кибальчича. Сможет ли его аппарат лететь не только в воздухе, но и *выше* воздуха? Лететь к планетам и звездам — туда, где должен будет свершиться главный труд по устроению вселенского *общего дела*?

Перебирая в памяти хранившиеся в Румянцовской библиотеке публикации проектов летания, он отбрасывал мысленно одни варианты, останавливался на других. Не мог же Кибальчич изобрести что-нибудь такое, что не использовало бы принципы, уже ранее высказанные в науке. Вот, скажем, «Воздушный корабль» русского инженера Соковнина, год издания 1866-й. Корабль, по идее автора этого проекта, «должен лететь способом, подобным тому, как летит ракета». Помнится, он, Федоров, рассуждал о чем-то похожем, беседуя — это было давно — с юношей-провинциалом, которому он помогал учиться в Москве. И преимущество этого принципа летания как раз в том, что такой аппарат способен будет двигаться не только в воздухе, но и в межпланетной пустоте. Не в этом ли направлении развивалась мысль Кибальчича?

Он не дождался ответа. Жандармы Александра Третьего, отобрав у адвоката Герарда драгоценную рукопись, похоронили ее в своих каменных норах. Сколько страданий придется еще вынести людям на долгом пути в небо? Per aspera ad astra — через муки к звездам — древнее это изречение сбылось еще раз с жестокой точ-

ностью. Апрельским утром 1881 года рука палача на Семеновском плацу в Петербурге затянула намыленную петлю на шее Николая Кибальчича.

За неделю до казни первомартовцев доктор философии и приват-доцент Петербургского университета Владимир Сергеевич Соловьев поднялся на кафедру и против обыкновения не разложил перед собой листки конспекта. «Мы собрались здесь, — сказал он, — чтобы послушать очередную лекцию по истории литературы... (Он сделал паузу и вытер платком увлажнившийся лоб.) Но я не буду излагать сегодня сведения по истории литературы»... И, всматриваясь в затаившую дыхание аудиторию, глухим, срывающимся от волнения голосом заговорил о тех, кто бросил окровавленное тело царя на грязный снег набережной Екатерининского канала. О Желябове, Перовской, Кибальчиче и их товарищах. Лектор взывал к христианским чувствам сына убитого царя, заклинал помиловать его убийц, напоминал о заповедях Евангелия. «Конечно, — вспоминал он потом, — это было все равно, что пытаться исторгнуть слезу из каменных пьедесталов клодтовских коней или просить глухонемого запеть!»

Палач на Семеновском плацу в Петербурге сделал свое дело, Соловьеву же приказано было оставить университет, выехать из столицы...

Сидя в румянцовской каталожной, а затем в каморке у Федорова в Набилковском переулке, Соловьев, волнуясь и поминутно откидывая со лба мешавшие пряди волос, говорил о том, что «принимает его, Федорова, проект безусловно и без всяких ограничений». И что «признает его своим учителем и отцом духовным».

Но скоро выяснилось, что петербургский философ, исповедовавший церковное богословие и религиозный мистицизм, по существу так же далек от федоровских идей, как был далек Достоевский.

— Поверьте мне, дорогой Николай Федорович, — проникновенно говорил Соловьев, сопровождая свои слова порывистой жестикуляцией, как если бы он был на кафедре перед аудиторией, привыкшей к его судорожному, неистовому красноречию. Нервное, подергивающееся тиком лицо, всклокоченные длинные волосы, фа-

натический блеск глаз — все это должно было производить сильное впечатление на слушателей. «Савонарола, настоящий Савонарола», — пробормотал про себя Федоров. Он хотел сказать гостю, что вопрос ясен, что незачем тратить столько слов, но того нельзя уже было остановить. «Поверьте, — восклицал он, обращаясь к Федорову, — что задуманное вами общее дело (с которым я согласен) должно носить не научный, а религиозный характер! Что чисто физическое бессмертие и материальное оживление умерших само по себе не может быть целью. Цель — воскрешение не во плоти, а в духе! И поймите. Если в действиях человеческих не участвует непосредственно божья воля, если перед каждым своим ответственным решением человек не нуждается в божьем совете, в молитве богу, тогда зачем вообще бог?

— Я верю в бога, — прервал его Федоров. — В бога, отдавшего созданный им мир людям на полное их усмотрение и хозяйствование. Но я отрицаю существование бога, вмешивающегося в дела людей, бога, которого можно упрашивать, как нищий просит милостыню... В таком упрашивании вижу дикарское идолопоклонство. Дикарь мажет маслом губы глиняного божка и просит у него дождя, а если не получает, то сечет бога хворостиной. Не хватает в этой идиллии только злых духов, насылающих порчу, и колдунов, общающихся с нечистой силой...

— Не говорите так, Николай Федорович! (Голос Соловьева упал до таинственного шепота.) Я сам убедился в существовании этой силы. Я видел ее...

— Как! Вы видели дьявола? Как же он выглядит? Неужто у него рога?

Соловьев не заметил иронии и, сцепив тонкие бледные пальцы, продолжал. Он рассказал, как, «встав однажды утром и сидя на постели», вдруг почувствовал, что «кто-то находится рядом». Оглянувшись, увидел, как «на смятых подушках поджав ноги сидит серое лохматое существо» и «смотрит на него желтыми глазами». Затем, поведал Соловьев, черт вскочил ему на спину, сжал шею и придавил к полу. Полузадушенный философ успел в последний момент «сотворить заклятие», после чего «он», то есть черт с желтыми глазами, стал слабеть, руки его разжались и т. д. «У вас, Владимир Сергеевич, были расстроены нервы, это просто галлюцинация», — спокой-

но заметил Федоров. Соловьев отвечал, что «умеет отличать обман чувств от действительности»! Далее выяснилось, что ученый гость охотно принимает участие в спиритических сеансах и по совету одного из духов съездил в свое время в Египет. Кроме того, он, Соловьев, перевел на русский книгу английских специалистов по духовному миру — Майерса, Гернея и Подмора. Книга называется «Прижизненные призраки и другие телепатические явления», и он намерен написать к ней предисловие. Физическую смерть петербургский философ, как видно, не считал злом и даже воспел ее приближение в стихах, напечатанных в «Вестнике Европы»:

...Тайиою тропою, скорбиою и мнлою,
Вы к душе пробрались, и — спаснбо вам! —
Сладко мие приблизиться мыслью быстрокрылою
К смертью занавешенным тихим берегам...

Нет, решительно у московского библиотекаря и у мистически настроенного философа, несмотря на все уверения последнего, не нашлось общих точек зрения!

Делясь с Петерсоном впечатлением от этих встреч и бесед, Федоров сказал, что «учеников» с таким мировоззрением, как у Соловьева, ему ненадобно. Что их похвалы глубоко ему неприятны и что избави нас бог от таких учеников, а с теми другими, кто нас ругает, мы уж как-нибудь сами справимся.

Ему пришлось вскоре убедиться, в каком общественном лагере находятся эти «другие».

25. ПУШКИ И ЕПИСКОПЫ

Страшный голод посетил в 1891 году Россию. Засухой были поражены более двадцати губерний. Умирали от голода дети. С ужасом читал Федоров обошедшее все газеты сообщение из Самары. Там говорилось, что в одной из поволжских деревень крестьянин и его жена не вынесли детских страданий. Заперлись все вместе в угарной избе. И тут же газетный хроникер невозмутимо сообщал из той же Самары о «дебоше в трактирном заведении»: «Купец 3-й гильдии г. Вислый в нетрезвом виде разбил зеркало-трюмо и опрокинул на голову услужающего блюдо с горячей стерлядью»...

Лев Толстой выступил с нашумевшей статьей «О голоде», запрещенной к печати и ходившей в бесчисленных списках по всей стране.

Именно она, эта статья, как ни странно могло показаться, обострила и без того напряженные отношения между обоими мыслителями. — Нет, вы послушайте, что он пишет! — задыхаясь от гнева, восклицал Федоров, размахивая свернутой в трубку тетрадью с текстом знаменитой статьи. Он прочитал вслух те ее места, которые вызвали его негодование. «...Кормить мужика, — говорилось в статье, — это все равно, что во время весны, когда пробилась трава, которую сможет уже набрать скотина, держать скотину в стойле и самому щипать эту траву, то есть лишить стадо той огромной силы собирания, которая есть в нем»... Как вам нравится это сравнение мужика со скотиной, которую незачем кормить, так как она может щипать траву? И это пишет великий писатель!

— Сравнение, может быть, неудачное, — заметил Федорову собеседник, — но ведь Толстой хочет сказать этим самым в своей статье, что частная благотворительность и всяческая там казенная филантропия — это крохи, которые бросаются народу богатыми и обжирающимися. Что покончить с голодом можно, только устранив общественное неравенство, дав народу возможность расправить плечи...

— Ах, оставьте! А что написано дальше? «Чем больше будет даровое пособие, тем больше ослабится энергия народа, тем более увеличится нужда». Наш российский крестьянин, оказывается, устроен так, что ему, «по данным учета», достаточно на едока полтора фунта хлеба, один фунт картофеля и «сверх того, топливо и всякая мелочь, как-то лук, соль, свекла и т. д.». Всякая мелочь! И это пишет богатый барин, сам кушающий рисовые котлетки и кормящий трюфелями и индейками целую орду чад и домочадцев! А как, по его мнению, можно побороть голод? Вот как. «Спасет людей от всяких бедствий, в том числе от голода, только любовь...» Любовь, видите ли, накормит голодных! Способствует же голоду, как бы вы думали, что? «Все эти дворцы, театры, музеи, выработанные голодающим народом, который делает все эти ненужные для него вещи...» Театры и музеи не нужны народу! Каково!

Федоров долго ие мог успокоиться и, когда иа следующий день случайно столкнулся в коридоре с зашедшим в Румяицовку Толстым, не принял протяиутую ему руку, резко повернулся, ушел...

— А знаете, Николай Федорович, — сказал через некоторое время один общий знакомый. — Лев-то Николаевич хоть и сильно обиделся тогда иа вас, ио, когда поостыл немножко и стал размышлять спокойно, не осудил вас. «Tout connaître, c'est tout pardonner»[1] — сказал. И знаете, что написал в письме, когда его попросили присоединить свою подпись к обращению к вам не покидать Румянцовской библиотеки... («Я не собираюсь пока уходить», — сердито перебил Федоров.) Да, но был такой слух, что вы уходите, и хотели написать вам адрес, и обратились, повторяю, к Толстому, а он ответил приблизительно так: «Я с радостью подпишу всякий адрес, который вы пошлете Николаю Федоровичу. Как бы высоко ни была там оцеиеиа его личиость, мое уважение к иему еще больше. Я преклоняюсь перед его ученостью, перед чистотой его души и тем добром, которое ои делал и делает людям. И спасибо вам за то, что вы обратились ко мне с вашей просьбой». Вот так-то.

Выслушав, Федоров ничего не сказал, отвериулся. А когда собеседник посмотрел на него, увидел слезы, блестевшие в глубоко запавших, выцветших стариковских глазах.

Просматривая в те дни газету «Русские ведомости», он вдруг натолкнулся иа известие, заставившее вновь и вновь с волиеиием перечитать сухие газетные строки. Это было то, о чем он так давно мечтал! Поток нахлыиувших мыслей ие дал покоя целую иочь. Ои писал, зачеркивал и снова писал на первых попавшихся клочках бумаги. В статье, которую он прочитал в «Русских ведомостях», говорилось, что в северо-американском штате Небраска был произведен успешный опыт вызывания дождя стрельбой из пушек по кучевому облаку. Это было сделано во время военных маневров, и американские газеты поспешили раздуть сенсацию. Сенсация, как бывало ие раз, оказалась сильно преувеличенной, ио Федорову важен был ие изолированный факт, а идея. «Совпадение

[1] Все понять — значит все простить (франц.).

нашего голода от засухи, — писал он, — с открытием средства против бездождия, причем средством этим оказывается то самое, что служило лишь для убийства людей, не может не произвести впечатления потрясающего...» И в самом деле, «современный человек делал до сих пор все зло, какое только мог причинить природе, — он ее истощал, опустошал, хищнически эксплуатировал. Смотрел на природу как на кладовую, откуда можно только брать и расточать накопленное, ничего не возвращая. Он творил еще большее зло своим собратьям-людям, убивая их на войне, изощряясь в придумывании истребительнейших средств уничтожения. Даже железные дороги, которыми так гордится современная цивилизация, и те именуются «стратегическими», то есть служат войне и барышничеству. И вот в такой именно исторической обстановке словно луч света приходит благая весть, все переворачивающая! Весть о том, что орудия, изобретенные для человекоистребления, могут стать средством спасения от голода. Приходит надежда, что разом будет положен конец и голоду, и войне...»

Он остановился и после краткого раздумья продолжал:

«Ну и как же реагирует на эту перспективу наука? Устремляет ли она все свои силы к одной цели — воздействовать на выпадение осадков самыми различными способами? Увы, нет! Запершись в своих душных кабинетах, господа метеорологи слишком редко выходят оттуда, чтобы помочь земледельцу. Известно далее, что задача вызывания дождя тесно сплетается с другой задачей — борьбой с градобитием. Там, где появляется градоносная туча, есть возможность заставить ее разразиться не градом, а дождем. Превратить град в дождь можно опять-таки с помощью артиллерии. Борьба с градобитием посредством стрельбы из мортир быстро распространяется в последнее время (в 80-е и 90-е годы) в Италии, Швейцарии, Венгрии, Далмации и других частях Австрии. Производятся опыты такого рода и у нас в Крыму и на Кавказе. Создан первый образец русской градобойной мортиры. И кроме того, современные армии имеют на вооружении еще один аппарат, который военные используют пока что для своих человекоубойных целей. А между тем совсем другое его применение предлагал еще в начале девятнадцатого столетия наш Кара-

знн». Сколько лет эта идея пребывала в забвеннн, н вот теперь он, Федоров, снова о ней напоминает. Речь ндет опять и опять о привязных воздушных шарах, нлн — на военном языке — змейковых аэростатах. С их помощью наблюдают за передвижениями войск н, может быть, даже будут вскоре сбрасывать с них (или с других летательных средств) бомбы... «Какие только дьявольские замыслы не вынашиваются для уничтожения людей на земле! А ведь Каразин предлагал поднимать на привязных шарах громоотводы, чтобы отсасывать электрическую силу из туч. И очень возможно, что смягчение электрических напряжений в градоносных тучах как раз и заставит их проливаться не градом, а дождем. В холодное же время — снегопадом, что так важно для предохранения озимых посевов от вымерзания и гибели...»

И — как логическое завершение этого хода мыслей — идея, которой суждено, может быть, стать тем рычагом, который сдвинет наконец с мертвой точки, поможет человечеству начать *общее дело*.

Современное войско, армия с ее истребительным оружием... Как отнестись к ней? Не дает ли она, армия, государствам н народам ту организованную, технически оборудованную н готовую к действию людскую силу, которую можно и должно повернуть на новые, великие цели? «Армия, став силой не военной, а естествоиспытательной, положит начало братскому общему делу регуляции Земли и всей солнечной системы. Общая воинская повинность превратится в повинность трудовую и образовательную. Солдаты и офицеры должны будут стать учеными, инженерами и техниками — все без исключения! И тогда уничтожится навсегда разделение на два разума — теоретический н практический — н на два сословия — ученое и неученое. Гибельное разделение, результатом которого оказываются два невежества! Ибо неученые н сами вынуждены с горечью признать себя людьми темными, а ученые (речь идет, конечно, о позитивистах) не признают свое знание объективным, то есть имеющим действительную достоверность. Они, эти позитивистскн настроенные ученые, даже утверждают, что человек не способен ни к какому знанию, кроме субъектнвного, то есть недостоверного, ничего, следовательно, не стоящего, нбо мрака вокруг нас не разгоняющего...»

Поставив последнюю точку, он снабдил свои заметки заглавием: «Об обращении орудий истребления в орудие спасения». Но не успели, как говорится, высохнуть чернила, которыми была написана эта статья, как его внимание привлекли две публикации.

В одной из газет говорилось, что американские предприниматели хотят использовать градобойные и дождевальные мортиры для извлечения прибыли. Спекулянты готовятся стакнуться между собой, чтобы взвинтить стоимость операции по вызыванию дождя. Это была опять та самая «торговая зараза», то «барышничество», которыми испокон веков грязнилось любое предприятие на пользу людей!

Номер пятый «Церковных ведомостей» за 1892 год готовил ему еще один сюрприз.

В почтенном этом органе напечатана была речь, произнесенная архиепископом харьковским Амвросием. Тема: «О христианском направлении естествознания». Архиепископ славился в духовных кругах ученостью и слыл эрудитом в естественно-научных вопросах. В своей речи он коснулся как раз опытов использования артиллерии в метеорологических целях. Опыты эти ему не понравились, и он сокрушенно восклицал: «Бойтесь дерзости, мечтающей привлечь дождь с неба пушечными выстрелами!» По мнению преосвященного Амвросия, такая стрельба равносильна «поруганию божьего храма» и «посягательству на волю господню».

Это напомнило Федорову всегдашнее сопротивление церковников всему, чего добивалась наука в борьбе за улучшение жизни людей. Казни и проклятия были уделом врачей, открывших кровообращение и оспопрививание. То же самое произошло с физиками, разгадавшими электрическую сущность молнии. Франклина, пытавшегося устраивать громоотводы в своей родной Филадельфии, таскали по судам и шельмовали с амвонов. В России такая же участь постигла Ломоносова, когда он повторил франклиновские опыты. «Наущением дьявола, — вещали владыки из петербургского синода, — наперекор божьему велению хотят сводить гром с небес к соблазну умов...»

— Что вы скажете, Николай Федорович, о речи Амвросия? — то и дело подходили к нему с одним и тем же вопросом постоянные посетители каталожной.

— Скажу, что его высокопреосвященству не следовало бы и блох ловить в своей постели. Ведь это тоже будет посягательство на волю господню!

26. МАРТОВСКАЯ НОЧЬ

Засуха, голод, надежда на то, что разум и воля человеческие смирят в конце концов слепую стихию, снова и снова возвращали мысль к Каразину. Этот необыкновенный человек был властителем его, федоровских, дум еще полвека назад. Символично, кстати, что Каразин был урожденцем той же самой Харьковской губернии, где витийствовал сейчас этот многомудрый епископ Амвросий! Да, конечно, Каразин заслуживал того, чтобы о нем была написана книга. И не просто книга, а большой биографический труд, где первое место должны были занять мысли украинца о покорении природы, о победе над засухой, об овладении несметной электрической силой, бушующей бесцельно над планетой.

Не следует ли ему, Федорову, написать такую книгу? Он вздохнул с сожалением, вспомнив, что решительно не умеет писать книг, хотя провел среди них долгую жизнь. Но, может быть, попробовать все-таки... Во всяком случае он должен пересмотреть все биографические материалы, найти, если удастся, новые. В его распоряжении были теперь не только сокровища Румянцовки, но и все, что скопилось за полвека в архивах и в вольной русской печати. Он начал, не откладывая, эту работу, и жизнь удивительного украинца раскрылась перед ним со всеми ее странными, почти неправдоподобными поворотами.

Герцен, кажется, раньше всех описал в «Полярной звезде» первое из приключений молодого Каразина. Юноша успел уже к этому времени прослужить несколько лет сержантом в Семеновском полку в Петербурге, где, пользуясь тогдашними гвардейскими вольностями, вместо казармы посещал Горный корпус. Занимался там упорно физикой, математикой, химией. Перечитал также, кажется, все, что было издано вольнодумными философами Запада. Век Просвещения и Революции, век Вольтера и Дидро подхватил восторженного юношу,

сделал его одним из образованнейших людей своего времени. Но все оборвалось внезапно. Мрачное явление Павла I — барабанный бой плацпарадов, полосатые шлагбаумы, свист шпицрутенов... Как быть? Проститься с наукой или бежать? Бежать в чужие края, подставить лицо и грудь свежему ветру парижских предместий, учиться дальше у великих испытателей природы — у Монжа, Лапласа, Лагранжа? Да, бежать. И, взяв с собой молодую жену (крепостную девушку, с которой обвенчался перед бегством, — мог ли не вспомнить Федоров, что он тоже сын крепостной!), Каразин пробирается тайком к границе. У самой цели схвачен дозорным разъездом. Все кончено, впереди неминуемая гибель, кандалы, Сибирь. И тут невероятное. Арестант пишет письмо Павлу, объясняется с царем напрямик: «Я желал укрыться от твоего правления, страшась твоей жестокости. Свободный образ мыслей и страсть к науке были единственной моей виной... Другой вины не знаю. В твоей воле казнить меня...»

Не часто, восклицает Герцен, приходилось читать Павлу такие письма! Этот деспот любил играть в великодушие и отличался капризами настроения. Он велел доставить беглого во дворец. «Я докажу тебе, молодой человек, что и в России ты найдешь применение своим знаниям!»

Его определили на службу в Петербург и оставили в покое.

В мартовскую ночь восемьсот первого года убийцы в гвардейских мундирах, ворвавшись в императорский дворец, бросили к ногам трясущегося от страха Александра растерзанный труп его отца.

Дойдя до этого места герценовского повествования — знаменитая статья называлась «Император Александр I и В. Н. Каразин», — Федоров уже яснее представил себе образ человека, научными идеями которого он восхищался. Но то, о чем рассказал Герцен дальше, было, конечно, еще более удивительным.

На десятый или двенадцатый день нового царствования, воспользовавшись сумятицей, не улегшейся еще в Зимнем дворце, Каразин незаметно проникает в кабинет молодого императора и кладет на его письменный стол

запечатанный конверт с письмом. Письмо не подписано. Безымянный автор излагал в нем свою политическую программу переустройства России, — программу, следовать которой приглашал нового царя.

«Отечество мое!» — восклицал автор письма. Россия — страна, «подобной которой нет не только в нынешнем состоянии Европы и прочих частей света, но и в летописях веков прошедших...». Она, Россия, «заключает в себе десять климатов, бесчисленные блага, которые дают возможность поставить ее сношения с чужими странами в совершенной независимости...». «Пространнейшие ее земли ждут только надежных рук сынов своих для искусного ее обработывания... Богатства ее, не на случайных причинах, но на природе основанные, должны возрастать с самим временем... Изобилует она реками, которые, изливаясь в пять морей, ожидают лишь попечительной руки, чтобы соединить их вместе...»

И дальше советы царю, как лучше управлять ему этой великой страной и ее народом.

И первый совет — ограничить самодержавие, дать России конституцию. «Он (царь) скажет России: вот предел самодержавия моего!.. Он употребит самовластие для обуздания самого самовластия. Пожертвует собственными выгодами... Издаст государственное уложение... Предоставит суд избранным от народа... Обеспечит права человечества в помещичьих крестьянах, введет у них собственность, предоставит поселянам средства вкушать в воздаяние трудов своих сладость жизни...»

Что еще рекомендует Каразин не успевшему прийти в себя после кровавой мартовской ночи, «застенчивому», как иронически пишет Герцен, царю?

Избегать тратить народные деньги на украшение улиц и площадей столиц, «пока все прочее государство представляет еще бескровные хижины... Всю внимательность свою обращать на просвещение подданных... Безводные кряжи соделать обитаемыми и превратить в цветущие сады, проводя каналы из соседственных рек и одевая отлогости гор лесом».

Кончалось это, довольно умеренное по своему политическому содержанию, послание в том же приподнятом духе, каким кипела в те дни восторженная каразинская душа:

«Государь, не отвергни сию дань бескорыстнейших чувствований, орошаемую слезами чистейшей, вечной преданности!»

Александр, с немалым актерским искусством позировавший в ту пору в роли розового либерала, был приятно удивлен. «Струны его души», как выражались персонажи карамзинской «Бедной Лизы», «зазвучали в унисон» с анонимным автором. «По мере чтения, — писал Герцен, — глаза молодого императора наполнились слезами, щеки горели...» Он приказывает разыскать автора письма, установить по почерку его личность, призвать во дворец. Полиция сбивается с ног и исполняет требуемое.

27. МАРКИЗ ПОЗА

Каразин в кабинете царя. Тот всматривается в странного гостя, прижимает его к своей груди, благодарит за письмо, просит всегда говорить в глаза правду, разрешает писать и приходить во дворец в любое время...

Маркиза Позу допускать ко мне
Отныне безо всякого доклада!

Маркиз Поза из трагедии Шиллера «Дон Карлос», как известно, был наперсником мрачного короля Филиппа Второго, и тот благосклонно выслушивал из его уст самую горькую правду.

Для Александра, замечает Герцен, такой человек, казалось, был клад. «Неутомимая деятельность и глубокое научное образование его были поразительны. Он был астроном и химик, агроном, статистик — притом не ритор и не доктринер, а живой человек, вносивший во всякий вопрос совершенно новый взгляд и совершенно верное требование...»

Но, как и следовало ожидать, карьера петербургского маркиза Позы разбилась скорее, чем это произошло с героем трагедии Шиллера.

Федоров этому не удивился. Двоедушие Александра («Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда», — писал о нем Пушкин) слишком хорошо известно историкам. Сначала царь беспрестанно посылает за Каразиным, жалует его в коллежские и статские советники, пишет ему собственноручные интимные записки.

Каразин, отмечает Герцен, «удесятеряет свои силы». Он везде и всюду — в министерстве просвещения, созданном по его проекту (он правит там делами в директорате училищ), приводит в порядок государственные архивы, собирает материалы по статистике, финансам, медицине. Хлопочет о женском образовании, пишет новый устав для Академии наук, для народных школ, для учительских семинарий, для вновь основанного университета в своем родном Харькове, которому отдает все силы. Скачет то и дело из Петербурга на Украину и обратно, входит в долги, выписывает на свой счет учебные пособия для нового университета (в том числе «большую электрическую машину»). Спорит с приглашенными профессорами, с архитекторами, строящими университетское здание, с художниками, даже с каменщиками и штукатурами. Торопит, уговаривает, беспокоит сенаторов, губернаторов, министров...

Сотрудник Каразина по харьковским университетским делам Тимковский дружески предостерегает своего патрона: «Деятельность ваша, Василий Назарович, есть пламень всепожирающий... Ах, берегитесь, она пожрет и вас самих!» Он не слушает, конечно. «Чем менее давали ему возможность действовать, — вспоминал один из современников, — чем сильнее ему противодействовали, тем неудержимее становилась его неистощимая энергия, проявляясь с резкостью почти болезненной...»

Да, он обладал тем, что принято называть «плохим характером». Был он резок, настойчив, не силен в дипломатии, говорил правду не стесняясь, прямо в глаза. (Федоров только грустно усмехался, читая эти характеристики и находя в них сходство с самим собой.) И больше всех, разумеется, были раздражены и недовольны «выскочкой» чиновники всех рангов, и прежде всего близкие к царю вельможи из интимного его кружка. «Этот беспокойный господин Каразин опять не дает вам покоя», — пишет министр полиции граф Кочубей министру просвещения графу Завадовскому. В Эрмитажном театре, где ставили для царя знаменитую Шиллерову трагедию, любимец императора Новосильцов говорит в антракте, словно бы размышляя вполголоса сам с собой (но так, чтобы расслышал царь): «У нас теперь есть свой маркиз Поза!» И уже готовится низкая интрига, в черном кабинете (где полиция читает чужие

письма) становится известным содержание царских записок Каразину. Императору доносят, что Каразин рассказывает о них всем и каждому. Его вызывают во дворец. С презрительной гримасой говорят:

— Ты хвастаешься моими письмами. Посторонние знают то, что я писал тебе одному.

— Но, государь...

— Можешь идти.

И нет больше петербургского маркиза Позы. С ним покончено навсегда. Изгнанный из столицы, он поселяется в родных своих пенатах — харьковском сельце Кручике — и уходит с головой в научные труды.

Федорова они интересуют больше всего. Но прежде, чем углубиться в эту область, он считает долгом проследить дальше эту удивительную жизнь во всех ее изгибах до самого конца.

28. ЭТОТ БЕСПОКОЙНЫЙ ГОСПОДИН...

Он не унимается, даже отставленный от службы, этот беспокойный господин Каразин! В 1804 году поднимают восстание против оттоманских угнетателей сербы, и тотчас летит письмо из Кручика правой руке царя — князю Чарторыйскому. Каразин говорит в нем о своем сербском происхождении, о том, что прадед его Григорий Караджич принят был в русское подданство самим великим Петром. План такой: послать его, Василия Каразина, тайным агентом в турецкий тыл на Балканы. Он возглавит там восстание и добьется независимости дружественных России славянских племен. Автор письма напоминает, что точно такую же миссию при Екатерине поручено было выполнять в Сербии полковнику, его отцу. «России, — так кончалось письмо, — самой судьбой предназначено быть защитницей рода человеческого. Богатая внутренними силами, независимая во всех отношениях, она должна стать покровительницей угнетенных, как будет со временем судьей других народов...»

Письмо высмеяно и брошено в корзину.

Бесславный для России Аустерлиц и последовавшее за ним свидание Александра с Наполеоном в Тильзите вызвали новую тревогу за судьбы Родины. И новое письмо из Кручика в Петербург, на этот раз лично царю.

Каразин (разве не дозволено ему «говорить правду»?) дает императору откровенный совет: «Не связываться ни с Наполеоном, ни с англичанами», держаться нейтралитета, думать только о внутренних реформах и о благе русского народа...

Это было уже слишком. Резолюция на письме гласила: «Статского советника Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не принадлежат, взяв из деревни под караулом, посадить на харьковской гауптвахте на восемь дней. После чего истребовать от него подписку, чтобы он, под опасением жесточайшего наказания, не отваживался более беспокоить»...

Десять лет он не беспокоил.

Или нет: в 1813 году, достигнув замечательного успеха в опытах с «питательными вытяжками» (по-современному — пищевыми концентратами) для армии, ушедшей в те дни далеко на Запад, он попытался было умолить петербургское начальство передать изобретение в войска. И еще один раз попросил помощи у Аракчеева по поводу использования электрической силы атмосферы. От него отмахнулись, как от назойливой мухи. В декабре 1819 года наконец, когда о «нелепых рассуждениях» уже достаточно забыли и можно было появиться снова в Петербурге, его встретила там надвигавшаяся гроза.

Россия, сдавленная аракчеевским сапогом, ждала перемен.

«Заражение умов ныне, — писал брату великий князь Константин, — есть генеральное и замечается повсюду». Петербургский обер-полицеймейстер Горголи был настроен еще мрачнее: «Я уже докладывал вашему сиятельству (военному губернатору столицы графу Милорадовичу), что расположение умов в городе таково, что не отвечаю за три дня спокойствия»...

Обер-полицеймейстер поторопился. До четырнадцатого декабря оставалось еще целых шесть лет. Но, едучи из Харьковщины в Петербург, Каразин изумился, слыша «от прохожих неграмотных людей» такие разговоры: «Полно-де уже терпеть, пора бы с господами и конец сделать!» «В те ночи без сна», вспоминал Герцен, когда Каразин лихорадочно записывал в свой дневник новые петербургские впечатления, «не спали и другие

деятели; не спали они в гвардейских казармах, в штабе второй армии, в московских старинных господских домах... Они догадались, что Александр дальше двух-трех либеральных фраз не пойдет, что в Зимнем дворце нет места маркизу Позе; они поняли, что спасение для народа не может выйти из той же комнаты, из которой вышли военные поселения. Они ничего не ждали от правительства и хотели своими силами справиться... На их стороне были юность, отвага, ширь, поэзия, Пушкин, рубцы 1812 года, зеленые лавры и белые кресты... Да, это были люди!»

С ними, будущими декабристами — с Кюхельбекером, Глинкой и многими другими, — Каразин встретился сразу же в «Вольном обществе любителей российской словесности». Оно слыло также под названием «Ученой республики». От «республики» тянулись нити (Каразин этого не знал) к тайному «Союзу благоденствия», чьим преемником в свою очередь стало «Северное общество» Рылеева и его друзей.

Принимая Каразина в свои ряды, «Ученая республика» отметила «особенное его усердие к благу общественному» и «познания в науках и отечественном слове». Ему оказали честь — избрали вице-президентом Общества. Но пути любителей российской словесности и неудавшегося маркиза Позы быстро разошлись. Это случилось после инцидента, который, по мнению Федорова, имел значение, поучительное для последующих поколений.

В собрании 1 марта 1820 года вновь избранный вице-президент читал рассуждение. Тема: «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России». В нем «с дерзостью неприличной» (так говорили потом члены Общества) оратор обрушился на сидевших в зале поэтов и беллетристов за то, что те «предаются глупостям — в десятитысячный раз описывают восход солнца, пение птичек, журчанье ручейков». — Не пора ли нам, господа, заняться более серьезными предметами! — восклицал вице-президент. — Вместо вздохов сказочных любовников и путешествий небывалых опишем лучше путешествия действительные, совершенные в недрах отечества нашего. Исчислим естественные произведения России, нравы ее разновидных областей... Пора перестать быть подражателями только!

Закончил свою речь беспокойный вице-президент новой издевкой над присутствующими, назвав их «составителями глупых шарад и стишков в альбомы».

Скандал был полный, и Каразину пришлось расстаться не только с вице-президентством, но и с пребыванием в Обществе.

— Конечно, — рассуждал вслух Федоров, обращаясь к своим слушателям в румянцовской каталожной, — Каразин был совершенно прав, отстаивая литературу, совмещающую художественную форму с серьезным и дающим пищу уму содержанием. Как недостает нам такой литературы и сегодня! Но он был не прав, обращая свои стрелы против тех, кто писал т о г д а, в глухую ночь аракчеевщины, о журчащих ручейках и восходах солнца. Во-первых, эти «ручейки» и «восходы» звучали в той исторической обстановке как вызов казенно-верноподданнической риторике Кукольников и Булгариных. А во-вторых, эти же самые поэты, писавшие о «ручейках» — среди них были Рылеев, Кюхельбекер, Дельвиг, Баратынский, не говоря уже о Пушкине, — творили не только лирические пасторали, а и поэзию гражданственную. Поэзию, полную того глубокого философского и общественного смысла, к которому призывал Каразин. Он впал здесь в ту же ошибку, какую позже совершил Писарев, видевший в «Онегине» только любовные похождения. Писарев не приметил (это сделал за него Белинский), что в нем, в «Онегине», целая энциклопедия, целая эпоха русской жизни...

— Между прочим, — чуть улыбаясь, молвил Федоров, — Каразин помимо многочисленных своих дарований обладал одной поразительной способностью. Он ухитрялся, притом в кратчайший срок, портить отношения и восстанавливать против себя почти каждого, с кем имел дело!

29. ШЛИССЕЛЬБУРГ

Вконец испорчены были отношения прежде всего с русским царем, и это было плохим знаком на будущее.

Весь восемьсот двадцатый год Каразин проводит в волнении необыкновенном. Он пишет бесчисленные памятные записки, обращения, письма. В них говорится

о нарастающем брожении в стране. Корреспонденция адресована министру Кочубею и через него царю. И вот что примечательно. Хотя автор писем отнюдь не сочувствовал готовившемуся декабрьскому действу и заклинал царя предотвратить взрыв, он дерзко бросал в лицо самодержцу такую правду о положении в России, какую мало кто осмеливался говорить. Крепостная крестьянская доля — вот первое, о чем вопияли каразинские письма. «Многие тысячи народа, — писал он, — запроданы как рабочий скот подрядчикам... Помещики Витебской и Могилевской губерний графы Борх и Сологуб, князь Любомирский, Платер, Шадурский отдают своих крестьян на целое лето, получая по 110 рублей за голову». Подрядчики держат их впроголодь под открытым небом. «И это только одно из закрытых преступлений, а их тысячи в разных родах и видах!»

«Куда ни посмотришь, — читал царь в другой записке, — везде казнокрадство и мерзость запустения». Даже в главной морской крепости государства — Кронштадте — «развалившиеся здания и гниющие корабли. Зато матросов учат маршировать и тому подобным штукам...»

И это писалось самодержцу, чьей главной утехой были маршировка и парады. Это писалось «кочующему деспоту», который за недотянутый на смотрах носок солдатского сапога прогонял сквозь строй и забивал насмерть шпицрутенами!

Каразин в эти дни шел так далеко, что замахивался даже на всемогущего сатрапа Аракчеева. «Все прихоти в Грузине (поместье Аракчеева), — писал он, — содержатся на казенный счет. На экипажи — 22 тысячи рублей в год, на убранство дома — 30 тысяч. Деньги, конечно, из казны, да еще годовое жалованье 144 тысячи... И эти люди называют себя бескорыстными слугами отечества!»

Не смущаясь, он издевался над самим царем, над его мистическими радениями, которым тот предавался в обществе таких известных изуверов, как архимандрит Фотий и баронесса Крюднер. «Не переселяемся ли мы нынче в века самого мрачного суеверия и невежества?.. До чего мы дошли, когда в университетах преподают студентам чудеса магии (Каразин имел в виду учебник «Божественной философии», рекомендованный пресло-

вутыми Руничем и Магницким)... Хотите ли вы знать, что есть магия? Слушайте: «Она есть притягательная сила, действующая на духов и на тела. Сие, однако, есть магия ангельская, чистая, кою следует отличать от магии плотской, единственно диавольской»...»

Федоров, читая эту каразинскую филиппику, мог только вспомнить о своем собственном отношении к спиритам и телепатам, о вертящихся столах и явлениях сатаны в квартире Владимира Соловьева. Нет, решительно Россия Александра Третьего мало чем отличалась в этом отношении от России Александра Первого!

Было, однако, в каразинской биографии в том роковом для него 1820 году и нечто такое, что вызывало всегда недоумение исследователей. Недоумевал Федоров, не понимали вместе с ним и все, кто вникал в оставшееся после Каразина архивное наследие.

Непонятен был его страх перед возможностью «великой перемены» в народной жизни, — той перемены, о которой он сам мечтал и которую всегда приветствовал. («Великая перемена происходит в умах, — писал он Александру. — Множество причин на сие действует, и день придет».) Непонятно было и то рвение, с каким он спешил сообщать царю о каждом проявлении «мятежной вольности». Зная натуру Каразина, нельзя же было заподозрить его в желании выслужиться, в искании для себя корыстных выгод! Да, он слепо и непоследовательно боялся наступления «дня», и страх парализовал и затемнил его всегдашний здравый смысл. Он, кажется, искренне продолжал считать — так, по крайней мере, представлялось Федорову, — что царь прислушается к его, каразинским, предупреждениям и даст «сверху» те преобразования, которые он сам когда-то обсуждал со своим маркизом Позой. Это было химерой, но еще большей нелепостью было то, что, наряду с казнокрадами и мракобесами вроде Аракчеева и Фотия, Каразин избирает в те дни своей мишенью «беспутную молодежь, кропающую стишки и сеющую неуважение к властям». Он имел в виду своих оппонентов из «Общества любителей российской словесности», будущих декабристов, вольнолюбивых поэтов и прежде всего молодого Пушкина. Ведь он считал, что эта молодежь годится только на

воспевание «ручейков» и «солнечных восходов» да на сочинение озорных эпиграмм, усиливающих хаос в стране. «Какой-то мальчишка Пушкин, лицейский питомец, — сообщал он министру Кочубею, — написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых и самому государю...»

Но над беспокойной и окончательно политически запутавшейся каразинской головой уже собиралась новая гроза.

«Каразин, — докладывал царю командир гвардейского корпуса князь Васильчиков, — опасный человек. Он умен и под личиной преданности Вашему императорскому величеству может быть нашим врагом более, чем другие...»

Александр придерживался такого же мнения.

Ожидали только удобного случая, чтобы окончательно надеть намордник на бывшего маркиза Позу. Случай представился. В ночь с 17 на 18 октября 1820 года в казармах Семеновского полка произошло возмущение против полковника Шварца. Шварц даже среди благоволившего к нему начальства слыл заведомым негодяем, обкрадывавшим и истязавшим солдат. Они его не тронули и только отказались ему повиноваться. Это не помешало царю беспощадно расправиться с непокорным полком. А Каразин? Он немедленно шлет императору взволнованное письмо, где выражает свое сочувствие семеновцам. В их спокойном сопротивлении своему палачу он видит «благороднейший характер великодушного народа русского». «С прекрасным полком, — продолжает он, — поступлено неправильно, поступлено без снисхождения»...

История эта имела продолжение. Спустя несколько дней во дворе Преображенских казарм неизвестными лицами было подброшено воззвание от Семеновского полка к преображенцам, призывавшее встать с оружием на защиту товарищей. Изучая в тайной полиции почерк, которым написано воззвание, решили, что он «похож на каразинский». Этого было достаточно. 26 ноября по приказу царя Каразина арестовали и отправили в Шлиссельбургскую крепость. Предположение о том, что пресловутое воззвание написано Каразиным, было, конечно, вздором, а точнее, провокацией, тщательно обдуманной в кабинете графа Кочубея. В архивных материалах Федо-

ров нашел прямые тому доказательства. Не говоря уже, что экземпляр воззвания был найден под окнами каразинской квартиры (а вернее всего, был подброшен туда) полицейским сыщиком, нити провокации вели выше. В письме к царю — оно было написано уже после ареста Каразина — Кочубей сообщал, что «розыски по столь важному делу ведутся с величайшей осторожностью... Все средства для сего употреблены, но пока бесполезно». Стало быть, царь прекрасно знал, что его бывший наперсник не имеет никакого отношения к криминальному воззванию. Знал и все же продержал свою жертву полгода в шлиссельбургском подземелье. Выпущенный в конце концов в тяжелом болезненном состоянии, он был отправлен тотчас — как в восемьсот восьмом году — с фельдъегерем в село Кручик.

«После шестимесячного заключения в ужасном месте едва живой довезен до Харькова... Не ропщу на жребий мой, как не роптал, дыша гнилыми парами каземата... Едва-едва в руках перо держать могу...» — гласила запись, сделанная в конце пути на родину.

Приказ из Петербурга харьковскому губернатору был краток: «Держать статского советника Василия Каразина под неослабным наблюдением, с кем видится и что делает, и чтобы никуда не отлучался. Печатать и издавать ему запретить».

30. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА

Теперь, когда эта мятущаяся жизнь была прослежена в ее неугомонном течении (Каразин прожил остаток лет почти безвыездно в своем Кручике и скончался в 1842 году), можно было углубиться в его научное наследие. С волнением приступил Федоров к этому труду, и открывшееся перед ним показалось еще более значительным, чем представлялось раньше.

Действительно, разносторонность научных интересов этого человека могла удивить даже в тот энциклопедический век. И важно было — Федоров (и еще раньше Герцен) это подметил, — что Каразин не только размыш-

лял и умозрительно исследовал, но и давал практические решения, экспериментировал, действовал...

Но каждому серьезному испытателю природы нужна общественная среда, аудитория — нужны люди, для которых и ради которых он работает. Где взять ее, эту среду, в степной Харьковщине, в глухом углу, куда, изгнанный из столиц, удалился Каразин? Университет — его детище — влачил жалкое существование. Среди соседей — помещиков, чиновников и купцов — преобладали гоголевские типы «кувшинных рыл», ноздревых и собакевичей. Надо удивляться поэтому, что в 1810 году ему удается организовать в Харькове Филотехническое общество. Первая на Руси попытка соединить людей, интересующихся новинками в технике и готовых материально и морально их поддержать. Нечего и говорить, что душой, правителем дел и единственным докладчиком в этом Обществе был сам Каразин. И еще надо удивиться тому, что Общество это просуществовало целых десять лет, пока его организатор не очутился в казематах Шлиссельбурга...

О чем докладывал своим слушателям Каразин, можно было судить по найденным Федоровым отчетам и протоколам. Там значились такие разнообразные сюжеты, как выведение девяти новых сортов овса и одиннадцати пшеницы (в том числе египетской и с острова Крит). Затем опыты приготовления водоупорного цемента, исследование мер против гусениц, напавших на харьковские сады в 1816 году, составление каталога славяно-русских рукописей, обзор народонаселения Слободской Украины и многое другое. Было еще важное изобретение — паровое отопление зданий с большой экономией топлива и безопасное в пожарном отношении. Проект был испытан с отличным результатом в Харькове и послан в Петербург, где пожары от плохих печей не миновали и Зимнего дворца. Ответа не последовало даже после того, как инженер Кипферлинг в Берлине взял патент на систему, ничем не отличавшуюся от харьковской. К этому каразинскому изобретению примыкала другая его работа — опыты так называемой сухой перегонки дерева, идея, ставшая через полвека важной доходной статьей русской и мировой промышленности. Из кубической сажени обыкновенных дров экспериментатор смог получить до пятидесяти ведер древесного уксуса, полтора

ведра смолы и десятки кубических футов горючего газа. Но, очевидно, это мало интересовало тогдашних знатоков, потому что посланная Каразиным (уже в конце жизни) статья не была напечатана. И это вызвало горькую реплику, крик души затравленного исследователя: «Что вы это не помещаете моего изобретения! Стыдно вам будет, господа, если, уронив честь своего брата, русского, допустите англичан сказать: «это у нас сделано». Право, своим худая честь... Скучно и писать, не только жить в этом мире!»

И то же самое произошло с «паровой лодкой», передвигаемой реактивным способом: пар, выходя под давлением из кормы, сообщает лодке движение вперед. Модель действовала исправно и приводила в восторг босоногих деревенских мальчишек — единственных зрителей этого эксперимента на речке, протекающей через село Кручик!

Но самым сильным ходом каразинского быстрого ума были, конечно, его предложения о «воздушной электрической силе» и о возможностях, открываемых ею для власти над погодой. Только теперь, говорил Федоров, после того, как каразинская идея раскрылась перед ним во всей ее полноте, — только теперь может он оценить до конца роль, которую суждено сыграть этой идее в великом общем деле.

Начало этих работ Каразина — с интересом отметил Федоров — относилось еще к 1808 году. К тому самому году, который не мог считаться особенно ободряющим для кручикского энтузиаста. Едва выйдя из харьковской кутузки (она находилась — это было единственным утешением! — рядом с «его» университетом), Каразин не теряя времени погрузился в опыты с электростатической машиной. Искра, проскакивавшая между ее полюсами, вызывала изменение в составе воздуха. В нем образовывались окислы азота. От них был прямой химический путь к азотной кислоте и селитре. А в чем польза от селитры, объяснять долго не приходилось. Селитра — важнейшее удобрение для полей. Азот, нужный для ее приготовления, как оказалось теперь, можно брать прямо из воздуха. Воздух, как неисчерпаемая и даровая сокровищница драгоценного промышленного сырья, —

об этом до Каразина, кажется, не помышлял никто! Впрочем, напрягши свою феноменальную память, Федоров извлек из нее воспоминание о том, что где-то и когда-то он читал о невероятном предложении — добывать селитру из воздуха. Да, конечно, это было в «Путешествиях Гулливера» у великого и беспощадного сатирика Джонатана Свифта. Гулливер, странствуя по диковинному острову Лапуте, посетил тамошнюю академию наук и ее глубокомысленных деятелей. «Погружаясь мыслью во время прогулок в решение какой-нибудь сложной задачи, — писал Свифт, — они так увлекались, что частенько падали в яму». Во избежание этого «к каждому из них был приставлен хлопальщик, вооруженный надутым бычьим пузырем с сухим горохом внутри». Приближаясь к опасному месту, хлопальщик предупредительно хлопал академика пузырем по глазам! Опыты, которым предавались эти мудрейшие люди, вполне соответствовали величине их мудрости. Один из них был занят, например, тем, что «сгущал воздух в сухое плотное вещество, извлекая из него селитру»... Невероятно, но это было написано двести лет назад, написано с издевкой, но какова же все-таки была сила предвидения у этого зоркого насмешника Свифта! Тимирязев, с которым Федоров поделился своим восхищением свифтовской прозорливостью, сказал, что пример с селитрой — не единственный. «Возьмите предсказанное в «Гулливере» существование двух спутников планеты Марс (астрономы открыли их только в 1877 году). Или опыты над преобразованием энергии солнечных лучей в зеленом веществе растений». («Лапутяне занимались тем, что ловили солнечные лучи в бутылку, а я делаю то же самое в моей лаборатории в Петровско-Разумовском», — со смехом добавил Тимирязев.)

Прозорлив был не только Свифт, дальновиден — и в самом серьезном и реальном смысле — был Каразин. Чтобы приготовить азотную кислоту и селитру, доказал он в своем Кручике, достаточно приложить к воздуху электрическую силу. Но где ее взять? Доступные в каразинскую эпоху источники — гальванические столбы, лейденские банки, хрупкие машины, добывавшие электричество путем треиия, — все это было каплей в море. А ведь где-то там над головой, в грозовых тучах и еще выше — на высоте не более какого-нибудь полудесятка

верст (так думал Каразин), бушуют океаны электрической силы. Весь вопрос в том, как эту клокочущую мощь оседлать, как обеспечить ее постоянный приток к земным химическим фабрикам.

Ответ, предлагавшийся Каразиным, — Федоров помнил, с каким восторгом рассказывал он все это Петерсону еще в ту пору, когда они учительствовали в Богородске, — ответ мог показаться наивным теперь, в конце XIX века. Ныне, когда всюду работали мощные генераторы тока (их называли динамо-машинами), незачем было поднимать привязные шары и думать о передаче электричества по длинной проволоке из небесной выси. Это было наивно. Зато поистине непреходящей оставалась сама идея об извлечении азота и селитры с помощью электрических разрядов прямо из воздуха...

Но «электрический проект» Каразина имел еще одну замечательную сторону.

«Открытие о составлении селитры посредством облачной электрической силы, — писал он в 1814 году, — считаю я принадлежащим к числу важнейших... Но в воображении моем еще гораздо более предвижу. Поелику электричество употребляется природой к произведению метеоров, то не достигнет ли когда-нибудь посредством оного человек до возможности располагать состоянием атмосферы, производить дождь и вёдро по своему произволу?..»

Властвовать над земной погодой, над климатом... Разве не это должно стать первым шагом общего дела? Каразин словно бы предвидел, угадал его, федоровские, планы. И, что особенно важно, практический подход к этому шагу у кручикского мечтателя был вполне деловой, далекий от утопизма и суливший немедленные выгоды для сельского хозяйства.

Автор проекта предлагал создать по всей России «от Колы до Тифлиса и от Либавы до Нижне-Камчатска» разветвленную сеть метеорологических станций. Они позволяли бы проследить законы рождения и распространения воздушных вихрей сразу на огромнейшей территории Русского и соседних государств. Все измерения, делаемые на этих станциях, должны с наивозможной быстротой доставляться в единый центр — «государственный метеорологический комитет для руководительства наблюдениями местных смотрителей».

Только этим путем — заключал свои соображения Каразин — «дойдем мы до возможности предсказывать погоду на данное время и даже за целый год вперед с такой же по крайней мере точностью, как теперь предсказываем дождь на день вперед по понижению барометра».

Никто до кручикского сидельца не дерзал ставить так вопрос об изучении и предсказании погоды. В России к началу царствования Александра Первого действовали только три наблюдательных пункта — в Петербурге, Москве и на Урале, где велись сколько-нибудь регулярные измерения состояния воздуха. В Западной Европе немногим больше. И только через двадцать лет после Каразина великий француз Леверрье облек его идею в плоть и кровь, предложив связать телеграфом все станции на всей доступной поверхности планеты. С этого момента могла бы начать (и начала на самом деле) свою историю метеорология как наука. И то, что особенно понравилось Федорову, это каразинское предложение использовать в качестве готовой сети метеорологических пунктов уездные училища. Добровольными наблюдателями в них могли быть школьные учителя. Сам Каразин подал пример в деревенской школе в своем Богодуховском уезде, где находилось село Кручик. И Федоров в молодости пробовал делать то же самое на Рязанщине и всюду, куда его забрасывала учительская судьба.

Знаменитую записку «О приложении електрической силы верхних слоев атмосферы к потребностям человека» Федоров прочитал в разысканных им отчетах каразинского Филотехнического общества. В 1814 году с этой запиской ознакомился Аракчеев, а в 1818-м «электрический проект» дошел до царя.

Напоминание о беспокойном обитателе села Кручик не могло, разумеется, вызывать в Зимнем дворце ничего, кроме раздражения. Аракчеев выразил его с обычной своей грубостью. Просителям, пришедшим к нему как-то раз ходатайствовать о помощи по случаю засухи, временщик издевательски бросил:

— Адресуйтесь к господину Каразину. Он колдун — умеет вызывать дождь с неба!

Та часть каразинской записки, которая трактовала о приготовлении селитры с помощью электричества, при-

влекла, однако, внимание военного ведомства. Селитра — составная часть пороха, и решено было передать весь вопрос на рассмотрение в Академию наук.

В одном из министерских архивов Москвы Федоров с помощью хранителя разыскал доклад по каразинскому делу, подписанный академиком Фуссом. Документ опять-таки заставлял вспомнить мудрецов из свифтовской академии Лапуты, но на этот раз в более обидном для них смысле! Ученый немец высмеивал саму мысль о том, что «человек имеет великую надобность в большом количестве электрической жидкости неизвестно для каких-то технических надобностей». Что же касается предложения о создании сети метеорологических станций, то мнение академика было не менее безапелляционным. «Можно заключить, — писал он, — о малой пользе, которую доставил бы сей проект г-на Каразина, который совсем не есть ни нов, ни неслыхан. . .»

«Сочинение г-на Каразина при сем возвращается. Николай Фусс», — гласила последняя строка доклада.

Закончив его изучение, Федоров со смехом показал хранителю карандашную пометку, сделанную кем-то из предыдущих читателей этого бессмертного документа:

«Недалеко шагнет Россия с такими Фуссами!» [1]

31. КРЫША МИРА

Книгу о Каразине он так и не написал, но в «Русском архиве» в 1892 году поместил (без подписи) довольно большую работу — «В. Н. Каразин и господство над природой». В ней были приведены найденные им ценные материалы, касающиеся кручикского мыслителя, и высказаны заветные федоровские мысли об «общем деле». «Весь человеческий род, — говорилось там, — стоит перед великим Сфинксом, чудовищем, которое всякому проходящему мимо него предлагает загадку. Не разгадавший ее платится жизнью, а сам Сфинкс должен погибнуть, как только ответ будет найден».

Загадка — «зависимость существ, сознающих и чувствующих, от слепой бесчувственной силы». Смертоносная эта сила — природа. «Как тьма и мрак исчезают при

---

[1] Игра слов: «Fuss» по-немецки означает «нога».

свете, так исчезнет Сфинкс с его загадкой перед всемогущим человеческим Разумом... Правящей силой во вселенной будет тогда наука, знание, ставшее достоянием не немногих избранных, а всех людей...»

Семь новых лет прошло, прежде чем — на исходе столетия — он решился напечатать еще одни свои размышления, те самые, которые были вызваны известием о вызывании дождя стрельбой из пушек.

Статья эта — «Об обращении орудий истребления в орудие спасения» — была опубликована в двух номерах довольно неожиданного печатного органа. В газете «Асхабад», выходившей в административном центре далекой Закаспийской области — городе Асхабаде (нынешняя столица Туркменистана — Ашхабад).

Подписи автора под статьей опять-таки не значилось. От гонорара за нее он отказался. В ответ на недоумение редакции было заявлено, что автор — против какой бы то ни было литературной собственности (не говоря уже о денежной ее оплате). «Все, что производится умом человеческим, есть общее достояние всех людей». К тому же любой литературный или ученый труд есть непременно сгусток или продолжение мыслей и трудов бесчисленного числа работавших до него. «Ставить имя писавшего на обложке, например, книги поэтому нелепо. И еще более нелепо интересоваться книгой или статьей оттого только, что известно имя автора. Не разумнее ли спросить, кто писал, *после* того, как прочитана книга?»

— Но ведь вы же сами, Николай Федорович, ведете у себя в библиотеке каталожные карточки, начинающиеся с имени автора?

— Я всегда считал, что предметные каталоги важнее алфавитных авторских, — последовал ответ.

В Асхабад он приехал в предпоследний год века.

За год до этого он покинул службу в Румянцовке. Ему стукнуло семьдесят, сил стало меньше, и времени впереди — он чувствовал — осталось немного. А сколько мыслей еще надо было продумать и записать! Он получил желаемую отставку и вместе с нею пенсию «за тридцатипятилетнюю беспорочную службу». 17 рублей 51 копейку в месяц... Петерсон, служивший теперь в судебном ведомстве в Асхабаде, звал его к себе отдохнуть,

посмотреть на новые, недавно вошедшие в состав империи края. Он готов был ехать не откладывая, но подоспело приглашение из Архива министерства иностранных дел в Москве. Его просили занять должность хранителя архивной библиотеки. Это было книгохранилище для избранного круга читателей — спокойное место с интереснейшим подбором исторических материалов. Он согласился и выговорил себе год отсрочки, охотно ему предоставленный. Теперь он ехал по железной дороге, проложенной за неслыханно короткий срок трудом и мужеством русских людей сквозь безводные пустыни Закаспия.

Всего восемнадцать лет минуло с той поры, когда русские пришли в Ахал-Текинский оазис. Много сотен лет назад там цвела древняя и могучая цивилизация предков туркменского народа. Ее истребили хищные орды полудиких завоевателей, и к моменту прихода русских на месте Асхабада лепился скудный кишлак с кибитками вместо домов. Это было в 1881 году. Но уже в ноябре восемьдесят пятого первый паровозный гудок прозвучал в Асхабаде, и вскоре рельсовый путь прошел через Бухару, Самарканд и в девяносто девятом достиг Ташкента.

Для Федорова, с любопытством смотревшего из вагонного окна третьего класса на расстилавшийся перед ним удивительный мир, эта железная дорога была не просто средством быстрого передвижения. То был практический пример, как бы пояснявший его заветные мысли и чувства. С одной стороны, размышлял он, рельсовая колея, ведшая на Асхабад, выглядела как «стратегическая», построенная явно для военных целей. Но с другой — эта же самая дорога оживила край, приобщила его к цивилизации, к мировой культурной жизни. И, что самое замечательное, строили ее солдаты и офицеры железнодорожных батальонов русской армии. И они же, узнал Федоров, заняли потом все должности по службам движения, тяги и ремонта, как бы иллюстрируя его, федоровскую, идею использования войск для «общего дела», для братского созидательного труда!..

В Асхабаде его встретил, радостно обняв и расцеловав, Петерсон, и он прожил здесь год, наполненный раздумьями о судьбах России и ее месте в большом и сложном мире.

Не переставая удивляться, бродил старый библиотекарь по недавно проложенным улицам крошечного городка с его двадцатью тысячами жителей (главным образом русских военных, купцов — армян и персов — и хозяев этих мест — туркменов, мастеров ковроделия и всадников, не имевших себе равных во всей Средней Азии). Изумил высокий холм — что-то вроде кургана — в самом центре Асхабада, холм, о происхождении которого ходили занимательные слухи. Говорили, что он существует еще с времен древнеперсидского царства и что там зарыты сокровища, уцелевшие от монгольского нашествия. Любопытствующие пытались раскапывать холм, но сокровищ пока что не обнаружилось. В нестерпимую жару, опускавшуюся на городок в летние месяцы, жизнь замирала. Но ненадолго. В вечерние прохладные вечера оживали караван-сараи, лепившиеся вокруг базарной площади, и Федоров с удовлетворением видел, как плоды русского труда щедрым потоком устремлялись в эту еще недавно забытую богом страну. Через Красноводск по Каспию везли сюда из России ситец, керосин, металлическую посуду. Товары шли в Хиву, Бухару и еще дальше — на Хорасан и до крайних рубежей Персии. Горы сушеных фруктов, чувалы шерсти, тюки хлопка высились в привокзальных пакгаузах, ожидая движения в Россию. Караваны размеренным верблюжьим шагом проходили мимо убогих глинобитных домиков с плоскими крышами из камыша, кое-как прикрытого засохшей глиной. Гортанные крики погонщиков мешались с пронзительными возгласами водовозов — вода была дорога, ее везли на ослах от горных речек и продавали по два рубля с полтиной за двадцать ведер. О воде слагали здесь песни и эпические поэмы, и Федоров еще раз подумал о человеческой слепоте. Люди довольствовались рассохшимися бочками, из которых драгоценная влага уходила бесследно в песок, вместо того чтобы общим трудом прокладывать широкие надежные каналы. Те, кто катил мимо Федорова в лакированных колясках, увозящих русских чиновников на летние дачи в горное местечко Фирюзу, видимо, не интересовались этим делом...

Злые северные ветры, дувшие с Каракумов, засыпáли город тучами песка. Песчинки проникали в каждую щель, хрустели в зубах, солнце в песчаном мареве выглядело багровым, тускло светящим шаром. Зато с юго-запада

приходили сюда чистые, напоенные лесными запахами воздушные потоки из ущелий Копет-Дага. Копет-Даг был на дальних подступах к горной стране Памир — гигантской платформе, стиснутой между исполинами Тянь-Шаня, Гиндукуша, Гималаев. Сердце Федорова билось взволнованно, когда он думал о том, что русский язык, русское слово, русская мысль звучат отныне на легендарной крыше мира, откуда как бы просматривается весь континент Евразии — от Ла-Манша до Курильской гряды. Не суждено ли тогда русскому Памиру стать местом сбора всех земных племен и народов, вышедших в великий братский поход против жестоких и бессмысленных сил природы? В московском Кремле-детинце расположится мозговой центр, где будут вынашиваться планы регуляции космоса, а на крыше мира соберутся командиры трудовых батальонов, готовых ринуться на штурм вселенной?

Раздумывая обо всем этом, он исписал мелким бисерным почерком немало листов, жалуясь самому себе на «неуменье излагать мысли в стройном и систематическом виде». Петерсон со своей стороны пользовался каждой возможностью стенографировать вслед за ним, когда он развивал свои думы вслух, сидя на завалинке перед маленьким бревенчатым домиком, где жили они. Лучи заходящего солнца освещали дикую громаду гор Копет-Дага. «Крыша мира» не была видна отсюда. Она была за много верст, но мысленно он находился там, на перекрестке мировых дорог, где некогда шли караваны великого шелкового пути из Китая в Рим, где останавливались Марко Поло и Афанасий Никитин, где реял сегодня русский флаг...

Русские пришли туда за каких-нибудь шесть-семь лет до приезда в Асхабад Федорова.

В октябре 1892 года казачий отряд полковника Ионова разбил палаточный городок и построил крепкие редуты у горной речки Ак-Су в самом сердце Памира. И с этого времени легендарный край на языке статистиков стал именоваться просто «Памирской волостью Ошского уезда Ферганской области».

Еще раньше на реках Кушке и Пяндже мирно размежевались русские и афганцы, проведя линию государственной границы. Но спокойствие в этих местах нарушалось беспрестанно разбойничьими набегами с той

стороны Пянджа. Они готовились и оплачивались звонкой монетой, эти набеги, в роскошном дворце британского вице-короля в Дели и в штабах английских колониальных войск, цепко державших за горло порабощенную Индию.

— Правительство ее британского величества трепещет при одной мысли о русском солдате, появившемся у ворот в Индию. У страха глаза велики! — смеясь, сказал Федорову казачий есаул с академическим значком на кителе, поивший коня рядом с петерсоновским домом.

Английские офицеры, переодетые в маскарадные туземные халаты и чалмы, частенько командовали шайками бандитов, налетавшими на русские посты в горных проходах Мургаба.

Эти известия побудили Федорова заняться, как он писал, «индийским вопросом», в котором «сходятся все узлы и завязки нынешнего мирового положения».

Положение это, отметил он, обострено до крайности «прежде всего действиями английских торгашей и капиталистов». Они стремятся «дать роду человеческому такую форму, при которой все народы будут исполнять роль низших сословий, чернорабочих, производящих сырые или полусырые продукты». Английские же фабриканты и заводчики «наживутся при этом на их обработке».

И самая крупная и жирная добыча, в которую впился заморский капитал-паук и беспощадно ее высасывает, — Индия!

Что сделали английские властители, — восклицает Федоров, — с народом этой древней и имеющей славную историю страны? «Англичане в Индии составили из себя такую себялюбивую и тщеславную касту, какая никогда не существовала даже в этой классической стране каст». «Цивилизаторская» миссия, якобы выполняемая колонизаторами в Индии, выразилась в том, что «индусам запрещено бросаться под колесницу Джагернаута, но зато разрешено умирать от голода и болезней». Англичане, обезземелив индийцев и превратив их в батраков у местных князей и колонизаторов, «сделались истинными виновниками голода и эпидемий». «С освобождением Индии, — продолжал Федоров, — вся торгово-промышленная паутина, сплетенная Англией, должна будет разорваться и пасть... Тогда Англии не удержать ни Гибралтара, ни Мальты, ни так беззастенчиво захваченного ею

Кипра. Тогда все народы, служащие Англии чернорабочими (а на нее работают и Южная Америка, и Африка, и Австралия), возвратят себе экономическую независимость... И можно надеяться, что собственная промышленность в этих странах соединится с земледелием, а это и есть необходимое условие избавления от торгово-промышленного рабства...»

А Россия? Какова ее роль в «индийском вопросе»?

«Сама природа и история требуют от России, от нас, принять на себя долг посредничества...» Мы, русские, пишет Федоров, должны выступить как посредники «в защиту индусов и всех эксплуатируемых народов... Одно наше приближение к Индии и проложение железной дороги до ее ворот будут говорить сильнее всяких слов...» Федоров выражает надежду, что мощь и близость России «заставит англичан наделить индусских крестьян землей», а если это не произойдет добровольно, сам индийский народ, воодушевляемый близким русским присутствием, «поднимется и покончит разом и с английским владычеством, и с безземелием...».

«Само собою разумеется, — читаем в заключение, — Россия не должна искать владений в Индии. И надо надеяться, что кашмирские шали и пряности не обольстят нас, как не обольстили они и нашего соотечественника Афанасия Никитина, пришедшего в Индию как друг и брат!»

Еще одна статья без подписи, на этот раз на чисто научную тему, появилась в газете «Асхабад» 25 октября 1899 года. Ее смелые, далеко опережавшие время мысли смогли быть полностью оценены лишь через много-много десятилетий.

Поводом для статьи была предстоявшая встреча Земли с потоком метеорной пыли, что всегда вызывает на небе эффектное зрелище «звездного дождя». Глядя на падающие звезды, писал автор статьи, мы «наблюдаем по существу процесс самосозидания Земли, так как именно таким путем образовалась и продолжает расти масса нашей планеты». Эта мысль, гласящая, что Земля и вся солнечная система возникли сгущением твердых и холодных космических пылинок, общепринята в науке конца XX века, но на исходе века XIX она была чем-то совершенно удивительным и новым.

Падающие звезды для автора статьи в «Асхабаде» — также повод для повторения и углубления его любимых идей о регуляции космоса.

Люди, писал он, наблюдая осенние «звездные дожди», смогут зримо почувствовать себя «путешественниками, плывущими на земном корабле». Корабль этот то прорезает время от времени хвосты комет (они состоят как раз из метеорной пыли, и тогда Земля осыпается особенно густым ливнем падающих звезд), то «плывет через пустыни неба, дающие о себе знать редкими каплями упадающей небесной материи».

Автор горячо ратует в этой связи за устройство в Асхабаде, как и повсюду в России, школьных обсерваторий, или «вышки, с которой ученики будут регулярно наблюдать звезды и планеты». Это поможет учащимся «привыкнуть рассматривать Землю как небесное тело, как звездочку очень малой величины». Стыдно сказать, восклицает автор, но мы сплошь и рядом равнодушно не поднимаем даже взора к ночному небу, тогда как тысячи лет назад «кочевники древнего Турана[1] уже умели по звездам направлять путь своих караванов»!

Небо, пишет он, «можно сказать, даровая картина, которую педагоги не используют и в то же время жалуются на недостаток средств для приобретения учебных пособий!».

Именно изучение неба, читаем дальше, должно убедить людей, что «человеческая деятельность не может ограничиться пределами земной планеты». Назначение человека — не просто пассивно плыть в космосе, а управлять ходом Земли, стать ее «штурманом и механиком». Это может пригодиться, замечает автор, хотя бы тогда, когда возникнет опасность столкновения Земли с каким-нибудь крупным небесным телом. Зарекаться от этого нельзя и об этом предупреждал еще Герцен. Дело спасения Земли требует уже сейчас особого внимания к небу, и астрономия должна стать главной естественной наукой, «наукой наук» для человечества. Падающие звезды с этой точки зрения — «напоминание и призыв к спасению». Падающие звезды — «письмена судьбы, начертанные на небе». Сумеем же мудро их прочитать и, как неизбежный

[1] Название географической зоны, включающей ряд районов Передней и Средней Азии.

следующий шаг, готовиться «превратить другие планеты в новые обители для человечества». Расселение людей по всему космосу, овладение всем космосом — вот «цель и конечный смысл существования человечества»!

Близился день отъезда, и он оставлял в Асхабаде людей, успевших привыкнуть к нему и полюбить. Местные жители — туркмены и таджики, — которых он снабжал по надобности порошками хинина или салола, называли его за глаза «тубибом» (так в странах Переднего Востока именуют врачей), а иногда «дервишем» (иранское слово, которое переводится одинаково как «святой» и «нищий»). Петерсон, заинтересовавшись медицинскими познаниями своего гостя, попробовал было спросить, откуда они. На это последовал неохотный ответ, что еще в юности, в Одессе, он увлекался медициной. И думал даже одно время стать врачом... Петерсон знал, что Федоров учился когда-то в одесском Ришельевском лицее (в годы, когда в памяти старожилов свежо было еще посещение этого лицея Пушкиным). Но не стал больше расспрашивать.

32. СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Он ходил теперь ежедневно в министерский Архив на Воздвиженку и приводил в порядок новое свое книжное хозяйство. Кое-что изменилось в его жизни. Читателей в библиотеке Архива было немного — главным образом преподаватели университета, работавшие над диссертациями и книгами историко-дипломатического характера. Он лишился привычного кружка, с которым обсуждал интересовавшие его события. Не было и «федоровских пенсионеров» (швейцары Архива не пускали их на порог), и только самые предприимчивые подстерегали своего благодетеля на улице по двадцатым числам. Это имело то неприятное последствие, что стали оставаться деньги. К жалованью прибавилась пенсия, и эти сорок с лишним рублей были сущей казнью. «Остались проклятые», — бормотал он про себя, нашаривая в карманах кацавейки какую-нибудь оказавшуюся там негаданно кредитку. «Пакость, мерзость» — были другие названия

для денежных знаков, от которых он не знал как избавиться...

Оставшееся свободным от службы время он заполнял теперь усиленным чтением и литературной работой (если можно было назвать такой работой записывание мыслей на разрозненных бумажных клочках). Его внимание привлек Ницше с его проповедью «сверхчеловека», и он уловил прямую связь между этой модной и безудержно рекламируемой литературой и бешеной подготовкой немецкого милитаризма к агрессивной войне. «Ницше — философ смерти и полного вырождения», — гласила запись, сделанная после прочтения «Заратустры». «Для трезвого человека в «Заратуштре» нет ничего великого», — говорилось в другой записи. И самое печальное, конечно, было то, что этой упадочной философией и прочими декадентскими «цветами зла»[1] увлекались некоторые слои русской интеллигентной молодежи.

Ему пришлось лишний раз убедиться в этом в один из весенних вечеров 1900 года. Издатель «Русского архива» Бартенев (с которым Федоров сотрудничал тридцать лет назад в Чертковке), семидесятилетний, но все еще бодрый, пришел просить его к себе по какому-то делу. Он пришел, и ему представили находившегося в этот момент у Бартенева молодого человека, работавшего секретарем в «Русском архиве»: «Наш подающий большие надежды молодой поэт». И назвали имя: Валерий Яковлевич Брюсов. Федоров с любопытством смотрел на гостя, напоминавшего своим строгим внешним видом больше молодого профессора, чем поэта. О поэзии говорила, пожалуй, только белая гвоздика в петлице безукоризненного сюртука. С некоторыми произведениями Брюсова он был знаком и заметил в них прежде всего большую ученость и тонкое знание истории Востока и античности. («Качество, столь редкое у современных литераторов», — добавил он.) Он сказал Брюсову, что ему понравилось также стихотворение, в котором едко высмеивается некий представитель ученого сословия, этакая напыщенная схоластическая мумия. «Может быть, вы напомните мне этот ваш стих?» Поэт, рассмеявшись, продекламировал:

---

[1] «Цветы зла» — название известного сборника стихов Бодлера.

Вот он стоит в блестящем ореоле,
В заученной иконописной позе,
Его рука протянута к мимозе,
У ног его цитаты древних схолий...

Заговорили о ницшеанстве, и — увы! — молодой поэт оказался поклонником этой извращенной, как выразился Федоров, философии. Поэту досталось крепко. («Но это у вас скоро пройдет», — сказал он ему миролюбиво на прощание.) «С самого начала разговора, — записал потом Брюсов в дневнике, — он меня поразил. «Как-никак, а умереть-то нам (людям теперь и в будущем) придется», — сказал я. «А вы дали труд себе подумать, так ли это?» — спросил Николай Федорович... Он нападал на меня жестоко. Я остался очень им доволен и уходя (я спешил) благодарил его...»

Брюсов долго помнил об этой встрече с «великим учителем жизни, необузданным старцем, от языка которого претерпевали и Соловьев, и Толстой».

Соловьева не было уже в живых, он умер в 1900 году, не достигнув и пятидесяти лет. Умер от болезни, сопровождавшейся признаками душевного расстройства (о чем Федорову нетрудно было догадаться, слушая его рассказы о «встречах с чертом»). Очередной подобной галлюцинацией можно было счесть и нашумевшую книжечку Соловьева «Три разговора», вышедшую за несколько месяцев до его смерти. Апокалиптические видения близкого «пришествия Антихриста» были перемешаны там с откликом на военные события на Дальнем Востоке. Зимой 1899 года восстали против колонизаторов китайские народные массы (так называемые «ихэтуани», или «боксеры»), и державы ответили на это восстание интервенцией, резней и зверским разграблением китайских городов. Все эти события своеобразно преломились в больном сознании Соловьева. Ходило по рукам его стихотворение, начинавшееся строками:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно!..

Для Федорова, как и для многих других проницательных людей, все это выглядело не как мифический «панмонголизм» и не как «предвестие Антихриста», а гораздо прозаичнее. «Погубив Индию, английское торгашество (вместе с другими) губит теперь Китай». Североаме-

риканцы, «вероломно отняв в девяносто восьмом году у испанцев Филиппины, поступают точно так же», — отметил он в своих записях рядом с известием о смерти Соловьева.

Философ, пророчествовавший о приходе Антихриста, лежал в гробу.

Продолжал зато, к счастью для России, жить и творить с несокрушимой силой другой мыслитель. Тот, кто так глубоко, хотя и не всегда радующе входил все эти долгие годы в федоровскую жизнь. И как ни далеко разошлись их — Федорова и Льва Толстого — пути-дороги, вдруг случилось событие, заставившее старого библиотекаря примиренно подумать о своем великом ровеснике.

Первым принес это поразительное известие Брюсов, ворвавшийся с газетой в редакцию «Русского архива» и переполошивший всех. 22 февраля 1901 года «святейший правительствующий синод» отлучил от церкви Льва Толстого! Длинное послание (носившее почему-то номер 557 — синодская консистория не могла обойтись без входящих и исходящих) было адресовано «верным чадам православныя греко-российския кафолическия церкви». Мотивировался документ желанием охранить «чад» от «губительного соблазна, рассеваемого еретиком и лжеучителем графом Львом Толстым». Еретик сей, по мнению святейших отцов, «в прельщении гордого ума дерзко восстал на господа и проповедует ниспровержение всех догматов, отрицает загробную жизнь» и т. д. Особенное недовольство членов синода выражено было по поводу неприятия Толстым «бессеменного зачатия и девства до и после рождества пречистой богородицы приснодевы Марии»...

— Велеречивые российские митрополиты, любящие понежиться на пуховых перинах, неудачно позируют под средневекового Торквемаду, — заметил Брюсов. И добавил, что «послание», конечно, не понравится Федорову. Ведь там упоминается о загробной жизни, а для него одна уже мысль о неизбежности «гроба» — невыносимая капитуляция перед слепой природой!

Брюсов не ошибся. Федоров, читавший «отлучение» запершись ночью в своей каморке, болезненно сжался, когда дошел до строк о смерти, приправленных прокля-

тьями и угрозами оставить престарелого писателя без христианского погребения. Заканчивалось послание вздохами и сокрушениями об «отпавшем от веры» писателе и призывами к богу, чтобы тот проявил милосердие и вернул еретика в лоно святой церкви.

Подписан был этот единственный в своем роде документ «смиренным Антонием, митрополитом санктпетербургским и ладожским», «смиренным Феогностом, митрополитом киевским и галицким», и пятью другими столь же смиренными сокрушителями ереси.

Федоров вспомнил в этой связи еще об одном «смиренном» — о харьковском Амвросии, проклявшем борьбу науки с неурожаями и искусственное дождевание полей.

Все они были, конечно, одного поля ягоды, и в ответ на вопрос архивного сторожа, как он относится к посланию митрополитов, библиотекарь нахмурился и ответил односложно: «Мерзость».

Он не мог знать, конечно, что через немного лет это же самое слово, не сговариваясь с ним, Федоровым, произнесет по поводу отлучения Толстого могучий ум, чье боевое имя — Ленин — станет скоро символом и знаменем народной борьбы и победы:

«Святейшие отцы проделали особенно гнусную мерзость... Синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе...»

33. «ОТ РАБОЧИХ ПРОХОРОВСКОЙ»...

Сознательные пролетарии Москвы явно разделяли эту точку зрения. Очень скоро в руки Федорова попал гектографированный листок «От рабочих Прохоровской мануфактуры». Адресован был листок «глубокочтимому и дорогому Льву Николаевичу Толстому», и в нем говорилось:

«Мы, рабочие, глубоко сочувствуем Вам по поводу несправедливого осуждения Вас синодом, т. е. несколькими людьми, называющими себя церковью Христовой. Во все времена люди, стоявшие на стороне человеколюбия и правды, всегда были отчуждаемы теми, кто попирает ногами свободу, добродетель и честь. Ваше слово

не на бесплодную почву упало... Мы чтим Вас как великого писателя, которому воздвигнется нерукотворный памятник в наших сердцах...»

И те же самые рабочие-прохоровцы и фабричные с других предприятий Москвы вышли на улицу двадцать пятого февраля, как раз в то утро, когда было напечатано в газетах пресловутое отлучение. Рабочие вышли, чтобы протестовать против злодеяния, случившегося двумя днями раньше. Произошло оно на Моховой около университета, когда студенты, вопреки запрету, собрались на сходку в актовом зале (и вместе с университетскими пришли из Петровской академии, из Межевого, с женских курсов и кроме них несколько фабричных из Прохоровки, где в этот день начиналась стачка). Вот тогда-то обер-полицеймейстер Трепов — сын того, который зверствовал четверть века назад в Петербурге, — применил испытанный прием. Дав собраться полному залу, полиция и войска стали окружать университет. Прохожих гнали на соседние улицы. Участники сходки — их было около тысячи — забаррикадировали входы в актовый зал. Трепов и его янычары только этого и ждали. С обнаженными шашками и штыками наперевес взломали двери, ворвались в зал, били чем попало, не щадя девушек-курсисток. Загнали всех через площадь в Манеж, где избитых и окровавленных бросили на ночь на холодный земляной пол. Тут же расположились казаки со своими лошадьми. Спертый воздух к утру стал невыносим, раненые теряли сознание, были стоны, крики о помощи, судороги...

Все это происходило двадцать третьего февраля. А на следующий день, в субботу, студент Карпович выстрелом из револьвера сразил наповал министра народного просвещения (его называли «министром народного затемнения») Боголепова. И в воскресенье двадцать пятого общественное возбуждение достигло предела. С красными флагами и пением «Смело, товарищи» шли тысячные массы по Никитской и Тверскому бульвару. На середине Тверского их встретили казаки. Свистели нагайки, падали раненые. «В четыре часа дня весь Кузнецкий мост до самой Лубянки заполнила сплошная масса народа», — писали газеты. «Были исключительно фабричные», — подчеркнуто, со злобой отметили «Московские ведомости». И вдруг на одной из улиц люди увидели Льва Тол-

стого. «Он вышел из ворот какого-то дома, в дубленом полушубке, опираясь на палку». Его заметили, кричали «ура, Лев Николаевич!». Проводили, осторожно поддерживая под руку, по Рождественке, усадили на извозчика. Много еще удивительного совершилось на глазах у москвичей в тот февральский день. Чины охранки, например, больше всего дивились умной организованности московского рабочего люда. Это было приписано — и не без основания — «агитаторам из социал-демократов». Разгоняемая и преследуемая масса вновь неожиданно собиралась на новом месте. Охранники метались как крысы, и с трудом им удалось спасти от рабочего гнева рассадник мракобесия — редакцию «Московских ведомостей». Там подвизалось теперь новое реакционное светило — бывший народоволец, а ныне продавшийся за сребреники департаменту полиции ренегат Лев Тихомиров. (Федоров вспомнил, что именно этому господину принадлежало некогда авторство знаменитой «Сказки о четырех братьях»!) И вечером того же студеного воскресного дня опять всплыло имя Льва Толстого. Рабочие и студенты подошли к знакомому каждому москвичу фамильному дому в Хамовниках, чтобы еще раз приветствовать писателя. Он вышел на крыльцо, поблагодарил за сочувствие, сказал, что отлучение от церкви его не тревожит, что жить ему осталось хоть и недолго, но до последнего своего вздоха будет он стараться жить по совести...

Через месяц Толстой окончил писание своего ответа митрополитам.

Текст ответа быстро разошелся в списках. Он был напечатан также в книге, доставленной в Архив на Воздвиженке чиновником русского посольства, приехавшим из Берлина. Берлинское издательство Гуго Штейница, известное своими публикациями на русском языке, поспешило собрать все документы по данному делу и выпустило их под названием «Граф Лев Толстой и Святейший Синод». В своем ответе синоду писатель привел, между прочим, выдержки из анонимных писем, полученных им после 22 февраля:

«Пойдешь после смерти в вечное мучение, издохнешь как собака...»

«Анафема ты, старый черт, будь проклят...»
«Если не уберут тебя, мы сами заставим тебя замолчать...» И прочее в этом роде.

Проходя по площади на другой день после отлучения, писал Толстой, он слышал, как говорили о нем: «Вот дьявол в образе человека!»

Таким образом, кротко отмечал автор ответа, «постановление синода вообще очень нехорошо»...

— Даже Софья Андреевна Толстая и та не выдержала, — сказал, тонко улыбаясь, чиновник из берлинского посольства, вручая Федорову в подарок пахнущий типографской краской экземпляр штейницевского издания. — В своем письме митрополитам графиня называет их «людьми, нарушившими своею злобою высший закон любви». Виновны в этом, пишет она дальше, «не заблудившиеся, ищущие истины люди (подразумевается ее муж), а те, кто носят бриллиантовые митры и звезды!».

Чиновник продолжал улыбаться. Он был молод, затянут в изящный форменный мундир, от выхоленных его усов исходил запах тонких духов. («Кажется, окончил пажеский корпус, но ведь окончил этот корпус с золотой медалью и знаменитый анархист — бежавший из петербургской тюрьмы Кропоткин!») Федоров поблагодарил и запрятал берлинскую книгу подальше от посторонних глаз.

Читая толстовский ответ синоду, он был рад, что встретил там слова, позволившие примиренно согласиться с яснополянским мудрецом. Это были те строки, в которых великий писатель, отбросив привычный тон непротивления, дал услышать свист тяжелого ювеналова бича. Толстой писал о «грубом колдовстве» церковников, о «всех этих купаньях, мазаньях маслом, телодвижениях, заклинаньях, проглатываньях кусочков... Для того чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов...» Кощунство, продолжал Толстой, «не в том, чтобы назвать перегородку — перегородкой, а не иконостасом и чашку — чашкой, а не потиром и т. д., а ужаснейшее, возмутительное кощунство — в другом. В том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами гипнотизации и обмана, уверяют, что если нарезать известным способом кусочки хлеба, пошептав над ними, тогда в кусочки входит бог, а если кто съест эти кусочки, в того тоже войдет бог...»

«Обличать этих религиозных обмаищиков ие только можио, ио и должно».

Никогда еще не писал Толстой в таких сильных выражениях о церковиом обмаие, и даже зиамеиитая глава «Воскресеиия» (в которой Нехлюдов присутствует на богослужеиии в тюрьме) уступала ответу сииоду. А ведь тогда, вспомииал Федоров, читая два года назад эту главу, ои ие мог отделаться от чувства неловкости и даже боли и страдания. Слишком уж жестоким казалось ему толстовское описаиие церковиой службы. Но теперь, после отвратительной выходки «святейших и правительствующих», ои не мог ие встать иа стороиу великого писателя. И разве не ои сам, Федоров, восставал столько раз так яростио против всех видов колдовства, против магии и шаманства, которыми хотят подменить свободиое исследоваиие и о б щ е е д е л о человеческое иа Земле и в иебе?

34. РАЗГОВОР НА ВОЗДВИЖЕНКЕ

Шамаиство, облачеииое в шелковые рясы и украшеииое крестами духовиых академий, не только ие сдавалось, ио, кажется, потеряло в последиее время всякое чувство меры. Подвизавшийся, иапример, в Кроиштадте зиамеиитый свящеиник Иоаии Сергеев ие довольствовался уже одиими «чудесиыми исцелеииями» и «возложеииями рук». По миеиию злых языков, он возомнил себя едва ли ие преемииком самого Иисуса Христа! «Приехав в сельцо Плещеево, — сообщали газеты, — о. Иоани Кроиштадтский за трапезой пригубил свой стакаи чая». Затем «розлил этот чай по блюдечкам и раскрошил хлеб мелкими кусочками, роздав все иаходившимся в избе». К Иоаниу Кроиштадтскому «привели слепых и параличиых», он «проводил руками по глазам», говорил «восстаиь, девица» и т. д. Разумеется, тот же самый отец Иоаии в своих проповедях особенно яростио иападал иа Толстого. И тут же устроил в церкви сбор деиег по случаю еврейского погрома в Кишииеве. Погром был оргаиизоваи с помощью выпущеиных из тюрьмы уголовииков по прямому указаиию департамеита полиции из Петербурга. Погибли сотии иевиииых людей, и попутио при дележе добычи из разграбленых лавок подрались между собой

погромщики и переодетые в штатское полицейские. У некоторых оказались попорченными физиономии. В пользу вот этих «раненых» слуг закона и собирал деньги в церкви Иоанн Кронштадтский.

Уличная пресса усердно подхватывала эти похождения ловкого иерея — он стал своим человеком в семье царя! — и Федоров брезгливо, словно боясь запачкаться, отодвигал от себя газетный лист, где расписывалось очередное кронштадтское чудо.

Жизнь, однако, полна неожиданностей, и так случилось, что ему пришлось провести полтора часа в Архиве на Воздвиженке с одним из коллег пресловутого священника.

Финал этой встречи, впрочем, оказался еще неожиданней, чем сама встреча.

— К вам батюшка пришел, — таинственно прошептал, нагнувшись к федоровскому уху, архивный служитель.

— Какой батюшка? Что за вздор!

— Священник то есть, — пояснил служитель и, получив разрешение, ввел посетителя.

Гость отрекомендовался Булгаковским Дмитрием Григорьевичем.

— Уж не тот ли вы священник Булгаковский, который пишет против пьянства?

— Тот самый.

Посетитель оправил бронзовый наперсный крест на поношенной рясе, лицо его, обросшее седеющей бородой, было бледно и выглядело изнуренным и страдальческим.

Между тем, как отлично помнил Федоров, перед ним находился плодовитейший и отнюдь не лишенный земных благ автор почти полусотни книжек и брошюрок, трактующих, в частности, о вреде спиртных напитков и пользе трезвости. Смутно проносились в памяти заглавия этих бесчисленных изданий — карточки произведений отца Булгаковского занимали чуть ли не целый каталожный ящик: «Как перестать пить», «Вино пить, беде быть», «С хмелем спознаться — с честью расстаться» и тому подобное. Язык этих сочинений напоминал отчасти пресловутые ростопчинские афиши двенадцатого года. Действие же этой назидательной литературы, по мнению знатоков,

мало отражалось на оборотах казенных заведений с двуглавым орлом над входом и полуштофом на вывеске...

Кроме изданий на тему о зеленом змие были у того же автора и «духовно-нравственные» сочинения «для народа» о житии святых — «Казанская чудотворная икона», «Жизнь святого великомученика Дмитрия Солунского», «Могила рабы божией Ксении» и прочее. От всего этого несло за версту запахом лампадного масла и ладана, но брошюрки с чудесами расходились бойко. Их продавали в церквах вместе со свечами и оловянными крестиками. Особенный интерес у верующих вызывали, разумеется, «случаи» мгновенного выздоровления неизлечимых больных с помощью горсти земли с могилы блаженной Ксении или капель деревянного масла из лампады Казанской богородицы.

Всех этих перлов «духовно-нравственного» творчества Федоров, разумеется, помнить не мог, но кое-что все же задержалось в его памяти. Это были сочинения Булгаковского на заупокойную тему — «Из загробного мира», «Явления умерших от древности до наших дней», «Из области таинственного» и некоторые другие. Оказалось, что как раз на эту тему и желал теперь поговорить с библиотекарем отец Дмитрий Булгаковский.

— Надеюсь, вы не собираетесь пригласить ко мне парочку гостей с того света, — сказал Федоров, хмуро поглядывая на посетителя и стараясь угадать, что он такое — святоша-фанатик или же подосланный начальством соглядатай в рясе. — Ведь покойники в ваших книгах разгуливают так же непринужденно, как городовые на улицах! Помнится, один такой мертвый дядюшка в одном из ваших сочинений явился ночью к племяннику, чтобы сообщить ему, где лежит спрятанная ломбардная квитанция... Так я в ломбардах ничего не держу. Квитанций не имею!

Лицо Булгаковского болезненно искривилось. Он ответил, что пришел просить ответа на давно мучающие его вопросы. Он имеет в виду учение церкви о втором пришествии и воскресении мертвых. Этому учению он, священник, должен следовать и его исповедовать. «Но как совместить это учение с вашим, Николай Федорович, призывом к вечной плотской жизни и к воскрешению умерших безо всякого участия бога? Не ведет ли это к полному разрыву с православием, с христианством,

с церковью? Ведь главное, чему учит наша церковь, это искупление грехов сыном божиим, пришедшим, чтобы доставить людям жизнь вечную, но не на земле, а в царстве небесном. По-вашему же получается...»

— Откуда вы знаете, что получается по-моему? Я, кажется, ничего об этом не печатал.

— Да кто же не знает о ваших смелых мыслях! Вся ученая Москва — да и Питер тоже — только о них и говорят, только и спорят. Признáюсь, у меня сомнение...

— Какое у вас может быть сомнение... Вам сколько лет?

— Пятьдесят семь.

— Вот видите, вы человек пожилой и не один десяток лет печатаете свои книжечки и рассказываете в них небылицы, в которые и сами, конечно, не верите. Ремесло доходное...

Булгаковский страдальчески опустил голову, а Федоров продолжал:

— Что вы там проповедуете? «Смерть — это рассвет, следующий за ночью...» Смерть — рассвет. Каково! Или: «Разлука с дорогими умершими — залог свидания с ними в загробных, блаженных обителях...» Так, кажется? Или что-то похожее.

— У вас хорошая память.

Федоров встал, принялся ходить взад и вперед по комнате, бросая время от времени на посетителя острый, откровенно враждебный взгляд. Под этим взглядом священник еще ниже опускал голову, словно бы пряча ее от новых ударов.

— А эти ваши рассказики «Из загробного мира» с «явлениями умерших живым». Помнится, вы даете там даже ручательство, что сообщаете читателям не глупые побасенки, а «подлинные факты». Факты, да еще «заверенные свидетелями»! Дайте-ка вспомнить. Вот, пожалуйста. Умершая жена, явившись мужу ночью с восковой свечкой в руках, оставляет на столике следы накапанного воска. «Материальное доказательство существования загробного мира»! (Федоров засмеялся коротким, злым смехом.) Не скажете ли вы, откуда взяла эта мадам восковую свечку? Разве на том свете действуют свечные фабрики? Что там у вас еще? Королева английская, явившись с того света к своему мужу, завязала на память узелок на его кружевном воротничке... Или, мо-

жет быть, я путаю? (Булгаковский молчал.) Но самое замечательное и самое, простите меня, отвратительное во всей этой комедии — ц е л ь, которую вы поставили, собирая этот ворох милых историй. О, я хорошо ее запомнил! Посвятили вы свою книжечку «тем страждущим, которые, изнывая под бременем лишений и житейских невзгод, падают в борьбе за существование с криком отчаяния»... И «цель автора, пишете вы, будет достигнута, если ему удастся успокоить надеждою на лучшее будущее за гробом хоть одно человеческое сердце».

Лучшее будущее за гробом... По крайней мере откровенно сказано! Людям, которые страдают здесь, на этой Земле, людям, из которых выжимают пот и кровь, которых бессовестно спаивают (судя по вашим же книжечкам), им вы обещаете блаженство на том свете! А когда истощенная, высохшая, ограбленная земля не дает мужикам хлеба, когда малолетние их дети умирают голодной смертью, что́ вы им предлагаете? Крестный ход, да святую водичку, да молитву, которая ничем не отличается от дикарского бормотанья. Вспоминаю, как в семидесятых, кажется, годах читал я у одного английского ученого — Тиндаля, если не ошибаюсь, — предложение поставить опыты. Проверить, одним словом, действие молитвы. И поставили. И получился конфуз. Видно, господа бога мало интересует блаженная Ксения и что́ вы там, вместе с нею, просите! У вас ведь целая книга на эту тему написана. «То, что для наших сил невозможно, то молитва делает возможным». И примеры подобраны подходящие. «Иисус Навин молитвой остановил солнце». Пророк Иона, «из чрева кита воззвав к богу, был по молитве извержен на берег морской»... Умилительно, не правда ли? Жаль, что не добавили вы сюда еще одну историйку — вычитал я ее недавно в «Мире божьем». Знаете, конечно, этот журнальчик? Про коновалов, торгующих молитвами и «ерусалимским цветом». «Ерусалимский цвет» — это, изволите ли видеть, толченая кора ясеня, куда для запаха добавляют две-три капли мятного масла. Запах этот, оказывается, производит на наших мужичков действие прямо магнетическое! Так вот, ходят «ерусалимские» коновалы по деревиям — промысел этот распространен особенно в Симбирской губернии — и собирают дань. Велят хозяевам избы зажечь перед иконами свечу, стать на колени и молиться. А сам коновал

в это время читает вслух свое заклятье. Не помню точно, но что-то вроде: «Пала на небо туча грозная, туча черная, туча страшная! Упал из тучи камень с огнем-пламенем и в том камне ерусалимский цвет». Еще говорится о «лютой птице — нос у ней железный, когти булатные, ваши телеса станет клевати, терзати». В заключение выходит коновал на двор, отсылает нечистых духов «на запад и восток, север и юг» и вручает клиентам «ерусалимский цвет». А затем, получив мзду, удаляется... Чем хуже вашего Иисуса Навина и Ионы во чреве кита! Но есть, впрочем, и у вас, припоминаю, нечто еще более трогательное и поучительное. Бог, пишете вы, так охотно «откликнулся на горячую молитву» жены одного запойного пьяницы-мастерового, что тот не только перестал пить, но «вошел с хозяином мастерской в компанию». И у него, если память мне не изменяет, завелась «собственная мастерская с двадцатью рабочими». И бывший пьяница «разбогател и стал сам подавать милостыню». Вот он, ваш идеал христианской жизни! Да зачем, скажите пожалуйста, вашему молельщику мастерская с двадцатью рабочими? Не лучше ли ему сразу на тот свет в райские кущи? Как писал недавно один ваш архиерей, вологодский, кажется, или архангельский:

«Толкуют о каком-то земном счастье, о земных идеалах. Забывают, что в христианстве исходная точка — по ту сторону жизни. Христианский идеал исключает земное счастье»...

Что ж, архиерею виднее. Он ведь получает точные сведения с того света!

Булгаковский, напряженно слушавший, сделал усталое движение рукой, торопливо сказал:

— Да, да, преосвященный Хрисанф — это вы о нем вспомнили — выразился не так, как надо было бы... И все-таки, Николай Федорович! Я вот все думаю... Может, смерть — не конец? Может, есть т а м что-то? Вечный, блаженный покой, отдых для уставших, тихое созерцание мягкого, ровного света... Неважно и как назовем мы это, ну хоть раем...

— Блаженство! Покой! (Федоров выкрикнул эти слова с такой яростью, что священник невольно отшатнулся к спинке стула.) Подумали ли вы, милостивый государь, что такое этот ваш рай, этот ваш покой, если ясно их себе представить? Бытие — значит д е л о, значит труд, уси-

лие, напряжеиие... Освободившись от них, освобождаемся и от самой действительности. Так что рай этот ваш — пустота, нуль. Да, нуль, пустышка, дырка от бублика! Бессмертие в раю — сама смерть, продолженная до бесконечности. Бессмертие смерти! И нужно ли, спрашивается, гадать о рае, когда весь этот рай целиком уже содержится в могиле. Вечность, говорите вы? Да если б он и был даже, этот ваш вечный рай, никто не вынес бы там вечной, смертельной скуки!

Федоров умолк и погрузился в раздумье, словно забыв о присутствии священника. Тот прервал молчание:

— Значит, так и есть, как думал я, когда шел к вам. Все, во что верил, во что учил других верить — искуплеиие, Страшный суд, жизнь вечная, небесная, «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»... Все, решительно все — тлен и прах. Так, что ли? Тогда уж и в самом деле разрыв с церковью... Разрыв полный... Ответьте!

Это сказано было таким странным, иадтреснутым голосом, что Федоров внимательно посмотрел иа посетителя.

— Отвечаю. Ни с кем я ие разрывал и разрывать не собираюсь. Потому что ии с кем и ии с чем связан не был. Этого не иошу... (Он показал на рясу и бронзовый наперсный крест собеседиика.) А вечиую жизнь на небесах признаю́. Отчего же. Только в другом смысле. Жить там будут не ангелы с крылышками и не ду́хи бесплотные, а люди с плотью и кро́вью. Такие же, как мы с вами. Люди, которые полетят туда в снарядах, созданных рукой человеческой, безо всякой молитвы и без участия сверхъестественных сил...

Он еще раз посмотрел пристальио на священника. Тот сидел, низко опустив голову и уставившись неподвижно в одну точку. Не дождавшись ответа, Федоров продолжал:

— Вам же скажу на прощанье, что свои литературные способности следовало бы вам применить более полезным образом. Вспомииаю, что читал когда-то ваши этнографические заметки из Мииской, кажется, губернии. Сборник песен, пословиц, поверий, суеверий... Да, и суеверий. Неплохо было написано. И еще помню ваше «Руководство для начальных школ о русском правописании». Когда был учителем, сам пользовался им. Это уж во вся-

ком случае разумней, чем писать книжечки «для народа» о Симеоне-столпнике и о дьяволе в образе скорпиона. Кого бишь укусил за ногу в вашей книге этот скорпион? Ах да, святого великомученика Дмитрия Солунского!

Булгаковский не шелохнулся. Слышал ли он то, что говорил ему Федоров? Внезапно и как бы продолжая внутреннюю нить мыслей, он с выражением мучительной решимости тихо вымолвил:

— А бог... (Голос священника упал почти до шепота.) Верите ли вы в бога, Николай Федорович? Или, может, как Шатов, помните, у Достоевского, ответил Ставрогину: «Я... я буду верить». Может быть, и вы только «будете верить», а не верите?

— Сколько раз уж в моей жизни спрашивали меня об этом! И всякий раз я отвечал не колеблясь. И вам отвечу. Бог есть. Но где он? Не в природе и не над природой. И не сама природа — бог. Он — в нас, людях, и через нас, слышите, только через нас, будет и в природе. Понятно ли вам?

Булгаковский теперь не отрываясь смотрел на собеседника. Губы его беззвучно шептали что-то. С какой-то странной, жалостливой улыбкой он глянул прямо в глаза Федорова.

— Понятно ли? Я понятлив. И делаю еще один логический шаг, тот, который и вы, Николай Федорович, не откажетесь, конечно, вместе со мной сделать. Если верно, что через нас только бог появляется в природе, значит, сам человек становится богом... Да, богом всемогущим, и бессмертным, и звездами повелевающим, и в небесах престол свой воздвигающим!.. Страшно подумать об этом... (Он порывисто коснулся рукой наперсного креста.) Мне страшно, страшно от всех этих мыслей, Николай Федорович. И все, чему я служил, во что веровал...

Он снова дотронулся до наперсного креста и вдруг, оборвав себя на полуслове, как-то угловато и неловко, избегая взглядом собеседника, поклонился и торопливо вышел из комнаты. Федоров удивленно посмотрел ему вслед.

Пробегая в конце 1902 года газетную хронику, он обратил внимание на заметку, озаглавленную «Еще один...». В ней сообщалось, что «автор книг духовно-нравственного содержания о. Дмитрий Булгаковский

объявил о снятии им с себя сана». В синодальных кругах, говорилось дальше, «заявляют в этой связи, что не может быть и речи об отмене закона, воспрещающего лицам, снявшим с себя духовный сан, занимать должности в казенных учреждениях в течение десяти лет».

35. ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС

Вспоминая эту встречу и то, что случилось со священником Булгаковским, он размышлял о причинах, заставляющих людей верить в «тот свет» — в христианскую ангельскую обитель, в мусульманский рай с гуриями, в индуистскую нирвану... Да, конечно, безмерность страданий, испытываемых здесь, на этой Земле, побуждает обращаться с надеждой «туда», где «несть печали и воздыхания». Священник Булгаковский высказался на этот счет лишь откровеннее многих своих коллег. Но вот что замечательно. Как ни сильна эта призрачная надежда на загробный мир, еще сильнее страх перед жестокой неумолимостью смерти. Кто посмел бы отрицать естественность и законность этого страха! И разве не говорит инстинктивный ужас людей перед могильным холодом и тлением о том, что проклятый этот вопрос всегда будет стоять перед человечеством?

Вопрос о смерти и *победе* над смертью.

И пусть Толстой в своем ответе синоду пишет о том, что «спокойно и радостно приближается к концу». Пусть заставляет своего Ивана Ильича восклицать перед концом «какая радость!» и видеть «вместо смерти свет». Вряд ли он откровенен тут сам с собой. Разве в той же повести «Смерть Ивана Ильича» не изобразил он с истинно толстовской страшной силой ужас умирания, его чудовищность, его противоестественный, бесчеловечный смысл? И когда более искренен был Иван Ильич? Когда кричал с тоской «жить, жить хочу!» и сравнивал смерть с «черным мешком, в который просовывала его рукой палача невидимая, непреодолимая сила». Или когда умилялся тем, что умирает? Да, те, кто кокетничает с мыслью о могиле, кто заявляет о благостном ее ожидании, те лицемерят или усыпляют себя духовным наркотиком. Нет такого мыслящего человека, который не ненавидел бы смерть. Байрон неотступно думал о ней и проклял ее

в «Каине». Державин словно в каком-то оцепенении повторял:

> Глагол времен! Металла звон!
> Твой страшный глас меня смущает,
> Зовет меня, зовет твой стон,
> Зовет и к гробу приглашает...

А Пушкин?

> Кружусь ли я с толпой мятежной,
> Вкушаю ль сладостный покой,
> Но мысль о смерти неизбежной
> Всегда близка, всегда со мной...

И разве не вырвались из глубины его души и такие строки?

> ...Но не хочу, о други, умирать,
> Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!

И это писал тридцатилетний поэт, писал в том возрасте, когда как будто никто не думает о *ней*! А Тургенев? Запомнилось то, что рассказал об авторе «Отцов и детей» этот милый, мудрый Кони, с которым Федоров познакомился совсем недавно в Архиве, куда старый юрист приходил, чтобы посмотреть нужные ему документы международного права. «В его, тургеневских, словах, — вспоминал Кони, — постоянно чувствовался ужас перед неотвратимостью смерти, перед тем, что над ним все время кружит этот ястреб.., Смерть представлялась Тургеневу как что-то, от чего тошнит на сердце, и в глазах темнеет, и волосы встают дыбом... Она, смерть, заставляет человека метаться, как заяц на угонках, при виде ползущей, плывущей на него могилы, этой ужасной ямы, которой никак нельзя избежать». Федоров не сдержался, прервал тогда собеседника, сказал, что уничтожить, засыпать, заровнять навсегда ненавистную эту «яму» — священный долг человечества, долг науки, который она, несомненно, выполнит. А Кони в ответ только сожалительно улыбался и, поглаживая свою знаменитую бородку голландского шкипера, говорил: «Вы — мечтатель, Николай Федорович, вы — неисправимый фантазер. Но вы правы в одном — не любить *ее* надо, а ненавидеть!»

Да, все они — и Байрон, и Пушкин, и Тургенев, и Кони — были в этом вопросе в одном лагере с ним, Федоровым. Все они одинаково ненавидели смерть и отказыва-

лись приближаться к ией «спокойно и радостно». Но иаходились, оказывается, и такие ученейшие господа, которые продолжали красиоречиво доказывать, что могила — всего лишь промежуточная станция иа пути к прекрасному существоваиию в некоем лучшем мире!

36. «РЕБУС»

Эпидемия столоверчеиия и бесед с покойниками, памятиая Федорову по тем временам, когда ои был библиотекарем в Румянцовке, грозила теперь превратиться в иастоящее общественное бедствие. Бутлерова и Юма не было уже в живых, ио их преемиики превзошли своим размахом все известиое раиьше. Среди иовых охотииков за ду́хами были иыиче такие зиамеиитости, как астроиомы Фламмариои и Скиапарелли, физик Лодж, физиолог Рише, биолог Уоллес, психолог Джемс и еще миогие другие. Эти почтеииые академики и профессора ие довольствовались уже «духовными» сеансами в домашней обстаиовке. Речь шла теперь о том, чтобы поднять эти изыскаиия иа более солидный и официальиый, так сказать, уровеиь. Говорилось о некоей «иовой иауке», которая ничуть не хуже, чем какая-иибудь химия, физика, биология! Было придумано даже изваиие для этой «иауки» — м е т а п с и х о л о г и я (позже ее перекрестили в парапсихологию). Название было иовое, а содержаиие все то же — загробные голоса, гадание на кофейной гуще, чтеиие мыслей, поиски подземных кладов с помощью березовой раздвоеиной рогульки и так далее. Действуя по последиему слову техиики, ду́хи, витавшие иа телепатических и спиритических сеансах, позволяли теперь не только ощупывать себя, ио и подвергаться химическим анализам и даже фотографироваться на чувствительиую пластинку. Ду́хи выделяли из себя «духовную субстанцию» (так иазываемую эктоплазму) и вмешивались в работу только что изобретеииого беспроволочного телеграфа! Подоплека всех этих фокусов была та же самая, что и тридцать лет иазад. «Психическими» экспериментами промышляли обучеиные этому делу искусиики (в Париже была раскрыта полицией целая мастерская, изготовлявшая фотографии ду́хов!). А их ученая клиеитура «видела» и «слышала» то, что х о т е л а видеть и слышать. Не

было, как всегда, недостатка среди этой публики и в душевно расстроенных личностях, одержимых галлюцинациями, «голосами», «трансами» и тому подобными болезненными состояниями. Расплодившиеся как грибы «метапсихические» общества, лаборатории, институты, конгрессы владели теперь средствами, которые и не снились спиритам и телепатам семидесятых годов. Очевидно, кому-то было выгодно поддерживать это «движение», и особенно крупный денежный куш, как оказалось, пожертвовал нью-йоркскому «психическому» обществу не кто иной, как керосиновый король Рокфеллер. (Шутники острили, что у престарелого Рокфеллера вполне понятный интерес к изучению загробного мира — он надеется продолжать биржевые спекуляции и на том свете!) От своих западных коллег не отставали петербургские духоведы. На средства одного охочего мецената они основали журнал «Ребус». В анонсе, напечатанном в связи с выходом первого его номера, Федоров мог прочитать:

«Единственный в России литературный, общественный и популярно-научный (!) журнал по вопросам спиритизма, психизма и медиумизма. Обзоры и исследования фактов телепатии, ясновидения, раздвоения личности, древней и новой мистики. Загадочность человеческого существа и продолжение жизни после смерти. Тщательно проверенные (!) случаи явления призраков прижизненных и посмертных. Статьи по черной и белой магии, а также учению индусских йогов и факиров...»

Появление на свет этого «научного» органа застало Федорова еще на службе в Румянцовской библиотеке. Осторожно взяв только что поступивший номер «Ребуса» двумя пальцами и отнеся его на вытянутой руке на соответствующую полку, старый библиотекарь тут же тщательно обтер руки тряпочкой. Присутствовавший при этой сцене помощник (побежавший рассказывать о ней сослуживцам) не мог удержаться от громкого смеха...

Подогревать интерес публики к оккультным тайнам усердно помогали теперь газеты — те из них, которых презрительно называли «рептильными», то есть ползающими на коленях перед временщиком Победоносцевым (получая за это мзду из секретных сумм департамента полиции).

С такой же брезгливостью, с какой он держал в руках «Ребус» и листок с похождениями Иоанна Кронштадт-

ского, Федоров созерцал страницу «Нового времени», где расписывались «опыты» доктора медицины Жука. Участниками этих опытов была очередная «телепатическая пара» — отец и дочь Наум и Софья Штаркманы. Несовершеннолетняя девица Штаркман с завязанными глазами читала кончиками пальцев письма в запечатанных конвертах, рисовала изображения, передаваемые ей «телепатически» из другой комнаты, впадала в сон под влиянием «психических лучей» и показывала еще другие номера. «Мы увидели, — восторженно писал корреспондент «Нового времени», — нечто необычайное, необъяснимое, сверхъестественное!»

«Ну, что касается искусства дурачить публику, — заметил по этому поводу известный цирковой артист (как раз в эти дни он показывал фокусы на арене петербургского цирка Чинизелли), — что я могу сказать? Техника у папаши и дочки Штаркман вполне удовлетворительная, но никак не необычайная. А вот глупость тех, кто принимает все это за чистую монету, это уж действительно, как говорится, из ряда вон!»

Новым обстоятельством, озадачившим читателей газет, были поразительные открытия в физике. Телеграммы и статьи о загадочных икс-лучах Рентгена и о еще более таинственном радии были у всех на устах. Спириты и телепаты тотчас подхватили эти сообщения. «Атом разложен, — торжественно восклицал глава французских метапсихиков академик Рише, — и физика порвала со старыми догмами. Икс-лучи показали, что преграды и экраны, считавшиеся ранее непроницаемыми, перестали быть таковыми. И если физики сегодня просвечивают насквозь лучами Рентгена человеческое тело, то почему не признать, что существуют столь же невидимые психические лучи, позволяющие видеть то, что за стеной или даже за сто миль? . .»

— Нет, как вам нравится эта уловка спиритов и телепатов? Эта ссылка на радий и рентгеновские лучи? У физиков, мол, свои загадочные явления природы, а у нас, телепатов, тоже свои, — говорил Тимирязев, пощипывая донкихотовскую бородку и весело поглядывая на Федорова.

Они сидели в просторном рабочем кабинете ученого в Петровско-Разумовском, куда старый библиотекарь, расставшись с Румянцовкой, частенько захаживал теперь, уступая усиленным просьбам хозяина кабинета.

— Черт тоже любит ссылаться на священное писание, — пробурчал Федоров.

Тимирязев расхохотался.

— Да, конечно. Но я хотел бы заметить, что все эти попытки привязать мистику к естественным наукам и подкрепить ее болтовней о неразгаданных тайнах природы — все это было уже не раз и будет, конечно, повторяться... Вспомните восемнадцатый век и шарлатана Месмера с его «магнетическим флюидом». «Магнетизм», «флюид»... Звучит как нельзя более респектабельно и научно! И Месмер, помните, заставлял своих пациентов (главным образом придворных дам Людовика Шестнадцатого) держаться за его руку по направлению стрелки компаса. «Флюид», видите ли, истекал тогда с кончиков пальцев особенно бурно! И вся эта комедия продолжалась до тех пор, пока экспертиза Байи и его коллег не разоблачила шарлатана... Знаете, как это было?

— Знаю. Байи незаметно подсунул Месмеру компас с испорченной стрелкой. Она показывала не туда, куда нужно было Месмеру, а «чудесные исцеления» продолжались между тем как ни в чем не бывало!

— Вот-вот. Но, смотрите-ка, проходит после этого каких-нибудь сорок-пятьдесят лет, и появляется барон Рейхенбах (отличный, между прочим, химик, как и наш покойный Бутлеров), и на сцене снова «психический флюид». Только под новой вывеской. Теперь для него придумано название — о д. И чувствительные девицы, с которыми работает Рейхенбах, видят духовными очами сияние мифического «ода», даже когда его предполагаемый источник — стальной магнит — случайно забыли намагнитить! Но кто помнит сегодня о Рейхенбахе? А между тем проходит еще полвека, и, пожалуйста, опять «психические лучи», опять «флюиды», да еще в одном ряду с открытиями Рентгена и супругов Кюри! Мой друг Иван Иванович Боргман, петербургский физик, очень хорошо написал по этому поводу. Вот послушайте. (Тимирязев открыл заложенную цветной полоской страницу журнального оттиска и прочитал вслух.)

«Мистицизм сегодня, желая идти в ногу с временем,

принимает даже форму какой-то естественно-научной системы, изобретая всевозможные (несуществующие) психодинамические лучи и силы. . .»

— Какую убийственную сатиру мог бы написать на весь этот теперешний шабаш ведьм мудрый Свифт или хоть бы наш Щедрин! — сказал, отложив журнал, Тимирязев.

— Или Толстой, — промолвил после раздумья Федоров. — Вы знаете, со многими его взглядами я не согласен. И не раз сердил он меня. Но отдам справедливость Толстому — все смердящее шаманским трупным духом ненавидит он не меньше, чем вы и я.

— Погодите, спириты доберутся до Толстого, — откликнулся Тимирязев.

37. «К ЧЕМУ ВОСКРЕСАТЬ?»

И в самом деле, как раз в те беспокойные «толстовские» дни, когда у всех на устах было пресловутое отлучение, на одном из московских книжных развалов Федорову попалась на глаза тощая книжица с интригующим названием «К чему было воскресать?». Он подержал ее в руках, внимательно осмотрел по старой библиотекарской привычке титульный лист («С.-Петербург. Типография Демакова. Дозволено цензурою 13 марта 1900 г.»), заглянул внутрь. Сомнений не было. Речь шла о Толстом — о его последнем романе «Воскресение». И составителем книжицы значился А. Н. Аксаков — имя знакомое и в рекомендациях, как говорится, не нуждавшееся.

Действительный статский советник и богатейший заводчик Александр Николаевич Аксаков — о нем уже шла речь в главе о «ду́хах в России» — был свояком покойного Бутлерова (женатого на двоюродной аксаковской сестре). В Румянцовской библиотеке Федоров не раз видел и слышал этого упитанного господина с великолепно расчесанными бакенбардами и голосом записного оратора — предметом восхищения столичных дам (называвших его то «нашим Дизраэли», то «нашим Гладстоном»). Еще один известный деятель духоведческой науки — тоже покойный медиум Юм — был женат на сестре жены Бутлерова. Так что, иронизировала газета «Петербургский листок», «спиритизм в России — это не просто братство

«в духе», а, если хотите, и совершенно матримониальное[1] дело!» Литературным бардом и меценатом всей этой семейной компании и был господин Аксаков. Пользуясь своими денежными средствами, он разъезжал по заграницам, нанимал и содержал медиумов, печатал на свой счет спиритические книги и журналы, даже финансировал в Швеции музей, посвященный (умершему в XVIII веке в сумасшедшем доме) мистику Сведенборгу. Немецкий химик Бунзен называл Аксакова «богатым русским барином, помешавшимся на дýхах».

И вот теперь действительный статский советник Аксаков атаковал автора «Войны и мира».

Перелистывая не без любопытства аксаковский опус, Федоров смог быстро установить, чтó именно не понравилось действительному статскому советнику в «Воскресении» Толстого.

«Короче сказать, — негодующе восклицал автор брошюры, — граф Толстой не признает, чтобы личное сознание человека оставалось жить после смерти его плотского тела!» Какой же смысл тогда имеет просветление души у Нехлюдова и Катюши Масловой? Другое дело, писал Аксаков, если бы души Нехлюдова и Масловой продолжали существовать в загробном мире. И дальше действительный статский советник делился своими собственными «наблюдениями», почерпнутыми из сеансов верчения столов и бесед с дýхами. «Наше внутреннее существо, — подтвердили Аксакову дýхи, — не стесняется в своих проявлениях обычными законами пространства, времени и причинности». И после телесной смерти оно, это внутреннее существо, удалившись в нездешние края, ведет беседы с оставшимися в бренном мире...

В этом обычном спиритическом бреде не было ничего нового, и Федоров не истратил бы на него тридцати копеек, запрошенных продавцом за аксаковскую брошюру. Но было там и нечто другое, что заставило насторожиться. Оказалось, что к своему трактату о Нехлюдове и Катюше Масловой Аксаков присоединил в качестве приложения текст лекции профессора Введенского «О смысле жизни». И это придавало всей истории иной колорит.

---

[1] Matrimonium — женитьба (лат.).

Профессор философии и психологии Санктпетербургского уииверситета Александр Иваиович Введенский был широко известеи в иителлигентской среде. На его лекциях иа животрепещущие философские темы (иапример «Свобода воли перед судом критики», «О вере и зиании», «О смысле жизии») не хватало мест в аудитории, и публике приходилось стоять в проходах. Профессор был красноречив, слыл либералом и иа баикете в иочь под иовый, 1901 год, разгорячившись, даже провозгласил тост, встречеиный иеодобрительио рептильной прессой. Профессор пил шампаиское «за двадцатое, иесущее перемеиы столетие», «за победу света иад мраком» и прочее в этом роде.

Федоров, давно следивший за словесиыми фиоритурами столичиого демосфеиа, имел о иих вполие определеиное мнеиие.

Уже в магистерской своей диссертации об «Опыте построеиия теории материи» Введенский, как простецки выразился о ием один молодой посетитель Румяицовской библиотеки, «отколол штуку почище отца Иоаниа Кроиштадтского». «То, что мы называем материей, — писал автор диссертации, — иа самом деле всего лишь иаши ощущеиия, которые мы роковым (!) образом прииимаем за иезависимо существующие от нас тела́». На самом же деле никаких таких тел нет. Есть только ощущеиия. А что скрывается за иими, «остается иавсегда (и опять-таки «роковым образом») скрытым от человеческого разума».

Прочитав это, Федоров вскипел. («Помиите, как тогда с Толстым», — перешептывались между собой посетители каталожной.) Перед иим снова разглагольствовал пошлейший позитивизм в сочетании с кантовскими «вещами в себе» и маховскими «комплексами ощущений». Сам профессор предпочитал, впрочем, отмежеваться от «грубого позитивизма» и скромио иазывал себя представителем «критической философии». Но все это были цветочки. Ягодки оставались впереди.

Прошло после диссертации восемь лет, и петербургский философ пустился по позитивистской дорожке еще дальше — так далеко, что озадачил даже своих коллег по факультету.

В столичиом журнале «Севериый вестиик» появилась в 1896 году статья за подписью профессора Введеиского «Атомизм и эиергетизм (по поводу речи В. Оствальда

«Несостоятельность научного материализма»)». Статью спрашивали в Румянцовке довольно часто, причем некоторые наивные читатели, пробежав еще только оглавление взятого ими номера «Вестника», обращались к библиотекарю с недоумением: «Неужто Введенский защищает материализм? Как же пропустила цензура?» Федоров, нахмурившись и пробурчав невнятное, оставлял удивленного читателя без ответа и удалялся из комнаты. «Ну как, насладились?» — весело бросил ему заглянувший в каталожную Тимирязев, увидев в руках библиотекаря пресловутый номер. «Насладился», — мрачно ответил тот.

Речь немецкого химика Вильгельма Оствальда, на которую откликался теперь петербургский профессор, произвела и в самом деле немалый шум. Пикантность этой речи состояла в том, что знаменитый химик, привыкший всю жизнь иметь дело с химическими формулами, где атомы изображаются особыми значками, объявлял теперь во всеуслышание, что и атомы, и вещества, из которых они состоят, — фикция, удобный способ записи химических реакций и больше ничего! Позволительно, конечно, было задать вопрос: ну а что, если за «фиктивной» формулой, изображаемой с помощью столь же «фиктивных» атомов, скрывается, скажем, бочка с порохом? Взорвавшись, такая *фикция* наделала бы уйму бед! На это у Оствальда был наготове ответ. Реально существует не материя и не атомы, а энергия. «Когда вас ударяют палкой, — популярно пояснял Оствальд, — вы чувствуете не палку и не атомы, из которых она якобы состоит, а энергию движения палки!» Торжественно провозглашалось, стало быть, «новое», *энергетическое* мировоззрение, а прежний материализм, которым пользовались на практике естествоиспытатели, сдавался в архив. Софизм в этих оствальдовских хитросплетениях был ясен, и Тимирязев остроумно заметил (а Федоров состроил в ответ только мрачную гримасу), что «энергия палки без самой палки, — это все равно что поцелуй жены без самой жены!» Чтобы была налицо энергия движения, — продолжал уже в серьезном тоне Тимирязев, — необходимо присутствие того, *что* движется. Или еще иначе: сказуемое «движется» не имеет смысла без подлежащего — материального объекта, совершающего движение. Тот же самый

софизм («сила без материи» и «дух без тела»), помнится, отстаивал в своих спиритических изысканиях академик Бутлеров...

Курьезно было и то, что речь Оствальда, отрицавшая реальность атомов, печаталась как раз в том самом 1896 году, когда французский физик Беккерель открыл радиоактивность урана, обязанную распаду урановых атомов...

И вот оказывалось теперь, что профессор Введенский был тоже недоволен философией Оствальда, но, как говорится, совсем с другой стороны.

За нежелание признавать объективную реальность материи и атомов петербургский философ похвалил Оствальда. Но что касается утверждения о реальности энергии, поставил ему двойку.

«Заменяя энергией материю, — писал Введенский, — воззрение Оствальда не менее метафизично, чем обычное понимание тел как материи. Энергия — понятие столь же нереальное, как и материя...» Недодумал, стало быть, немецкий химик. И профессор Введенский его поправил. Поставил его на правильную философскую колею — то, что реально, то непознаваемо, а то, что мы измеряем в наших лабораториях — будь это энергия или материя, — одинаково суть ощущения, фикция, призрак...

38. СМЫСЛ ЖИЗНИ

Извлекши из памяти все эти сведения, Федоров с некоторым все же недоумением воззрился на приложенное к аксаковской книжице сочинение Введенского. К чему бы оно? Неужели профессор философии столичного университета пал так низко, что взял себе в товарищи полоумного спирита с его лубочными рассуждениями о загробной жизни?

Он перечитал еще раз полный титул приложения: «Условие допустимости веры в смысл жизни. Публичная лекция, прочитанная проф. А. И. Введенским 7-го апреля 1896 года в С.-Петербургских высших женских курсах». И вспомнил, что как раз на днях держал в руках довольно пухлый сборник публичных лекций («Философские очерки») профессора Введенского. Изданные в 1901 году, они включали и «Веру в смысл жизни». Он углубился

в этот сборник. И к ужасу своему (и вместе с тем с удовлетворением) убедился, что презираемый им позитивизм, доведенный до крайнего предела, опять и опять приводил к чудовищной нелепости загробной жизни...

Но чем пристальнее вглядывался Федоров в эти бумажные цветы профессорского красноречия, тем меньше начинали они интересовать его сами по себе. Он думал о студенческой молодежи, для которой предназначались эти «цветы». Он думал о курсистках-бестужевках и о юношах из университета, об их молодых и горячих сердцах, к которым обращался с холодных высот своей кафедры высокоученый ментор. Что внушал он этим юношам и девушкам, готовым отдать свою жизнь борьбе за народное счастье, за будущее своей страны и всего человечества? Какое отношение к цели и смыслу жизни проповедовал он им от имени своей науки?

«Молодежь, — поучал лектор, — часто готова полагать смысл жизни в служении прогрессу... Но служить прогрессу возможно только при наличии абсолютно бесспорной и нравственно оправданной цели. Можно ли найти здесь, на Земле, такую цель? Ведь то, чем заканчивается наше земное существование, это неизбежная смерть... Вот и выходит, что целью и назначением человека, решившего служить прогрессу, является смерть, гниение...»

Напомнив попутно, что «величайшие поэты, начиная с царя Соломона, всегда высказывали убеждение в неосуществимости, суетности земного счастья», оратор призывал отбросить мысль о борьбе за лучшее будущее на этой злополучной планете. Какую же другую *цель жизни* предлагал своим молодым слушателям ученый лектор?

«...Цель, осмысливающая земное существованье, может лежать только вне этого существованья, вне мира явлений, в котором ничто не имеет связи с подлинной действительностью и в котором само человеческое сознание — только краткий всплеск ощущений, исчезающих, словно круги на воде...»

Вне мира явлений — это значило в царстве ду́хов? Именно так.

«Если мы хотим верить в смысл жизни, мы логически обязаны верить и в продолжение нашего существованья после телесной смерти...»

Как раз это же самое проповедовал спирит Аксаков. Рыбак рыбака видит издалека! Походило это, как две капли воды, и на рассуждения «о смысле жизни» священника Булгаковского. Но тот хоть догадался вовремя снять с себя рясу. После всего этого Федоров не мог уже удивляться тому, что Аксаков с Введенским оказались под общим переплетом одной и той же гробокопательской книжицы.

— Мои студенты, которым доводилось слушать лекции Введенского в Петербурге, — сказал при встрече, смеясь, Тимирязев, — говорили мне, что испытывали на этих лекциях такое ощущение, словно перед ними кувыркается акробат, ловко перебрасывающий и подхватывающий на лету фразы...

— Я предпочел бы другое сравнение — с теми артистами, которые печатают фальшивые бумажки, — сухо откликнулся Федоров.

Он читал дальше:

«Вы скажете, что в бессмертие души можно только верить, а не знать в точности, что оно действительно существует. На это я отвечу так. Что такое вера? Это — уверенность, исключающая состояние сомнения. И есть такой вид уверенности, которая не совпадает со знанием, так что мы можем охарактеризовать веру как состояние, исключающее сомнение иначе, чем это делается при знании...»

Дойдя до этого места «Философских очерков», Федоров остановился и лицо его исказилось страданием. Он подумал снова о том, какой яд вливается в умы молодого поколения теми, кому предоставлена возможность безнаказанно и на казенный счет плести свои «логические» сети. Должна ли быть дана этим господам свобода отравлять народное сознание и дальше — в том будущем обществе, которое создастся братским трудом людей на Земле? Он вспомнил, что очень давно обсуждал однажды вопрос о свободе с двумя студентами в уездном городке, где служил учителем. Нет, в свободе, которая разрешала бы профессорам Введенским проделывать свои акробатические упражнения, — в *такой* свободе человечество не нуждается...

39. ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Среди прочитанного им в самое последнее время — шла весна 1903 года — было несколько номеров петербургского журнала «Научное обозрение». Он давно симпатизировал этому журналу за обширные и всегда серьезные сведения о новинках по части естественных и точных наук. Вдруг его словно обожгло, и он едва не выронил из рук раскрытую книжку журнала. Название статьи, напечатанной (он почему-то запомнил это) на 45-й странице, гласило: «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Не обратив, как всегда, внимания на имя автора, он стал лихорадочно читать статью, сперва бегло, потом все с большим и большим интересом. Невероятно и неслыханно! Это было первое серьезное, да, первое действительно научное исследование, указывающее на способ передвижения человека в космосе. Было, правда, еще раньше — он не переставал мучительно вспоминать о нем — изыскание, оставленное покойным Кибальчичем, но бог ведает, что именно там содержалось. И вряд ли, отвлекаемый другими делами, мог продвинуться первомартовец особенно далеко вперед. Теперь же все было как на ладони. Боже мой, неужели он, Федоров, дожил до этого открытия, которое должно будет решить судьбу человечества и всей вселенной? Он достаточно знал математику, чтобы понять смысл и значение выкладок, которые содержались в статье. Все точно, все правильно. Неопровержимо математически доказана возможность достижения Луны, Венеры, Марса, может быть даже ближних звезд и еще более далеких просторов вселенной. Но кто же автор этой гениальной, этой поистине всемирно-исторической публикации? Автором значился К. Циолковский, и Федоров стал вспоминать, что где-то и когда-то он слышал эту фамилию... Позвольте, позвольте, да ведь это тот самый молоденький глуховатый Костя, которого он наставлял лет тридцать назад сперва в Чертковской, а потом в Румянцовской библиотеке! Да, теперь он, Федоров, мог спокойно умереть, сказав «ныне отпущаеши». Семя, брошенное им в душу безвестного, бесприютного юноши, дало ростки. Сбылось то, о чем мечталось и что непременно должно было свершиться. «На русской земле прозвучит приглашение умов к подвигу, к открытию пути в мировое пространство...» —

так, кажется, записал он — это было давно — на каком-то бумажном клочке. (Или, может быть, Петерсон внес эти слова в свою стенограмму?) Не все ли равно. Ведь это теперь не имеет уже никакого значения. Теперь, когда есть вот это... (Он с любопытством, словно бы в первый раз взял в руки книжку журнала, стал изучать ее титульный лист, сведения о редакции.) И он должен как можно скорее разыскать этого юношу (ставшего уже пятидесятилетним отцом семейства, конечно!), снестись с ним... Это будет нетрудно сделать через редакцию журнала. Непременно.

В доме, занимаемом библиотекой Архива на Воздвиженке, имелась комната, ключи и сургучную печать от которой ему вручили под особую расписку. То же самое — он помнил — было и в Румянцовке. Заглядывать в эту комнату кроме начальства разрешалось только ему. Там хранилась русская революционная литература заграничного и отечественного подпольного издания. Из-за границы эта литература в секретном порядке доставлялась российскими дипломатическими представителями, после чего ее складывали в особый фонд.

Запершись там, Федоров с любопытством перелистывал пожелтевшие комплекты «Колокола», напомнившие ему далекие дни молодости. С каким волнением вчитывался он тогда в эти тайно попадавшие к нему листы! «Vivos voco!» — «зову живых!» — напечатано было сверху на первой странице бессмертного герценовского творения. Почти полвека минуло с той поры, и, как заметил Федоров, на новых печатных изданиях, попавших в эту комнату, значились уже совсем иные призывы... Его внимание привлекли выпуски «Библиотеки современного социализма», на обложке которых можно было прочитать: «Женева. Типография группы «Освобождение труда». Первой в этой серии за 1883 год была брошюра Г. Плеханова с эпиграфом на титульном листе: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая!» И его же был третий выпуск — «Наши разногласия». Федоров стал припоминать и вспомнил, что именно студент Плеханов в семьдесят шестом, кажется, году развернул красный флаг у Казанского собора. Теперь этот флаг был изображен на обложке издания под названием «Социаль—

Д е м о к р а т» с надписью на полотнище флага: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» С любопытством заглянул он и в другой заграничный сборник, где рядом с портретом Энгельса публиковалось извещение от «Союза русских социаль-демократов». Год издания помечен 1896-й, и адрес типографии — все тот же: Женева, рю Каруж, 116.

Еще больший интерес вызвали начавшие выходить в Мюнхене номера «Искры», где кроме новой для него подписи «Н. Ленин» он отметил знакомое ему имя Веры Засулич. Героическая девушка, та самая, судебный процесс над которой потряс двадцать лет назад Россию, как видно, выросла за эти годы в крупную политическую фигуру. Судя по содержанию «Искры» и «Проэкту программы русской социаль-демократии», сторонники этих взглядов решительно отвергали индивидуальный террор как метод классовой политической борьбы. Теперь в «Проэкте программы» он прочитал:

«Русские социаль-демократы, подобно социаль-демократам других стран, стремятся к полному освобождению труда от гнета капитала.

Такое освобождение может быть достигнуто путем перехода в общественную собственность всех средств и предметов производства, — перехода, который повлечет за собой:

а) устранение современного товарного производства, т. е. купли и продажи продуктов на рынке. . .»

Он не стал читать дальше и задумался.

«Освобождение труда от гнета капитала»? .. Разве не к такому освобождению призывал он сам столько раз, размышляя о братском общем деле и о регуляции враждебного человеку космоса? Разве не проклинал он бессчетно «торговую заразу» и «барышничество», мешающие людям сплотиться в единую братскую семью? А лютая вражда его к деньгам, к этому проклятью, к этому растлевающему душу и тело злу, — разве ненавидеть деньги — не то же самое, что ненавидеть куплю-продажу товаров, сбываемых торгашами на прóклятом богом рынке?!

Так почему же, если это так, — почему он писал на своих клочках бумаги или диктовал Петерсону мысли, направленные п р о т и в социализма? Да, он высказывал такие взгляды, он отвергал социалистическое учение, мо-

жет быть, совершенно так, как «отвергал прозу» мольеровский герой, не зная, что сам говорит прозой! Что страшило его, Федорова, в социализме? Не то ли, что современные социалисты возлагают главные свои надежды на фабрично-заводскую промышленность и на рабочий класс как на решающую силу перестройки общества? Не боялся ли он, что наука, находящаяся сейчас в услужении у капитала, попадет «в услужение к рабочим» и от этого ее положение не улучшится? Он считал — и это шло наперекор учению социалистов, — что «никакими общественными перестройками судьбу человечества улучшить нельзя». Что сначала надо подвергнуть регуляции природу, покончить с засухой, овладеть энергией электричества, начать борьбу со смертью, и уже потом приложится все остальное... И он был против, конечно, всяких революций, тогда как в «Проэкте программы» (он снова взял в руки этот доставленный каким-то русским чиновником из Женевы «Проэкт») сказано совсем обратное:

«...Коммунистическая революция вызовет самые коренные изменения во всем складе общественных и международных отношений...»

Но развивается ли ход истории так, как это нравится ему, Федорову? И разве не слышны уже сегодня шаги этой революции, которую он отвергал, потому что она не отвечала его воззрениям? Разве не было баррикад у Обуховского завода в Петербурге, о которых он читал недавно в газетах? И этих кровавых февральских дней девятьсот первого в Москве, совпавших с отлучением Толстого и выстрелом Карповича? Он долго помнил это дикое избиение студенческой молодежи, учиненное Треповым-младшим. Но самое поразительное было то, что ровно через год все повторилось сызнова в Москве и в Питере в еще больших (и уже не оставлявших сомнений, куда это все ведет) размерах.

40. ГОСПОДА ОБМАНОВЫ

О событиях 3 марта 1902 года в Петербурге рассказал Федорову скромный — в чине титулярного советника — канцелярский работник Архива, побывавший в тот день в столице. Весь Невский от Аничкова до Полицей-

ского моста был запружен толпой, состоявшей почти исключительно из рабочих. Студентов и вообще интеллигенции почти не было видно. Пели «Марсельезу», и у Казанского собора толпа дала отпор полиции («знаете, там, где в семьдесят шестом собрались едва сто человек и подняли один-единственный красный флаг, теперь были тысячи, и не счесть флагов!»). Избили пристава, пытавшегося схватить оратора. «Восклицал же этот оратор во всю мочь — слышно было чуть не до угла Садовой! — как бы вы думали что? «Долой царя, долой самодержавие!» Ни больше и ни меньше. Увы, престиж власти упал низко, ниже уж, кажется, быть не может...» (Говоря это, титулярный советник качал головой, и трудно было определить, сокрушался он или радовался.) Да, кстати, читал ли Николай Федорович «Господ Обмановых»?

Он читал, разумеется. И то, что было напечатано под этим названием в газете «Россия», показалось ему отнюдь не смешным, а скорее страшным. Никогда еще царская корона (а он долго считал Александра Третьего символом мирной политики и могущества России) не валялась в грязи так явно и так публично перед каждым, кто купил этот газетный номер в уличном киоске. В фельетоне описывалась история «одной помещичьей семьи», обитавшей в сельце Большие Головотяпы. Прадед нынешнего хозяина Никандр Парфимович, говорилось в фельетоне, был «бравым майором в отставке, с громовым голосом, со страшными усищами и глазами навыкате, с зубодробительным кулаком». Сын его Алексей Никандрович, «явившись в Большие Головотяпы как раз в эпоху эмансипации, имел грустные голубые глаза, говорил мужикам «вы» и развивал уездных девиц... Умер двоеженцем и не под судом только потому, что умер». Сын Алексея и внук Никандра Алексей Алексеевич, женатый на Марине Филипповне, «сына своего Никанора, или в просторечии Нику-Милушу, держал в строгости... Читать ему приходилось урывками. В результате у молодого дворянина в голове получилась каша, и он часто путался»... И самое нелепое и скандальное в этой истории с Обмановыми-Романовыми было, конечно, то, что «Ника-Милуша» (Николай Второй), и «Марина Филипповна» (Мария Федоровна), и все прочие из августей-

шего семейства, вместо того чтобы сделать вид, что это их совершенно не касается, поступили так, как персонаж из пушкинской эпиграммы:

> В получеиии оплеухи
> Расписался мой дурак!

Газета «Россия» была немедленно закрыта, издатель ее сослан, а автор фельетона — известный публицист Амфитеатров — спасся от ареста бегством в Финляндию и затем за границу...

— Читали вы Максима Горького? — внезапно и без видимой связи с предыдущим спросил Федорова титулярный советник. — Молодой писатель, говорят — из нижегородских мастеровых, самородок и большой талант...

— Не читал, — сухо ответил Федоров и пояснил, что, дожив почти до семидесяти пяти лет, он заботится сейчас больше всего о том, чтобы сохранить в стариковской памяти прочитанное прежде, и куда уж там читать что-то новое.

— Я спросил к тому, что Горького тоже собрались посадить в тюрьму, как и Амфитеатрова. За политику. И вот что интересно. Горький был избран недавно вместе с Чеховым и Короленко в почетные члены Академии, а теперь его оттуда исключили...

— Что значит исключили? Разве Академия наук — гимназия, откуда можно исключить нашалившего приготовишку!

— А вот так. Не угодно ли послушать, что пишут сегодня. (Канцелярист показал газету, щелкнул по ней пальцем, прочитал.) «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию отделения русского языка и разряда изящной словесности императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним — Максим Горький), привлеченного к дознанию в порядке 1035 статьи устава уголовного судопроизводства, объявляются недействительными»... Ловко! Вот вам и императорская академия. Ну, разумеется, Короленко и Чехов сразу же отказались от своих званий. Из солидарности.

— Этот Горький — социалист?

— Да, социалист. Искровец.

И, продолжая разговор, титулярный советник повторил, что авторитет власти пал низко, так низко, что

дальше уж, как говорится, ехать некуда. И рассказал, как вечером того же дня, 3 марта, в Петербурге он следовал на извозчике по безлюдному и словно бы вымершему Каменноостровскому проспекту («обыватели попрятались в своих квартирах, боясь бог знает чего»). Прикинувшись незнающим, стал расспрашивать возницу, что такое случилось сегодня на Невском. «Известно что, — ответил тот. — Фабричные бунтуют, вот что».

— Как так бунтуют, чего ж они хотят?

— Правов хотят. Потому, значит, и бунтуют. Теперь скоро все бунтовать будут, всем надо правов. А то, вишь ты, эти самые немцы никому покоя не дают...

— Какие немцы?

— Известно какие. Царские министры...»

«Vox populi — vox Dei»,[1] — смеясь, закончил свой рассказ канцелярист и добавил, что в сознании простого народа нынешнее положение преломляется, как видите, довольно своеобразно. Но главное, конечно, в том, что народ требует теперь уже не только улучшения своего материального быта, а и «правов». А это, знаете, пахнет уже Бастилией, четырнадцатым июля...

— Не восемнадцатым ли, вернее сказать, марта? Семьдесят первого года, — бросил отрывистую реплику Федоров. — Не хотите ли посмотреть тогдашние донесения о Коммуне наших послов в Европе канцлеру Горчакову? Много поучительного. Оригиналы донесений хранятся в министерстве в Питере, а у нас копии. Могу принести. Да, пожалуй, не стоит. Еще заразитесь парижским духом!

И, оставив в замешательстве своего собеседника, сунул с решительным видом руки в рукава кацавейки и вышел из комнаты.

41. КОНЕЦ ПУТИ

Он стал читать еще внимательнее «Искру», на страницах которой — он чувствовал это (о, у него на этот счет верный библиотекарский нюх!) — витает какой-то могучий, великий ум, сочетающий в себе трезвость мысли, и ее полет, и несокрушимую волю, и веру в правду,

[1] Глас народа — глас божий (лат.).

в торжество своего дела... Тронуло за сердце «Обращение к народным учителям», напечатанное в «Искре» незадолго до всероссийского учительского съезда. Разве не был он сам народным учителем, отдавшим годы своей молодости мальчуганам в берестяных лапотках и посконных рубахах, так хорошо изображенным на полотне Богданова-Бельского? «Мы уверены, — писала «Искра», — что в вас, народных учителях, найдем друзей и единомышленников... Цели, за которые борются русские социал-демократы, не могут быть чужды вам. Вы — такие же пролетарии, как и те рабочие и крестьяне, сыновей которых вы учите. И можете ли вы не сочувствовать передаче земли и всех орудий производства в руки всего общества?..» (Да, конечно, общий труд, общее для всех дело.) «Можете ли вы не бороться вместе с нами за такой общественный строй, в котором только и возможно главенство духовного начала над материальным и полное развитие нравственной стороны человеческой личности?..»

Дойдя до этого места, он бросил привычный взгляд на свою ветхую кацавейку и, усмехнувшись, подумал, что в смысле «главенства духовного начала над материальным» им достигнут, пожалуй, самый высокий уровень. И что в этом отношении он давно социал-демократ, не хуже других приверженцев учения Карла Маркса!

В «Обращении» говорилось дальше, что уездными и сельскими учителями помыкают ныне урядники, становые, попы-доносчики — «сброд, который подвергает вас всяческим унижениям и оскорблениям». И что когда трудовые массы возьмут в свои руки власть, «они сумеют обставить ваше существование и с материальной, и с нравственной стороны...».

Он долго сидел в задумчивости, держа в руках этот лист с «Обращением», и бережно разгладил его, прежде чем положить назад в секретный шкаф.

Учительский съезд, собравшийся в декабре девятьсот второго в столице, дал новую пищу для размышлений. Там были бурные сцены — протест против чиновников из ведомства «народного затемнения» и синода, желавших загнать начальное образование под ферулу черных ряс из церковно-приходских школ. И это вынудило одного из делегатов воскликнуть: «Только тупые головы могут бояться образованного учителя!» Долгие аплодис-

меиты зала и кривые усмешки чиновников, восседавших в президиуме, поставили заключительиую точку к речи этого оратора. Прозвучали иа съезде и такие слова: «Наша задача — ие ограиичиваться буквой «ять» и таблицей умножения. Народиый учитель должен быть иосителем передовых общественных взглядов, художииком, воспитывающим детей по образу и подобию своему!»

Это было тоже напечатано в «Искре», и все это надо было взвесить, и сообразить, и выясиить, нет ли какого-то противоречия между тем, что проникло в его душу теперь, и прежиими его размышлеииями и записями? Нет ли противоречия, которое ои еще не совсем ясно понимает, но *должен* поиять и разрешить?

Ои ие успел это сделать, как не успел и разыскать Циолковского, встретиться с иим, передать ему благодариость и стариковское свое благословеиие.

В суровую декабрьскую стужу девятьсот третьего года в своем куцем дырявом пальтишке ои простудился, слег. Его положили в московскую Марииискую больиицу. Нашарив в карманах забытые там семь рублей («остались, проклятые!»), он роздал их больничным сиделкам и уборщицам. Воспалеиие легких усиливалось с каждым часом, он с трудом мог дышать и говорить. Душил кашель, не хватало воздуха, он терял сознаиие, ио продолжал — это видели все, кто был у его изголовья, — бороться с умираиием. Ои боролся с *нею*. Со смертью. Безуспешио. Те, кто пришел к его больиичиой койке, видели, как из бессильно закрытых его глаз текли редкие чистые слезы...

В шесть часов утра 15 декабря 1903 года умер Федоров.

ФЕДОРОВ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смерть Федорова породила поток воспомиианий о нем. Много любопытных бытовых черточек его жизни выясиилось из рассказов тех, кто его знал и с ним встречался. О его вкладе в киигоиедческое дело поведали

библиотекари. И, может быть, более всего относятся к Федорову слова, обращенные русским художником и мыслителем Николаем Рерихом ко всей великой армии хранителей книги. «Библиотекарь, — писал Рерих, — первый вестник Красоты и Знания. Ведь это он открывает врата и из мертвых полок добывает сокровенное слово для ищущего духа. Никакие каталоги, никакие описания не заменят библиотекаря! Любящее слово и опытная рука производят чудо... Зорок библиотекарь, как истинный хранитель знаний. Он знает, как провести ладью искателя через волны безбрежного печатного океана...» (Н. К. Рерих. «Зажигайте сердца!», с. 194). Рерих писал это в тридцатых годах, а после Великой Отечественной войны русская традиция беззаветной любви к книге нашла свое самое высокое выражение в Постановлении Центрального Комитета партии о повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся. Это Постановление было опубликовано 26 мая 1974 года. И в те же годы было создано у нас Всесоюзное добровольное общество любителей книги, и один из его зачинателей, Ираклий Андроников, напомнил еще раз о принятом в нашей стране понимании долга библиотекаря перед читателем. «Чтением, — писал 7 мая 1975 года в «Правде» Андроников, — важно руководить. Тот, кто читает первое попавшееся, — не книголюб. Книголюбие — это интерес к книге постоянный, глубокий, пылкий, направленный, ведущий от одной книги к другой...»

Интерес постоянный, глубокий, пылкий... Это кажется написанным с мыслью о Федорове, и наш замечательный литературовед и другие советские энтузиасты печатного слова гордятся тем, что продолжают федоровскую традицию служения книге.

Лев Толстой незадолго до своей смерти в письме к Петерсону вспоминал о «незабвенном, замечательнейшем человеке Николае Федоровиче».

Брюсов, приступив в 1904 году к редактированию журнала «Весы», сразу же (в февральском номере) опубликовал полученный им от Петерсона отрывок из федоровских рукописей. Брюсов дал ему заглавие: «Архитектура и астрономия». В нем говорилось о грядущем

пересоздании вселенной разумом человека. «Архитектура начинается вместе с человеком на Земле и продолжается на небе» — так звучал основной мотив этого отрывка.

Это была первая публикация мыслей Федорова с полным обозначением имени их автора.

Между тем два общественных деятеля, взявшие на себя разбор и систематизацию федоровского архива — Н. П. Петерсон и В. А. Кожевников, — работали неустанно. Им пришлось, как писал Кожевников, иметь дело с «хаотическим состоянием очень объемистых и трудно разбираемых рукописей». Работа шла успешно, и уже в 1906 году вышел из печати первый том «Философии общего дела — статей, мыслей и писем Николая Федоровича Федорова». Издание своеобразное во многих отношениях! Во-первых, отпечатана была книга очень далеко от культурных центров тогдашней России — в городе Верном (теперь — Алма-Ата). Почему в Верном? Причина та, что в этом городе служил тогда (в окружном суде) Н. П. Петерсон, взявший в свои руки организацию дела и наблюдение за печатанием. Следуя федоровским заветам, на титульном листе было обозначено: «Не для продажи». Книгу рассылали бесплатно библиотекам и всем желающим. В 1913 году — уже в Москве — выпущен был второй том.

Читающая Россия и весь мир могли ознакомиться теперь по первоисточнику с идеями Федорова.

Первое впечатление было ошеломляющим, но, к сожалению, могло привести (так и случилось) к поверхностному представлению о «философии общего дела» как об учении религиозно-мистическом. Безусловно, как я уже говорил, в федоровских текстах нет недостатка в богословской фразеологии («троица», «святой дух», «сын божий» и т. д.). К тому же официальные, так сказать, ученики и душеприказчики Федорова — я имею в виду В. А. Кожевникова и других — постарались в своих статьях и книгах о мыслителе подчеркнуть и выпятить на первый план именно эту фразеологию. Отсюда такие характеристики, как, например, в примечании Н. С. Ашукина к «Дневникам Брюсова» (1927): «Федоров Н. Ф. — философ-мистик». Или редакторский комментарий к

Полному собраиию сочииеиий Л. Н. Толстого: «Федоров — своеобразиый философ-идеалист». Или аннотация, даваемая в «Философской эициклопедии»: «Федоров Н. Ф. — русский религиозиый мыслитель»...

И как бы в pendant к этим характеристикам, исходящим от иекоторых скоропалительиых комментаторов, читаем в белоэмигрантском органе, издающемся иа русском языке иа деньги иностраииых ведомств холодиой войны в Нью-Йорке:

«...В Советском Союзе о Федорове ие пишут и писать не будут».

Ошиблись, господа! Об этом самобытиом мыслителепатриоте мы пишем и писать будем.

О философской стороне учеиия Федорова будет сказаио дальше. А пока замечу, что при первом же прикосиовеиии скальпеля объективиого анализа вся словеснобогословская окаитовка «Философии общего дела» слетает прочь, как шелуха.

Сами богословы и философы-идеалисты отличио поияли это.

Как писал, иапример, известный дореволюциоиный публицист А. Паикратов, «Федоров *совершенно уничтожает существо православия, зачеркивает весь его мистицизм* — молитвы, таииства, божествеииую благодать и т. д.». «Сердцем, — продолжает Панкратов, — Федоров мог чувствовать себя православиым, ио все его теоретические построеиия подрывают *самый фундамент* православия и *религии в целом*»...

Любопытеи также разбор федоровских идей в таком сведущем в божествениых материях учреждении, как Московская духовиая академия. Она посвятила философу три иомера своего журиала «Богословский вестник» за 1914 год. И если в первых двух номерах отцы-академики пытались доказать, что Федоров — «иаш», то, иачав за здравие, им пришлось коичить за упокой. «Для Федорова, — подводил итог «Богословский вестиик», — духа, как особого иачала, иет... Отрииув духовиый мир, ои этим самым оставил мир без бога». «Отрицание эиергий (!) бога», говорится дальше, привело автора философии общего дела «к обожествлению человеческого труда» и покрыло это философию «холодиым туманом»...

Белоэмиграитские философствующие отщепеицы —

Бердяев,[1] Флоровский, С. Булгаков, Зеньковский и другие — со своей стороны подчеркнули полную противоположность федоровских взглядов и религии. «Его (Федорова) мировоззрение, — писал в 1935 году в эсеровских «Современных записках» Г. Флоровский, — не было религиозным вовсе... Христианская фразеология здесь (у Федорова. — *В. Л.*) вовсе не нужна. Она даже мешает». В самую точку бьет и такое замечание Флоровского: «Из системы Федорова *легко вычесть бога* (который пишется, разумеется, в белоэмигрантских журналах с большой буквы. — *В. Л.*), и в ней *ничего не изменилось бы..* Это даже не пантеизм, а просто атеизм...»

Тут мы входим в самую сердцевину философской концепции Федорова. Действительно, если Вольтер говорил некогда, что пантеизм, то есть отождествление бога с природой, это лишь «вежливая форма атеизма», то у Федорова мы имеем скорее всего «невежливую», то есть прямую, открытую форму атеизма. Природа в его, Федорова, представлении *полностью* лишена той изначальной целесообразности, которая является необходимым звеном *всякой* теологии. Теология, как любил говорить Энгельс, неотделима от телеологии. Телеология, то есть внесение в природу (до появления в ней человека) заранее поставленных целей, — это, отмечали классики марксизма, одна из *главных* демаркационных линий, отделяющих материализм от идеализма и религии. Применив этот критерий, мы сразу же поймем, например, непримиримую противоположность между «Философией общего дела» и такой модной сейчас на Западе системой, как «Феномен человека» Тейара де Шардена. Тейар де Шарден (умерший в 1955 году), напомню, не только философ, но и крупный французский ученый-палеонтолог и вместе с тем монах-иезуит. Сочетание не столь уж удивительное. Орден иезуитов, как известно, настойчиво проникает в ряды научно-технической интеллигенции на Западе, чтобы идеологически на нее влиять. Тейар в «Феномене человека» предсказывает, как и Федоров, полное преобразование космоса человеком. Но цель этого преобразования, и план, и самый его ход, согласно Тейару, исходят от бога. На долю человека остается без-

[1] Умер в Париже в 1948 году.

ропотное следование воле божества. Человек в этой системе — марионетка, которую дергает за нитку «Высший Разум»! И это, конечно, как небо от земли отстоит от федоровского гордого преклонения перед всемогуществом человеческого гения — законодателя и целеполагателя природы. Природа, по Федорову, как мы видели, слепа, бесцельна, хаотична, и тут он заходит даже слишком далеко, потому что закономерность и упорядоченность многих природных процессов (даже и при отсутствии человеческого вмешательства) может возникать самопроизвольно, как результат внутреннего саморазвития материи. Единственный распорядитель и архитектор природы, согласно Федорову, повторяю, — Человек. И эта мысль вызывает особенное раздражение у реакционных философов, которые видят в ней чуть ли не кощунственное оскорбление господа бога! «Религия Федорова, — писал, например, «отец» Сергей Булгаков (надевший на себя в эмиграции священническую рясу!), — это оскорбительное богоборчество», это «религия не бога, а человека». Религия, «из которой бог изгнан» и заменен человеком, «могущим все», даже воскрешать мертвецов и сдвигать с места планеты! «От такой религии, — вторит Булгакову упомянутый выше Флоровский, — пахнет тургеневским Базаровым, утверждавшим, что „природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник“». Федоров-де «создает учение о человеке-титане, человеке-демиурге, способном управлять вселенной». И это, замечает Флоровский, «должно импонировать советской идеологии»...

Совершенно верно, советские люди с симпатией относятся к грандиозному порыву федоровской стихийно-материалистической и гуманитарной мысли. Но не отказываются при этом, конечно, от критики ее непоследовательных, слабых и наивных мест.

Воинствующий антикоммунист и антисоветчик, он же «вождь» белоэмигрантских любомудров Н. Бердяев пошел, между прочим, так далеко, что предъявил Федорову целый обвинительный акт, состоящий из следующих пунктов.

«Федоров — враг всякой мистики... Он верит в возможность рационально регулировать и управлять жизнью мира безо всякого иррационального остатка.

Слово «мистический» он всегда употребляет в отрицательном смысле...»

Бедный Федоров! Он не успел посоветоваться с господином Бердяевым, который, в отличие от него, усматривает в космосе «бездну, где таится иррациональность»!

Еще провинился наш мыслитель перед Бердяевым в том, что у него, у Федорова, «нельзя усмотреть веру в бессмертие души», что «он не понимает иррациональной тайны индивидуального», что федоровская «вера в могущество труда заслонила от него искупляющую силу божественной благодати»... Ему, видите ли, чужда также «евангельская беззаботность птиц небесных и полевых лилий (!)».

И, наконец, главная (с точки зрения чистого, как полевая лилия, философского черносотенца Бердяева) «вина» Федорова:

«Познание для него не созерцание, а действие... Он презирает теоретическую метафизику и считает позитивизм и солипсизм [1] преступлением...»

И в этих своих суждениях, подводит итог Бердяев, «*Федоров странным образом (!!) сближается со взглядами Маркса и Энгельса*... Хотя он (Федоров) иногда бранит марксизм, но с марксизмом у него есть общие черты...»

Очень хорошо. Послушать, что говорит враг, иногда бывает столь же полезно, как и принять во внимание мнение друга.

Теперь мы можем обратиться к оценке общественной позиции и научных предвидений московского мыслителя.

Резкая антикапиталистическая направленность «Философии общего дела» ясна, но столь же очевиден и народнический утопизм Федорова, и недооценка им исторической роли рабочего класса и крупной промышленности. Тут сказалось, конечно, идейное воспитание Федорова, учившегося у Герцена и революционных демократов шестидесятых годов. Высказывания Федорова против «городского» социализма следует расценивать в

---

[1] Солипсизм — субъективно-идеалистический выверт, гласящий, что существую только «я» и что внешнего мира не существует.

этой связи как народническую ставку на деревенскую трудовую общину — заблуждение, которому отдало дань немало демократически мыслящих русских умов во второй половине XIX века.

Не усвоив и не поняв исторического материализма Маркса (вряд ли даже зная сколько-нибудь основательно о нем), Федоров в то же время в своей философии природы стихийно проявил многие черты материалистической диалектики.

Да, он подошел к ней близко.

Часто повторяющаяся у Федорова мысль о том, что «мир дан нам не на поглядение, а на действие», перекликается со знаменитым Марксовым тезисом: «Философы до сих пор по-разному объясняли мир, а дело состоит теперь в том, чтобы его изменить». И Энгельс, говоривший о социалистической революции как о «прыжке человечества из царства необходимости в царство свободы», мог бы быть удовлетворен словами из книги Федорова:

«Долг (человечества)... — обращение мира несвободного, где все определяется физической необходимостью... в мир сознательный и свободный, который теперь мы можем представить себе лишь мысленно, должны же осуществить его действительно...» («Философия общего дела», т. I, стр. 96).

Можно было бы добавить еще, что непримиримая враждебность Федорова по отношению к позитивистской философии «чистого опыта» (последним ее изданием на рубеже XIX и XX веков был, как известно, махизм) идет целиком в русле ленинской идейной борьбы против Маха и его философских последышей.

Эта враждебная буржуазной идеологии сторона федоровского мировоззрения была особо отмечена в вышедшем в 1971 году в Москве четвертом томе капитальной «Истории философии в СССР». Там говорится: «Резко отрицательное отношение вызывали у него (Федорова) кантианство и неокантианство... Объектами его критики были также ницшеанский аморализм и пацифизм...» Для Федорова, читаем дальше, были характерны «искреннее стремление к установлению справедливых общественных отношений... единство знания и действия, теории и практики».

Советская философская наука, как видим, положи-

тельно оценила стихийно-материалистические и гуманистические раздумья старого московского библиотекаря. И, конечно, с полным признанием и сочувствием отнеслись советские философы к его учению о «регуляции» космоса. Учению, о котором в четвертом томе «Истории философии СССР» справедливо сказано, что оно «составляет ядро» федоровского творчества.

Говоря о регуляции, нельзя не вспомнить и другое величественное натурфилософское построение. Я говорю о грандиозной концепции ноосферы. Концепции, развитой уже в нашу, советскую эпоху великим русским натуралистом Владимиром Ивановичем Вернадским.

От «регуляции» Федорова — один исторический шаг до учения о ноосфере Вернадского!

Ноосфера (от греческого слова «ноос» — разум), по определению автора этого термина, — «земная оболочка, регулируемая разумом».[1] «Ноосфера — новое геологическое явление на нашей планете. В ней человек становится крупнейшей геологической силой, и лик планеты изменяется человеком сознательно»... Строительство ноосферы, не устает подчеркивать Вернадский, требует коллективного и разумно организованного труда людей в масштабе всей планеты. «Она (ноосфера), — пишет он, — требует вселенскости, спаянности всех человеческих обществ в интересах свободного человечества, как единого целого...»

Эти мысли великого русского ученого, разработанные им подробно в капитальных трудах 1922—1944 годов, как видим, близки к идеям московского библиотекаря. Они настолько близки, эти идеи, что даже такие чисто «федоровские» понятия и термины, как регуляция, общий труд, общее дело, находят почти точный эквивалент в учении о ноосфере.

Подобно Федорову, Вернадский предвидит победное распространение сферы Разума в глубь и в ширь космоса. «Мы видим, — отмечает он, — стремление человечества вырваться из нашей планеты, проникнуть конкретно на построенных им аппаратах за пределы Земли...»

Это было написано в 30-х годах, за четверть века до

[1] Цитирую здесь и дальше по книге И. И. Мочалова «В. И. Вернадский. Человек и мыслитель». М., 1970.

полета Гагарина. И здесь Вернадский шел по стопам не только Федорова, но и Циолковского, которому книголюб из Румянцовской библиотеки помог вырасти в самостоятельного мыслителя и ученого.

Да, эти три русских имени — Федоров, Циолковский, Вернадский, — бесспорно, вошли в историю мировой культуры как нерасторжимое творческое целое. Они вошли как провозвестники и пророки эры космоса, начавшейся во второй половине нашего века.

Прозорливость идей московского библиотекаря в этой области (идей, высказанных, не забудем, еще в эпоху керосинового освещения и конного транспорта!) не могла быть по достоинству оценена современниками. Только сегодня, в последней четверти XX века, начинают распространяться в науке мысли, приближающиеся к предвидениям «загáдочного старика». Если взять, например, такую нашумевшую у нас и за рубежом книгу, как «Вселенная, жизнь, разум» нашего известного астрофизика И. С. Шкловского, то можно смело сказать, что эта книга — целиком «федоровская» по духу и содержанию. В ней И. С. Шкловский ставит такие вопросы, как возможность воздействия человека на солнечное излучение или как искусственные взрывы звезд для добычи «открытым способом» их химических ресурсов! Другой выдающийся астроном, Ф. Дайсон в Соединенных Штатах, исследует проект создания «искусственного свода» или «сферы» вокруг звезд для уловления их лучистой энергии. Все это, повторяю, чисто «федоровские» варианты регуляции космоса [1] с той существенной оговоркой, что они встали на повестку науки через с т о лет п о с л е Федорова.

Это же самое можно сказать и об идее воздействия на погоду (в частности борьбы с градом, засухой и другими атмосферными бедствиями) с помощью артиллерии. Идея эта, мы помним, сильно волновала нашего мыслителя в последние годы его жизни. И то, что робко намечалось в науке 90-х годов прошлого столетия, приобрело огромный размах на исходе XX века. Вот что

---

[1] К сожалеиию, И. С. Шкловский ии разу ие упомииает о Федорове. Факт, наводящий иа грустиые размышлеиия, если учесть, повторяю, что киига московского астрофизика посвящеиа как раз той теме, которая была цеитральной для «Философии общего дела»,

читаем у однофамильца нашего философа, академика Е. К. Федорова (в журнале «Коммунист», 1975, № 13).

«Организованная в СССР служба для борьбы с градом в настоящее время защищает около 4 миллионов гектаров посевов... Ее действие напоминает противовоздушную оборону... Зенитные снаряды и ракеты с взрывчаткой содержат вещества, стимулирующие кристаллизацию переохлажденных капель...»

Академик Федоров подчеркивает далее мысль, особенно драгоценную для его однофамильца и предшественника, — мысль об использовании военной техники в мирном, созидательном направлении. Единственное, чего не предвидел тут московский библиотекарь, это чудовищных планов, вынашиваемых империализмом (о чем тоже пишет академик Федоров). Планов ведения «метеорологической войны», то есть воздействия на атмосферу в губительных, человекоубийственных целях!

Интересна судьба и проекта промышленного использования атмосферного электричества. Он был впервые выдвинут, как мы видели, В. Н. Каразиным и поднят Федоровым на уровень центральной задачи регуляции природы.

В 28-й главе этой повести говорилось о том, что вскоре после смерти московского мыслителя электрический способ получения азота из воздуха стал важной отраслью химизации сельского хозяйства. Действительно, уже в 1905 году норвежские инженеры Биркеланд и Эйде, а в 1908-м немецкий химик Габер довели выработку азотной кислоты и ее производных электрическим разрядом в воздухе до технических кондиций. В послеоктябрьскую пору наш советский агрофизик Н. А. Зубарев разработал еще более смелую из каразинских (и федоровских) идей — проект извлечения из атмосферы не только азота, но и самой электрической энергии. Зубареву принадлежит мысль о конструкции, которую он назвал «молниеприводом». Принципиальная ее схема — резиновый (в другом варианте — металлизированный) шар, поднятый на тончайшей сверхпрочной проволоке в зону грозового разряда. Близость этой схемы к каразинской и федоровской — очевидна. Одна из глав интересной книги советского научного писателя М. Васильева («Векторы будущего», М., 1974) так и озаглавлена: «Удобрение молниями». Федоровские мысли об атмо-

сферном электричестве изложены здесь в их современном варианте и в общем контексте научно-технической революции нашего времени.

Не менее замечательным надо признать полет мысли Федорова в таком его проекте, как «обуздание огромнейших вулканических сил», «предупреждение землетрясений» и т. д. Еще совсем недавно сама мысль о власти человека над титаническими силами, клокочущими в недрах планеты, отводилась как лежащая за пределом технических возможностей науки. Такое мнение приходилось читать в книгах и статьях, вышедших уже после второй мировой войны. Сегодня положение изменилось. Важные открытия советской науки (они были доложены на международных встречах сейсмологов в 1971 и 1974 годах) показали, что землетрясения предсказывать можно. Найден ряд методов, в том числе — Федоров оказался прав! — метод электрический, позволяющий прогнозировать сейсмические события с большой точностью. Так, из тридцати крупных землетрясений, происшедших на территории СССР с 1970 по 1974 год, двадцать пять произошли в точно предсказанное время. Наметились и технические возможности предотвращения землетрясений. Работы в этом направлении предположено вести, например, в сейсмичных районах Калифорнии. Так что нельзя уже сомневаться, что и этот предел регуляции, о которой мечтал Федоров, будет снят героическими усилиями науки...

Выход в космос советских искусственных спутников и кораблей с людьми на борту вызвал на Западе новую волну интереса к автору «Философии общего дела».

Как курьез можно отметить публикацию в парижском журнале «Эспри» (1961, № 9). Ее автор Бенжамен Горэли обыгрывает тот факт, что отец Н. Ф. Федорова «принадлежал к древнему русскому роду Гагариных». То есть носил ту же фамилию, что и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Этому мало что значащему, случайному совпадению автор статьи в «Эспри» придает «символический» смысл. И снабжает свой опус соответствующим заглавием — «Гагарины: от утописта к космонавту»!

Столь же несерьезно выглядят и разделы, посвященные Федорову, в американской монографии С. Ютечина

«Русская политическая мысль». Автор этого сочинения тщится доказать, что вся гигантская программа социалистической переделки и покорения природы, проводимая в Советском Союзе, вдохновляется... федоровской идеей «общего дела». Ни больше и ни меньше!

Можно было бы посмеяться над этой «гипотезой», если бы здесь не просвечивало довольно ясное намерение принизить и затушевать научную марксистско-ленинскую основу строительства коммунизма в нашей стране. Подлинный вклад московского мыслителя в умственную сокровищницу нашего народа, разумеется, нисколько не ответствен за подобные фальсификации. Слишком уж явно торчит тут шило антисоветизма и антикоммунизма из идеологического мешка с клеймом «Made in USA»!

И, в заключение, о самой причудливой из федоровских идей — о пресловутом «воскрешении предков» и достижении физического бессмертия.

Что лейтмотив этой идеи — яростное неприятие Федоровым неизбежности смерти и требование победы над нею, мы уже знаем. Позиция, может быть, нереалистичная, но дышащая оптимизмом и жизнеутверждающим пафосом. Вспомним, что на протяжении тысячелетий религиозная мифология возвеличивала и восхваляла смерть как переход из мира страданий в «другую жизнь» с ее предполагаемым вечным блаженством (для кротких и нищих духом во всяком случае!). Питаемое этой мифологией художественное творчество, со своей стороны, стремилось украсить смерть и примирить человека с нею. Замечательно тонко это было подмечено Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Сохранилась магнитофонная запись [1] его речи 21 июня 1969 года в Московской консерватории на генеральной репетиции перед первым исполнением 14-й симфонии. Он сказал:

«...Вероятно, заинтересуются, почему я так много внимания уделил в моей симфонии этому *жестокому и ужасному явлению — смерти.* Я пытаюсь полемизировать с теми из великих классиков музыки, которые за-

[1] Запись сделана К. П. Кондрашиным и расшифрована Г. М. Шнеерсоном.

трагивали тему смерти, трактуя ее так, как это делается в религиозных учениях. Эти учения внушают мысль, что на том свете все будет прекрасно, полное успокоение... Вспомним музыку Верди в «Отелло», вспомним «Аиду», где трагическая гибель героев сопровождается светлой, умиротворенной музыкой... Я же в моей пьесе стремлюсь идти по стопам великого русского композитора Мусоргского. Его цикл «Песни и пляски смерти» (в особенности его «Полководец») — это *протест против смерти*... Да, конечно, ученые еще не скоро додумаются до бессмертия. Смерть ждет нас всех, но *ничего хорошего я в ней не вижу*. И стараюсь передать это мое убеждение в произведении, которое вы сейчас услышите...»

Мужественные, звучащие совсем по-федоровски слова! И как не вспомнить, что великий композитор был в те дни 1969 года уже тяжко болен и немного лет оставалось до жестокого конца...

Рассматривая в этом контексте федоровскую идею «воскрешения», видим, что в ней отразилась ненависть к смерти, доведенная до поистине гиперболических размеров. Разумеется, «воскрешение» — фантазия утопическая. Но одно можно сказать, что во всяком случае это — утопия не реакционная! Было замечено, между прочим, что с идеей восстановления живого организма «собиранием рассеявшихся атомов» в какой-то мере перекликается известная мысль основателя кибернетики Норберта Винера. (Винер говорил о принципиальной возможности «реконструировать» организм, если сохранена вся сумма информации, записанной в молекулах ДНК.)

В этой же связи уместно сослаться на получившую широкую популярность в нашей стране и во всем мире книгу английского научного писателя Артура Кларка («Черты будущего», М., 1966).

«Допустим, — пишет Кларк, — что когда-нибудь люди обретут способность наблюдать прошлое столь детально, что смогут регистрировать движение каждого атома, который когда-либо существовал... На основе такой информации они смогут воссоздавать людей, животных, отдельные ситуации и ландшафты прошлого. Иными словами, хотя вы в действительности умерли в XX веке, ваше «я»... может внезапно оказаться в отдаленном будущем и зажить новой жизнью...»

Цитата, звучащая, как видим, опять совсем по-федоровски! И как бы ни относиться к утопизму самой идеи о воссоздании умерших организмов, поражает здесь другое. Поражает снова и снова перекличка через столетие между размышлениями скромного книголюба, обитавшего в тихих, кривых переулках старой Москвы, и вполне деловым анализом перспектив научно-технической революции, вышедшим из-под пера нашего современника — английского инженера (Кларк — инженер-электронщик).

Из анализа Винера и Кларка (и Федорова), во всяком случае, следует, что столь невероятно звучащая идея «воскрешения» *принципиально* не противоречит законам природы. И она может быть осмыслена в рамках материалистического естествознания.

С еще большим правом это можно сказать о мечте Федорова о неограниченном продлении человеческой жизни — о фаустовской идее вечной молодости.

Среди великих провозвестников научной идеи иммортализма (физического бессмертия человека) был, как мы видели, наш Герцен. В разговоре с Петерсоном, приведенном на 22-й странице этой книги, Федоров цитирует шестое письмо из герценовских «Концов и начал», печатавшихся в 1862 году в «Колоколе». Сегодня мы располагаем более полным наброском на эту тему из герценовского архива. Там читаем:

«Что в самом деле проще и доступнее, как понятие старости и смерти. А в самом деле оно вряд ли так легко понятно, как кажется. Необходимость старости и смерти — совсем не ясно следует из понятия живого организма, именно потому, что старость и смерть — его пределы и скорее лежат в внешних условиях и внутренних отклонениях организма, в его односторонних развитиях и в окружающей среде, чем в его общем смысле...» (А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, стр. 274).

У Кларка та же проблема обсуждается во вполне оптимистических тонах, и в своей хронологической таблице «научных прогнозов на XXI век» он помещает «бессмертие» в графе «2090 год»!

И хотя молекулярные биологи и биохимики высказывают подчас весьма серьезные принципиальные сомнения по поводу возможности беспредельного сохране-

ния молодости, задача сохранения ее надолго — сегодня на повестке науки.

Эта сторона федоровского учения произвела в свое время наибольшую сенсацию. Церковниками, как уже говорилось, федоровская идея о бессмертии и воскрешении была воспринята как невыносимое кощунство (ведь этой идеей зачеркивалась догма о Страшном суде и светопреставлении). Мысли Федорова о борьбе со смертью привлекали внимание А. М. Горького. В его архиве[1] сохранились такие высказывания:

«Идея бессмертия плоти — явно научного происхождения... Будучи материалистом, я могу мыслить о борьбе со смертью только как о деле практическом, требующем экспериментального исследования». В письме к М. М. Пришвину из Сорренто 17 октября 1926 года Алексей Максимович писал: «...А вот был у нас весьма оригинальный мыслитель Н. Ф. Федоров... Интереснейший старик. Мне у него особенно ценна и близка проповедь «активного» отношения к жизни...»

Идеи и личность Федорова проходят через переписку великого писателя с О. Д. Форш.

Ольга Дмитриевна писала Горькому 20 сентября 1926 года в Италию из Москвы:

«...Впрочем, об этом в двух словах не скажешь, как и о Федорове, о котором удивительно, что вы помянули. Как раз читаю его том II... Есть вещи неприемлемые, но зато есть нечто поражающее, как жизнь... Если вам интересно — напишу подробнее об этих вещах...»

Горький отвечал:

«Обрадован письмом вашим, Ольга Дмитриевна, и буду очень благодарен, если Вы найдете свободный час, чтобы поделиться со мною мыслями вашими о Федорове... Мыслитель он оригинальнейший».

Идея физического бессмертия не переставала волновать и Александра Блока (хотя затруднительно сказать, читал ли он по первоисточнику труд Федорова). Алексей Максимович Горький в своих «Литературных портретах» вспоминает о разговоре с Блоком весной 1919 года. Собеседники сидели на скамье в Летнем саду в Петрограде.

«Блок спросил:

---

[1] См. «Литературное наследство», т. 70. М., 1963.

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо...»

И дальше завязался философский диалог между Горьким и Блоком, диалог, представляющий очень большой историко-культурный интерес. Читатели найдут его на страницах 325—339 «Литературных портретов» (издание 1959 года).

Но творческое наследие автора «Философии общего дела» интересовало Горького не только в связи с идеей бессмертия.

Известное уже нам упоминание о Федорове как о «замечательном мыслителе» содержится в знаменитой горьковской статье «Еще о механических гражданах». Она была напечатана в «Правде» 27 ноября 1928 года. Тема этой статьи — беспощадный протест против хищнического, потребительского отношения к природе и обществу, — отношения, характерного как для «отечественного» мещанства, так и для эксплуататорских классов так называемого «свободного мира».

«Говорят, — писал Горький, — что в Европе железа осталось на шестьдесят лет, угля — на семьдесят пять и что европейская промышленность очень встревожена этим... Это распыление драгоценного металла и сжигание топлива кучкой капиталистов-анархистов — в сущности одно из самых отвратительных преступлений против трудового народа... Благодаря войнам Земля наша становится все более нищей. Рабоче-крестьянская власть Союза Советов ставит перед собой цель: переработать возможно большее количество физической силы рабочих и крестьян в разумную интеллектуальную силу и влиянием этой силы ускорить процесс подчинения всех энергий природы интересам трудовой массы».

Подчинение энергий природы «разумной интеллектуальной силе рабочих и крестьян» было мечтой и Федорова. И это роднило автора «Философии общего дела» с великим пролетарским писателем, который сам был воплощением этой разумной интеллектуальной силы.

Тема «Горький и Федоров», таким образом, — тема, заслуживающая пристального внимания историков литературы и философов.

То же можно сказать об отношениях Федорова и Брюсова.

Федоровская мечта о регуляции космоса и, в частности, образ Человека — кормщика, управляющего движением планеты Земля, проходят через все творчество поэта. В 1912 году он написал свои знаменитые строки:

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен человек!

. . . .

Верю, дерзкий! Ты поставишь
По Земле ряды ветрил,
Ты своей рукой направишь
Бег планеты меж светил...

И через много лет — в году 1924-м — все та же неотступная мечта:

...Мы жаждем гнуть орбитные кривые,
Земле дав новый поворот!

О федоровской идее бессмертия Валерий Яковлевич Брюсов помнил и поэтически размышлял о ней до конца своей жизни. В последней его книге «Меа» есть стихотворение «Как листья в осень». В нем поэт возражает Гомеру, написавшему в «Илиаде»:

Листьям в дубравах подобны мы все, сыны человеков...

Брюсов отвечает на это:

Как листья в осень, праздный прах которых
Лишь перегной для свежих всходов? Нет!
Царем над жизнью нам селить просторы
Иных миров, иных планет!..

Тут же поэт делает примечание: «Вопрос о возможности *научным путем* бороться со смертью составлял предмет изысканий Федорова».

С уходом Брюсова духовные связи молодой советской литературы с «загадочным стариком» не были прерваны.

Интерес к нему со стороны наших писателей не угасал все последние десятилетия. Пристальное внимание к творчеству Федорова проявляли Виктор Шкловский, Даниил Гранин, Геннадий Гор. Образ Федорова встречается и на страницах вышедшей в 1973 году в Москве

интересной книги Евг. Богата «Вечный человек. Диалоги. Портреты. Размышления». Из этой же книги мы узнаем о необыкновенном сплетении федоровских идей с творчеством советского художника Василия Чекрыгина. Чекрыгин умер в 1922 году в Москве. Умер рано, едва достигнув двадцати пяти лет. Уже после Великой Отечественной войны устраивались выставки его работ в московских музеях, и содержание этой живописи всегда вызывало общее изумление. «Воскресение» — так был назван главный цикл чекрыгинских работ, и тема этого цикла — покорение вселенной физически бессмертными и воскрешенными из праха людьми! Не забудем, что полотна и рисунки, о которых идет речь, создавались почти за полвека до начала эры космоса и еще до того, как Циолковский выступил с новым, решающим рядом своих исследований. Мы узнаем дальше, что Чекрыгин внимательно читал и изучал федоровскую «Философию общего дела» и вдохновлялся ее идеями. Всматриваясь в один из последних его эскизов — «Переселение людей в космос», — можем по праву назвать этого живописца первым художником новой эры. Можем считать его пионером и предшественником тех наших мастеров кисти и резца, которые работают сегодня над космической темой. Сам Федоров не раз повторял на страницах своей «Философии», что наука и искусство будут действовать рука об руку в строительстве одухотворенной людьми вселенной. Наш отважный космонавт-художник Алексей Леонов — живое воплощение этого федоровского пророчества...

* * *

Многие десятилетия, прошедшие после смерти «загадочного старика», все еще не прорисовали до конца его оригинальный и мятущийся образ.

При всех своих противоречиях — гениальных взлетах и трагических заблуждениях, — он принадлежит истории прогрессивной демократической культуры русского народа.

История не забудет Федорова.

✻

ЦИОЛКОВСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

1. ДОБРЫЙ ДРУГ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Мимо вагонного окна бежали носильщики.

— Николаевский вокзал, — провозгласил Павел Павлович Каннинг. — Приехали. И смотрите, Константин Эдуардович, сколько солнца. И тепло. Вот вам и промозглый Питер!

Носильщик с жестяной бляхой на коломянковом переднике, уже принявшийся за узлы и чемоданы, заметил, что такой ранней весны — сегодня шестое апреля, первый день пасхи — давно уже не видывали. Нева совсем чистая, но ладожский лед еще не шел...

Рысцой проследовал мимо вагона, озабоченно придерживая рукой шашку, жандармский офицер и с ним

двое подручных. — Э, да тут полиции полно, — сказал Каннинг. Городовые и жандармы и в самом деле маячили во всех углах вокзала. Прохаживались, якобы фланируя по перрону, штатские личности, шаркая галошами по совершенно сухому настилу. Носильщик, затягивая ремни, скороговоркой пояснил, что в столице опять неспокойно — фабричные бастовали всю страстную, а позавчера собралось народу до тыщи на Михайловской площади, что у самого Невского, все больше студенты и мастеровщина, хотели прорваться к Казанскому, да конные их разогнали. Как в девятьсот пятом...

— Сейчас у нас девятьсот четырнадцатый, — начал было Каннинг, но прикусил язык, заметив знаки, которые подавала ему супруга. На вопрос носильщика, куда нести, посовещавшись, ответили, что Лидия Георгиевна Каннинг с Константином Эдуардовичем, взяв вещи, пройдут прямо в гостиницу. Это два шага отсюда, пояснил Каннинг, — через площадь на Невский, и поворот на первую улицу — места́ для Лидии Георгиевны знакомые, останавливались супруги там не раз. А Павел Павлович получит ящики из багажного вагона, сдаст на хранение и мигом догонит. Циолковский запротестовал, сказал, что не хочет затруднять Каннинга, пойдет вместе с ним, но тот замахал руками: — Вы, Константин Эдуардович, простужены, надо беречь горло, климат в Питере, что ни говори, каверзный, а горло на съезде понадобится, и еще как.

Каннинг, несмотря на обещание быстро управиться, все не шел, и, пока Лидия Георгиевна хлопотала, прибирая снятые ими две комнаты, и жаловалась Константину Эдуардовичу на всяческие беспорядки, он сидел на плюшевом гостиничном диване и, закрыв глаза, думал. Голова немного кружилась от дорожной усталости и бессонной ночи в вагоне, и не отпускала саднящая боль в горле, приставшая еще перед отъездом, в Калуге. Боль, впрочем, это пустяки, он привык не обращать внимания на свое вечно натруженное, надорванное горло, но зачем потащился он в Петербург? Он чувствовал себя выбитым из колеи, из жизни, которую любил, без которой не мог существовать. Ежедневная работа над рукопися-

ми в тихой светелке, вычисления и чертежи, размышления о будущем, о судьбах людей и звезд, и прогулки в бор у Оки, и подзорная труба, нацеленная в ночное небо. Зачем он поехал? Варвара Евграфовна отговаривала, даже плакала, говорила о путешествии в Питер с таким трепетом, словно бы речь шла об экспедиции на другую планету.

И он готов был отказаться от поездки, если б не уговоры Каннинга.

Каннинг Павел Павлович — добрый друг, бесценный помощник! Сколько душевных сил, сколько преданности, и веры, и поддержки получал он от него в самые трудные, безотрадные времена. Безусым юнцом в девяностые годы шагал впервые Павлуша Каннинг рядом со старшим другом по дороге в сосновый бор и слушал, едва дыша, рассказ о воздушном корабле, огромном, как гора, из чистого металла. «Учитесь, молодой человек», — сказал он ему тогда. И Каннинг учился. Начал с аптекарского ученика, вышел в провизоры, открыл аптекарский магазин, что в Никитском переулке, на бойком месте — между парикмахерской «Жан из Парижа» и гостиными рядами. Женился, и, кажется, счастливо. (Циолковский улыбнулся, представив себе эту пару — Павел Павлович, маленький, лысоватый, подвижной как ртуть, с восторженной, захлебывающейся речью, шествующий по хлипким калужским тротуарам под руку с массивной и спокойной, даже величественной супругой!) Конечно, фантазер и непрактичен. Но разве сам он, Циолковский, практичен? И разве практицизм украшает человека, а не светлая голова и горячее сердце? Фантазер, потому что мало заботится об умножении доходов. Выписывает редкие книги, играет на орга́не, им самим построенном, ставит химические опыты, замыслил «расшатать атом». Попробуйте-ка расшатать атом, да еще в полутемной задней комнате аптекарского магазина в переулке, в губернском городе Калуге! Фантазер, конечно, но чистая, простая душа. И можно ли забыть, как в девятьсот первом году в той же самой задней комнатке собирался кружок молодых рабочих? Окна выходили во двор, двор запирался крепкими воротами, и Каннинг для отвлечения барабанил громчайше на рояле «Аскольдову могилу» Верстовского! Читали и обсуждали «Искру», при-

ходившую сюда упрятанной между прейскурантами лекарств, выписываемых Павлом Павловичем из-за границы. Собирались тогда в Никитском у Каннинга четверо братьев Доброхотовых (старший Михаил — бородатый студент в очках), и сестра их Вера, и мастеровой Полотняного завода Федор Разломалин с братом Дмитрием, и рабочие депо Сызрано-Вяземской дороги Плотников, Иванов, Бабашов, и еще другие (имена их Циолковский позабыл, да и сам он делал вид тогда, что не знает ничего о собраниях в Никитском). Один только раз, помнил он, когда Митя Разломалин заметил, что сейчас не время мечтать о полетах по воздуху, а надо думать больше, как бы улучшить жизнь рабочих людей, не выдержал и сказал Разломалину: «Сочувствую, молодой человек. Но знаете ли вы, что, когда осуществится моя мечта и люди полетят по воздуху, это само по себе будет огромным революционным переворотом. Ведь тогда сотрутся все границы, и история получит новое направление». И Каннинг, все время подававший Разломалину какие-то знаки, восторженно подхватил эти слова.

И вот теперь, перед их отъездом в Петербург, Каннинг доказывал, что ехать в Питер надо непременно, что речь идет не о прогулке, а о третьем всероссийском (он подчеркнул: всероссийском) воздухоплавательном съезде, куда Циолковский приглашен и получил даже пятьдесят рублей подъемных денег. И с каким почтением, с какой теплотой написано письмо, которое получил Константин Эдуардович от устроителей съезда! Каннинг с чувством, почти как стихи, процитировал наизусть некоторые места из пресловутого письма: «...Рассчитывая, что Вы не откажете в Вашем любезном согласии сделать на съезде сообщение, входящее в область Ваших работ, обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой не отказать заблаговременно известить... В ожидании Вашего любезного ответа» и так далее, и тому подобное.

— Обычная канцелярская словесность, — невозмутимо откликнулся тот, но это не произвело впечатления на Каннинга.

— Нет, нет! — пылко воскликнул Павел Павлович. — Тут чувствуется особенная сердечность, особенное признание ваших заслуг. Никаких колебаний! Пора, нако-

нец, выходить на широкую арену. Довольно вариться в собственном соку в богоспасаемом граде Калуге! Теперь, когда после стольких трудов и усилий, наконец, построены отличные модели дирижабля целиком из металла, преступлением было бы держать их здесь. (Каннинг сделал кругообразное движение рукой, причем задел в тесноте и едва не уронил штатив с подзорной трубой.) Варвара Евграфовна сидела и слушала молча, лишь изредка вздыхая и поднося к глазам кончик ситцевого платка, завязанного у подбородка.

— Рынин тоже уговаривает ехать, пишет из Питера, что поможет показать на съезде мои модели и нашел уже для них место, — сказал он Каннингу, и эти слова подействовали на Павла Павловича, как шпоры на резвого коня. Воодушевляясь, Каннинг заговорил о том, что именно теперь, когда Константин Эдуардович стал всероссийской знаменитостью, когда его портреты печатаются в журналах, когда ученый мир признал наконец его труды, теперь надо ехать в Петербург, чтобы закрепить достигнутое...

— Какая знаменитость, полно, что вы, Павел Павлович! — вспылил он, но Каннинга нельзя было остановить. Павел Павлович сыпал именами, названиями, цитатами, из которых выходило будто и впрямь, что русское общество узнало и признало Циолковского. Рябушинский, например, брат известного миллионера и основатель аэродинамического института в Кучине, перечисляя в своей брошюре ученых, исследовавших законы сопротивления воздуха, пишет о «блестящих работах Циолковского». «И заметьте, Константин Эдуардович, ваше имя указано Рябушинским в одном ряду с Менделеевым, Лэнгли, лордом Кельвином, лордом Рэлеем и другими классиками науки». Упоминание о лордах вызвало ироническую усмешку, но Каннинг вскипел: «Да ведь эти лорды — гениальнейшие из гениальных, великаны учености, и титул свой они получили не от папаши в наследство, а от своего правительства в воздаяние заслуг перед наукой!» Упомянуто было еще о книге военного инженера Шабского «Управляемые аэростаты, их теория, конструкция и историческое развитие». Последняя часть вышла в свет в Питере три года назад, и в ней опыты Циолковского над воздушными потоками приводятся как классические, рядом с опытами Ренара,

Эйфеля, Парсеваля, Лакура. «Всё французы, заметьте, — воскликнул Каннинг, — и единственное русское имя среди них — ваше, Константин Эдуардович. Имя Циолковского!»

Он пробовал решительно возразить Каннингу, сказать ему, что Чаплыгин и особенно Жуковский продвинулись значительно дальше. Куда там! Каннинг, не слушая, продолжал. Он заговорил о всеобщем интересе к межпланетным путешествиям, возникшем после того, как в журнале «Вестник воздухоплавания» позапрошлой весной завершилось печатание «Мировых пространств». В ответ на замечание, что тут могла сыграть роль и шумиха, поднятая в прошлом году французом Эсно-Пельтри с его проектом лунной ракеты, Каннинг сказал, что одно не противоречит другому. И, кстати, Эсно-Пельтри, побывавший летом тринадцатого года в Петербурге, несомненно знаком с работой Циолковского. Ведь за всем, что печатается в питерском «Вестнике», Эсно-Пельтри должен следить, потому что он не только летчик и конструктор аэропланов, но и глава фирмы, поставляющей в Россию авиационные двигатели. И, может быть, даже к лучшему, что появился Эсно-Пельтри со своим проектом, потому что это расшевелило в России тех, кто забыл, что вот уже двадцать лет подряд работает над той же самой идеей наш соотечественник, наш великий русский ученый...

Он улыбнулся, вспомнив, как всерьез вышел из себя после этих слов и накинулся на Каннинга, сказав, что если тот не перестанет молоть чепуху, то в Питер он, Циолковский, не поедет, даже если бы сам Сикорский прислал за ним аэроплан «Илья Муромец»!

— Молчу, Константин Эдуардович, молчу, — кротко откликнулся Каннинг. — Напомню вам только напоследок, что, после того как Рюмин первый написал о вашей ракете в перельмановском журнале «Природа и люди» и Перельман выступил с лекцией о вас в Петербурге и совсем недавно, в феврале, напечатал большую статью в «Свободном журнале», после этого о межпланетных путешествиях заговорили все. Подумать только, даже «Вестник Южных железных дорог» откликнулся на днях большущей статьей «О проблеме полета на Луну». Южные железные дороги — и Луна!

Он сказал Каннингу, что Перельман и в самом деле усиленно зовет его в Петербург. Просит привезти что-нибудь для журнала «Природа и люди». Он мог бы предложить Перельману небольшую вещицу — фантастический рассказ «Без тяжести», и хотелось бы также показать Якову Исидоровичу «Дополнение к исследованию мировых пространств», которое только что доставили от Семенова.

И они принялись еще раз рассматривать пахнущий свежей краской пакет из типографии Семенова с экземплярами тоненькой брошюры — шестнадцать страниц текста («издание и собственность автора»), где объявление на обложке предлагало желающим приобрести это и другие произведения г. К. Э. Циолковского. «Достать можно у меня (Калуга, Коровинская, 61) и у П. П. Каннинга (Калуга, Никитский пер., соб. дом)».

— Вот видите. Вам непременно надо ехать в Питер, — сказал Павел Павлович.

2. «СМЕЛО, ТОВАРИЩИ...»

Без стука в дверь гостиничного номера не вошел, а ворвался Каннинг, заставив Лидию Георгиевну испуганно вскрикнуть. На недовольный вопрос «почему так долго» срывающимся от волнения голосом, то присаживаясь на диван к Циолковскому, то вскакивая и бегая по комнате, он сообщил о «невероятном», о «потрясающем» событии, свидетелем которого только что был. «А ящики с моделями?» — перебил его Циолковский. Каннинг сказал, что все в порядке — модели сданы в вокзальную камеру и могут быть взяты оттуда в любой момент. «Нет, вы послушайте...» И он рассказал, как, выйдя на Знаменскую площадь, услышал шум — свистки и крики, увидел прохожих, бегущих через площадь туда, где Невский поворачивает к Лавре. Он присоединился к толпе, облепившей пронзительно свистящий паровик с вагонами (паровая конка, соединяющая вокзал с Невской заставой, — пояснил Каннинг). И тут опять полицейские свистки, городовые с шашками наголо, шум и ералаш. Оказывается, бастуют служащие паровой конки, требуют платы за работу в пасхальные дни, требуют прибавки жалованья и отдыха раз в неделю.

Снимают штрейкбрехеров, пустивших поезд несмотря на забастовку. Полицейские на выручку...

— И вдруг — как бы вы думали, что произошло? — чей-то голос, сильный, мужской, с хрипотцой, но без фальши, перекрывая весь этот ералаш, затягивает, как бы вы думали что? — Каннинг наклонился к самому уху Циолковского и таинственно прошептал: — «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». Вот вам и светлое христово воскресенье! И все это в какой-нибудь сотне-другой шагов от того места, где мы сейчас с вами сидим. Может быть, даже в окно видно?

Каннинг бросился к окну, но разочарованно отступил: номера́, снятые Лидией Георгиевной, выходили в узкий питерский двор-колодец. Ничего, кроме глухой облупившейся стены да сидящей на трубе вороны.

— Воскресение надежды... — тихо и вопросительно, словно бы про себя, пробормотал Циолковский.

— Вы что-то сказали, Константин Эдуардович? — подхватил Каннинг. И, не дожидаясь ответа, вытащил из оттопырившегося кармана пальто пачку газет. — «Биржовка», «Речь», «Новое время», — пояснил он. — Новостей тьма. — И, подсев к Циолковскому и поманив рукой жену, вполголоса, торопясь и глотая слова, выложил столичную хронику.

То, о чем говорил носильщик на Николаевском вокзале, оказалось только малой частью большой картины. Рабочий и студенческий Питер бурлил. Не надо было быть ясновидцем, чтобы заметить, как поднимается новый вал. Газетные строчки едва поспевали за ходом событий. В тот самый час, когда свистели нагайки на Михайловской площади, на Каменноостровском «толпа с пением революционных песен пыталась пройти через Троицкий мост... Произведены аресты... Вечером рабочие завода «Айваз» на Выборгской высыпали на улицу с красным флагом... Зачинщики арестованы. Остальные разогнаны полицией... Ночью в разных частях города произведены многочисленные обыски по ордерам охранного отделения». Утром «покинули свои мастерские и прекратили работу рабочие Арсенала, Минного завода, Нобеля и Феникса... Всего ушло с работ около четырех тысяч человек...»

— Может быть, хватит? — сказал Каннинг, обращаясь к своим слушателям. — Читайте дальше, — ответил Циолковский.

— «В доме номер четыре по Матисову переулку, где живут кучера почтамта, в семь часов утра началось брожение. Кучера громко жаловались на недостаточную выдачу хлеба... Категорически отказались выехать на развозку почты. Прибывший с нарядом полиции пристав 2-го участка г. фон Сталь...» И так далее. И в «Биржовке»: «У портерной в доме номер пять по Муринскому проспекту городовой Новиков схватил без всякой причины студента Политехнического института г. Добрынина и, повалив его в канаву, стал избивать...»

— Политехнический институт, — отнесся Каннинг к Циолковскому, — это в Лесном, на северной окраине города. Но были дела и ближе к центру. «В час дня толпа студентов запрудила коридор в здании Санкт-Петербургского университета. Были брошены и расклеены прокламации. В начале второго часа дня наряд полиции 3-го Василеостровского участка занял коридор и не давал студентам собираться в отдельные группы. Возбуждение среди студентов вызвано протестом против приема в университет служащего в департаменте полиции г. Кушнырь-Кушнарева...»

— На сегодняшний день, впрочем, газеты предсказывают спокойствие, — сказал Каннинг. — Как-никак пасха! Однако же то, что я наблюдал на Невском...

Постучал в дверь коридорный и спросил, не угодно ли заказать покушать.

— Может быть, займемся обедом? — подала голос Лидия Георгиевна.

— Приветствую. А после отдыха — осмотр столицы. Первая ваша встреча с Петербургом, Константин Эдуардович, факт исторический! Когда-нибудь летописцы о нем напишут. Посмотрим Неву, университет, сфинксов перед Академией художеств. Согласны?

— Есть более неотложные дела, Павел Павлович. На сфинксов времени у меня нет. Сфинксы могут подождать. Надо повидать Рынина, спросить о съезде. Не знаю, как это сделать, и удобно ли беспокоить незнакомого человека на пасху.

— А телефон? — сказал Каннинг. — Техника двадцатого века! Позвоним Рынину по телефону. Номер

посмотрим в справочной книжке. Он и живет где-то совсем близко. На Коломенской? Это два шага.

Нашли телефонный справочник и позвонили Рынину. Тот обрадовался, узнав, кто с ним говорит, попросил Константина Эдуардовича зайти сегодня же, не откладывая. С завтрашнего дня, сказал он, начнутся съездовские хлопоты. Сегодня последний день, когда можно побеседовать спокойно. Пасха? Ничего, что пасха. Воздухоплавание (Циолковский услышал в трубке короткий, рокочущий на басовой ноте смех) — дело, богу угодное! Жду.

Взволнованный и даже несколько растерянный, Циолковский повесил трубку. Каннинг торжествовал:

— Вот видите, с каким вниманием встречают вас в Питере. Рынин — товарищ председателя комитета съезда, профессор, светило! Увидите, ваш доклад на съезде будет триумфом. Триумфом металлического дирижабля!

— Цыплят по осени считают, Павел Павлович.

Условились, что после обеда супруги проводят Константина Эдуардовича до рынинской квартиры и, оставив его там, отправятся погулять по городу. А вечером все встретятся дома, в номерах.

3. У РЫНИНА

Они смотрели друг на друга, хозяин квартиры и гость, с любопытством, с тем особенным чувством, которое бывает, когда люди заочно знакомы, наслышаны друг о друге по письмам, по рассказам, по книгам и вот теперь встретились в первый раз.

От зоркого взгляда Рынина не укрылись застенчивость, и глухота, и бедность гостя, чересчур короткие рукава его черного поношенного сюртука, залоснившийся шейный платок и порыжевшие простые сапоги, построенные и зачиненные немудрящим трудом губернского рукодела. Рынин видел бледное и усталое, еще не старое, без морщин, лицо, серебряные нити в темной бороде и в прямых, зачесанных назад волосах, открывающих сократов лоб. И глаза, которые нельзя забыть, наивные и серьезные, глаза мудреца и ребенка.

«Как странно, — думал Рынин, — что этот провинциал, этот попавший в первый раз в столицу уездный учитель

стесняется меня, тогда как больше всего стесняюсь я его. Стесняюсь моего кабинета с дубовой мебелью, и этих фарфоровых, в сущности совершенно лишних вещиц на письменном столе, и всей этой так называемой солидной обстановки, и столичного лоска, и бог знает чего еще. А он, живущий в своем деревянном калужском домике, где бродят на крыльце куры и сушится развешанное на дворе белье, он владеет тем бесценным и необыкновенным, чего нет у меня с моими чинами и дипломами. Он — гений, открывший человечеству путь в бесконечность, и я мог бы только мечтать сделаться его учеником...»

Заглянул в кабинет и смущенно попятился, увидев незнакомого, коротко остриженный мальчик в суконной курточке. Рынин остановил его. — Вот, Константин Эдуардович, познакомьтесь с мужчиной. Готовится в недалеком будущем занять вполне официальное положение — стать учеником Первой санкт-петербургской гимназии. — Как зовут мужчину? — спросил Циолковский и погладил мальчика по голове. — Лев, — ответил Рынин. — А по батюшке Николаевич. Имя и отчество, согласитесь, обязывающие!

И до Циолковского донесся как бы издалека рокочущий, знакомый, уже слышанный сегодня утром по телефону смех.

Мальчик вежливо шаркнул ножкой и удалился. Рынин подвел гостя к книжному шкафу, занимавшему две стены, и показал на особую полку, где в строгом порядке, тщательно перенумерованные, собраны были брошюры и журнальные статьи Циолковского.

Гость был растроган и смущенно пробормотал что-то невнятное. Там было все или почти все, что он напечатал по аэродинамике и летательным аппаратам легче и тяжелее воздуха. Он увидел на этой полке самые ранние свои, написанные еще в Боровске работы: «Давление жидкости на плоскость», «К вопросу о летании» и другие. Затем шел «Аэростат металлический управляемый» (выпуск первый девяносто второго года), и «Железный управляемый аэростат на 200 человек», и, наконец, самое дорогое для него — «Простое учение о воздушном корабле», второе, исправленное и дополненное издание. Был там и последний, только что напечатанный «Простейший проект чисто металлического аэроната». И тут

же рядом, в неожиданном соседстве с воздушными кораблями, социально-философский этюд «Нирвана»...

Заметив удивление на лице Циолковского при виде «Нирваны», Рынин сказал:

— Считаю, Константин Эдуардович, что эта ваша работа не так уж далека от идеи цельнометаллического дирижабля, как может показаться на первый взгляд. Ведь дирижабль (аэронат, как вы его называете) задуман вами не только как проект технический. Вы мечтаете о дирижабле как о корабле человеческого счастья, как о средстве улучшить жизнь на нашей планете. Не так ли? И я затруднился бы даже провести грань, отделяющую технические проблемы от философских в ваших сочинениях.

Помолчав, он снял с полки и стал перелистывать «Нирвану».

Теперь был черед Циолковского всмотреться пристальнее в хозяина дома. Первое же письмо, полученное от него года три назад в Калуге — узкий, изящный конверт с петербургским штемпелем, бумага цвета слоновой кости, — самый вид этого письма мог бы сказать кое-что наблюдательному человеку. Но Циолковский был поглощен тогда не формой, а содержанием написанного. В письме говорилось, что преподаватель Института инженеров путей сообщения Николай Алексеевич Рынин внимательно следит за работами выдающегося русского теоретика воздухоплавания г. Циолковского. В связи с организуемой им, Рыниным, аэромеханической лабораторией он будет счастлив получить наложенным платежом печатные труды г. Циолковского, изданные в Калуге. При лаборатории создается библиотека классиков воздухоплавания. Намечается в будущем издание лабораторией ее собственных трудов. Преподнести эти труды г. Циолковскому институт счел бы для себя приятной обязанностью.

Константин Эдуардович задумчиво повертел тогда в руках конверт и бумагу с водяными знаками. И послал все, о чем просил Рынин. Переписка продолжалась затем все эти годы, и вот теперь — не диво ли! — далекий и невидимый корреспондент стоял перед ним живой, во плоти и крови, и листал его «Нирвану».

Он был высок и плотен, в инженерской форменной тужурке с полупогончиками, на которые был наложен

массивный серебристый вензель. Тужурка, аккуратно застегнутая — видно, ее владелец и в домашней обстановке не позволял себе небрежностей, — стоячий воротничок с отогнутыми в стороны твердыми кончиками, и обручальное кольцо на сильной и тяжелой, но очень тщательно ухоженной руке — все было строго, точно и словно бы геометрически выверено.

Между тем этот выхоленный и, как могло показаться, избалованный барин — Циолковский узнал об этом еще в Калуге от всезнающего Каннинга — вовсе не был барином. Рано потеряв отца (вечно нуждавшегося военного канцеляриста в малых чинах), он смог окончить симбирскую гимназию и путейский институт в Петербурге лишь самоотверженным трудом матери и благодаря собственной беготне по грошовым урокам, недоеданию, недосыпанию и прежде всего железной настойчивости и воле. Его темные глаза смотрели спокойно и прямо. Он говорил ровно и неторопливо. Кажется, этот человек не мог позволить себе ни одного лишнего, суетливого жеста. Из такого материала, сказал себе Циолковский, были сделаны люди, открывавшие моря и континенты, викинги, доплывавшие на утлых баркасах до Гренландии и даже до Америки, Колумб и Магеллан и нынешние Скотт и Амундсен, пересекшие пешком ледяной ад Антарктики.

И он действительно был сделан из такого теста. Ученая и инженерская карьера, протекавшая блистательно, оставление при институте, адъюнктура, командировки в Париж и Нью-Йорк — прямая дорога академических почестей и лавров, видимо, не устраивала этого человека. В первые же годы авиации, едва взлетела на две сажени слепленная из прутьев и фанеры машина Райтов, статский советник Рынин, к удивлению своих коллег, перепачканный в машинном масле, уже заводил пропеллеры «фарманов» и «вуазенов», перелетал через дома и заборы, падал в капустное поле, парил на воздушных шарах, дирижаблях, привязных аэростатах, даже воздушных змеях. В девятьсот одиннадцатом году, единственный тогда в России, он сдал все три серии экзаменов, чтобы получить звание пилота на аэроплане, дирижабле и воздушном шаре. К началу девятьсот четырнадцатого года им было проведено в воздухе сто семь часов, достигнута высота в шесть с половиной верст,

поставлен русский рекорд продолжительности и дальности свободного полета. Но не в этом спортивном азарте скрывалось главное. Делом жизни Рынина — Циолковский знал это — стало создание науки воздухоплавания и экспериментальной для нее базы в России. Об этом мечтали когда-то Менделеев и Рыкачев. За это дело принялись засучив рукава в Москве Жуковский и Чаплыгин. В Петербурге задача легла на плечи Рынина. Превратить путейский институт, чопорный и застывший в традициях, в опору для юной авиационной техники было делом совсем нелегким. В качестве первого шага, вызывая насмешливое пожатие плеч у сановного начальства, удалось создать студенческий кружок воздухоплавания — туда записалась сразу сотня жаждущих воздушного подвига молодых людей. (Заводилами кружка стали худощавый, тихий второкурсник Саня Воробьев и увлекавшийся боксом крепыш Георгий Мулюкин.) Потом, года через два, получено было (не без труда) разрешение читать курс воздушных сообщений и двигателей. И, наконец — предмет особенных стараний Рынина, — добыты средства для кабинета аэромеханики, выросшего вскоре в лабораторию (ютившуюся пока еще во временном помещении).

— Там я и приготовил для вас место, где вы сможете расположиться с вашими моделями, — промолвил, отложив книгу, Рынин. — Это в первом этаже нашего института, на Забалканском. Там же, в институте, будет проходить и бóльшая часть заседаний съезда.

Спросив Циолковского, где он остановился, и заметив, что везти груз в институт придется на извозчике довольно далеко, Рынин продолжал:

— Теперь я хочу ввести вас в курс дела и поделиться мыслями, которые, может быть, огорчат вас, но считаю, что лучше быть готовым наперед, чем пасть духом после.

Интерес к дирижаблям, и без того невысокий в последние годы, упал сейчас до самой низкой точки. Те, кто вершит воздушным делом в России, разочаровались в аппаратах легче воздуха. Не ждите поэтому внимания к себе и к своему проекту на съезде.

Рынин взял со стола сложенный вчетверо газетный лист и показал обведенную красным карандашом колонку:

— Вот послушайте, что напечатано во вчерашнем номере «Петербургской газеты». Орган, может быть, и не очень почтенный, но имеющий нюх в таких вещах. Заглавие: «Дирижабли отслужили свою службу». Дальше о том, как будет проходить съезд. И напоследок: «Надо добавить, что на съезде будут окончательно похоронены дирижабли. Достаточно сказать, что в программе заседаний совершенно нет докладов о дирижаблях...» Сказано хлестко, но, как всегда у господ репортеров, не без некоторого вранья! Доклады о дирижаблях в программе съезда есть, в частности ваш доклад. Пришлось, правда, долго уламывать членов комитета, но дело сделано.— Рынин протянул гостю отпечатанный на превосходной бумаге бюллетень, где под рубрикой «Первая секция: аэростаты» значился доклад К. Э. Циолковского «О металлическом аэронате».— Вы знаете,— продолжал Рынин,— я не согласен с мнением, что аппараты легче воздуха отслужили свою службу. Я ваш сторонник и друг. Но дело не во мне. Там,— Рынин показал пальцем вверх,— отмахиваются от дирижаблей, и общее мнение против них. Почему? Причин несколько, и прежде всего — успехи крылатой авиации. Еще вчера, кажется, удавалось продержаться на аэроплане одну-две минуты в воздухе и пролететь по прямой линии триста сажен. А сегодня аэропланы летают, не спускаясь, сотни верст, поднимаются на шесть верст, достигают скорости в двести с лишним километров в час. Сегодня аэроплан — это уже не этажерка из жердочек, это корабль, да, целый корабль...

— «Илья Муромец» Сикорского? — почти беззвучно прошептал Циолковский.

— Да, «Илья Муромец». Настоящий крылатый крейсер! В минувшем феврале посчастливилось мне участвовать в полете на «Муромце». На борту нас было двенадцать человек. Двенадцать! Если рассказать кому-нибудь про это год назад, не поверили бы. В салоне расставлены столики, мягкая мебель. Курить, правда, нельзя, но можно выйти на балкон, фотографировать, вести разведку и, если понадобится, сбрасывать бомбы...

Голос Рынина стал серьезным, он заговорил о том, что обстановка в мире становится все напряженнее, сгущаются грозовые тучи. Германия и Франция вооружаются лихорадочно, дипломаты и коронованные особы

ведут секретные переговоры, генеральные штабы, не скрывая, готовятся к европейской войне. К войне сухопутной, морской и — в первый раз в истории — воздушной. — Кстати, — сказал Рынин, — не далее как на прошлой неделе двое немецких инженеров очень своеобразно побили рекорд дальности полета на воздушном шаре. Из центра Германии перемахнули на Урал — три тысячи сто восемьдесят километров. Но при этом предусмотрительно забыли взять разрешение на перелет и были задержаны русской полицией. Она отобрала у них фотографическую камеру со снимками крепостей на нашей западной границе!

Главная надежда русских военных кругов, — продолжал Рынин, — на аппараты тяжелее воздуха. Считается, что аэропланы летают надежнее и быстрее, менее уязвимы для артиллерийского огня с земли, не требуют громоздких ангаров, и, главное, их можно строить заводским способом.

И вот тут, — Рынин сделал паузу, — зарыта собака. В постройку аэропланов вложены большие капиталы, особенно во Франции, а раз во Франции — значит, и в России. Альянс! Французы продают нам (с немалым для себя барышом) авиационные двигатели, а сборка аппаратов производится в России. Военное ведомство дает субсидии, и к казенному пирогу, как всегда, липнут подрядчики, биржевики, спекулянты. Аэропланные заводы растут как грибы. Посчитайте, — Рынин принялся загибать пальцы. — В Москве — «Дукс», в Петербурге — «Лебедев» и «Щетинин», в Риге — «Русско-Балтийский», на юге — «Анатра» и «Терещенко»... Вы увидите всех этих господ послезавтра на съезде. Они с их капиталами — хозяева. И там, где капиталы, там статьи в газетах, речи в Думе, резолюции в комиссиях и комитетах. Так что дирижабли сейчас, говоря деловым языком, котируются невысоко, и не только на бирже, но и в главном инженерном управлении (оно дает заказы), и в императорском аэроклубе, и в седьмом отделе. Учреждения, Константин Эдуардович, вам слишком хорошо знакомые! Учреждения, портившие кровь не только вам, но и многим другим русским изобретателям...

Циолковский сказал, что позапрошлой зимой в последний раз сделал попытку заинтересовать военное ведомство. Написал в генеральный штаб, что имеет искрен-

нее желание послужить отечеству, что построил модель металлического воздушного корабля и уверен в его успехе. Готов привезти модель в Петербург или же принять доверенное лицо у себя в Калуге. «Благоволите сообщить, — говорилось в письме, — должен ли я в интересах государства хранить в тайне мои модели и могу ли демонстрировать их в обществах?»

— И что же?

— Вернули мне мое письмо с резолюцией: «Сообщить, что:

1) доверенное лицо не прибудет;

2) демонстрировать модель разрешается;

3) модель может быть прислана в Петербург, но без расходов от казны».

— Коротко и ясно, — откликнулся Рынин. — Ясно, что чиновники, к которым вы обратились, не интересуются русскими изобретателями. А тут, кстати, и удобный предлог — несколько аварий и катастроф с дирижаблями. Весной позапрошлого года взорвался и сгорел немецкий «цеппелин», за ним другой. Погибло несколько десятков человек. И тут же катастрофы с отечественными аэростатами, построенными, между прочим, особенно плохо, по иностранным сомнительным чертежам, из негодных материалов. «Кречет» с шестью пассажирами, едва поднявшись в первый же полет в Царском Селе, потерял рулевую цепь. Соскочила с шестерни! На втором старте лопнул трос руля поворота, на четвертом — оболочка деформировалась и съежилась наподобие проколотого детского шара. Примерно то же самое с кораблем «Альбатрос». Выброшены на ветер немалые деньги (и еще больше прилипло к карманам подрядчиков). А ведь надо сказать, за дирижаблями присматривает у нас целый учебный воздухоплавательный парк вблизи Царского. Два эллинга, и целый батальон солдат, и офицерская воздушная школа, и сам начальник школы генерал-лейтенант Кованько, знаменитый своими бакенбардами и коллекцией колокольчиков. (Коллекционирует ручные колокольчики, те, которыми вызывают прислугу к обеденному столу, — пояснил Рынин.) Но дирижабли гибнут. И не только у нас. Вот на днях газеты сообщили, что итальянский полужесткий аэростат «Читта ди Милано» из-за порчи моторов начал спускаться. Налетел шквал, понес корабль на деревья. Удар. Газ

воспламенился с сильным взрывом. Пострадали пассажиры и еще с полсотни зрителей. — Рынин заметил нетерпеливый жест Циолковского. — Знаю, знаю, что вы хотите сказать. Что аэронат из металла вашей системы имеет преимущества перед кораблями с матерчатой оболочкой? Согласен, но вряд ли это изменит обстановку на съезде. Судьбы российского воздухоплавания решаются сегодня, увы, не в научных лабораториях и не в ученых собраниях, а в отдельных кабинетах ресторанов «Донон» и «Кюба», где акционеры интимно совещаются с членами правления императорского аэроклуба. К сожалению, это так, хотя, будем надеяться, не навечно...

Заметив расстроенное лицо Циолковского, Рынин ласково тронул его за плечо:

— Не мне учить вас философии стоицизма и гражданского мужества. Приведу вам ваши же слова. (Рынин опять снял с полки тонкую книжечку с заглавием «Нирвана» и раскрыл там, где была вложена закладка.)

«Как бы ни была тяжела истина, но лучше истина, чем ложь. Лучше знать, чем не знать...»

«Итак, пусть же, хоть через тысячелетие, придет нирвана, могучая, деятельная, богатая добрыми плодами. И да стоит она на страже нашей планеты, не давая возродиться мукам ни на поверхности земли, ни в глубине морской, ни в воздухе!»

— Вот именно «в воздухе», — повторил Рынин и, видя, что Циолковский торопится уйти, сказал: — Подождите, пойдемте вместе, я провожу вас.

Они шли по прямой как стрела полутемной Коломенской улице, перешедшей незаметно в такую же прямую и тусклую Пушкинскую. Неистово звонили пасхальные колокола, доносились пьяные голоса, выглядывали из подворотен повязанные платками опухшие женские лица.

— Эта столичная улица имеет несколько сомнительную репутацию, — насмешливо заметил Рынин, когда они пересекали скверик с памятником Пушкину, изумившим Циолковского своим невзрачным и запущенным видом.

Еще несколько десятков шагов, и они очутились словно в другом мире.

Вечерний праздничный Невский встретил их сиянием электрических огней, веселым гулом расфранченной толпы, извозчичьими пролетками, в четыре ряда медленно двигавшимися по обе стороны от рельсов. Но два трамвайных вагона на повороте от Невского к Лиговке стояли неподвижные и пустые, с отведенными от проводов и пригнутыми вниз контактными дугами.

— Трамвайные служащие к концу дня забастовали из солидарности с работниками паровой конки, — сказал Рынин. И засмеялся коротким и сильным, рокочущим на басовой ноте смехом.

4. ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ

В понедельник повезли ящики с моделями к Рынину в институт.

Удивил холодный пронзительный ветер при ярком солнце — вчера было совсем тепло, а за ночь ртуть соскочила вниз почти до нуля. Извозчик объяснил, что с утра пошел ладожский и вся Нева от Пороховых до Николаевского моста забита льдом. И верно, когда переезжали через Фонтанку, несколько голубовато-белых, похожих на куски горного хрусталя льдин медленно проплыли под Аничковым мостом. — На Фонтанку с Невы проходит льда мало, течение не пускает, — пояснил возница и, обернувшись, посмотрел с любопытством на седоков, бережно прижимавших к коленям продолговатые длинные ящики. — Никак гробы везете, барин? — отнесся извозчик к Циолковскому как к старшему и более солидному пассажиру.

— Не гробы, а научные приборы, — подал голос Каннинг, — для полетов по воздуху. Двести человек смогут летать на большом воздушном корабле.

Извозчик молча покачал головой и, хлестнув лошаденку, круто завернул на Садовую. Потом, через некоторое время, словно закончив какой-то внутренний ход мыслей, сказал:

— Намедни наш тверской в чайной читал газету, толковал, полетят и на Луну. Придумал тут один. Говорят, наш, русский. Врут, наверное.

И, выехав на Забалканский, подкатил прыгающую на булыжнике пролетку к подъезду нарядного дома с

балконом и большими черными буквами под двуглавым орлом: «Институт инженеров путей сообщения императора Александра I».

Рынин встретил их в вестибюле.

Бородатый швейцар могучего сложения, удивив сначала роскошной ливреей и белыми перчатками, оказался, после того как скинул ливрею и перчатки, простым русским парнем в ситцевой рубашке с ластовицами. Поплевав на руки, помог вместе с подоспевшими студентами перенести и распаковать ящики.

Устало опустившись на стул, Циолковский рассматривал рынинскую лабораторию.

Комната со сводчатым потолком и выбеленными стенами мало чем отличалась от обычного кабинета для студенческих работ. Пятнадцать шагов вдоль и пять поперек. Широко не развернешься. И это был (наряду с лабораторией в Политехническом институте) столичный научный центр по аэронавтике! Можно ли думать после этого о создании могучего отечественного воздушного флота? Он вспомнил свои собственные калужские опыты лет десять назад — сколоченную из дерева и жести воздуходувную трубу, лопасти из фанеры, гроши, полученные после долгих просьб из академии. Воздуходувка (воздушный поток создавался в ней почти вручную) работала, впрочем, совсем неплохо. Сотни и тысячи экспериментов, которые он с нею произвел, признаны были и впрямь классическими. Собранные в одну книгу отчеты об этих опытах — «Сопротивление воздуха и воздухоплавание» на двухстах семидесяти рукописных листах с таблицами и чертежами посланы были в девятьсот восьмом году профессору Жуковскому в Москву, но так почему-то и пропали там. На запрос, не поможет ли Николай Егорович публикации «Сопротивления воздуха», Жуковский не ответил ничего. Видно, помешала занятость или что-нибудь другое. Он надеялся разузнать об этом у Жуковского в дни съезда. Да, калужская воздуходувка с ее фанерными лопастями была до смешного проста, но результаты, полученные с ее помощью, сослужили службу науке. Удалось поправить неправильную формулу сопротивления воздуха, данную Ньютоном. Посчастливилось вывести еще одну важную закономерность за несколько лет до того, как ее нашел в Париже Эйфель. А ведь в распоряжении у французского инже-

нера (строителя знаменитой башни) была установка крупного диаметра, и электрические вентиляторы, нагнетающие мощную струю воздуха, и деньги, щедро отпускаемые капитанами индустрии. Выходит, стало быть, что опыты, сделанные самыми скромными средствами, способны порой давать решающие ответы? Примеры — самодельный телескоп Галилея, Фарадей с его игрушечными магнитами и проволоками. Да, это так, но лишь на первых порах. Двигаться дальше можно только с помощью большой техники...

Словно угадав его мысли, Рынин сказал:

— Считайте, Константин Эдуардович, что эта наша карликовая техника, — он показал на воронку небольшой аэродинамической трубы, — переходный этап. Дирекция института уже отпустила нам сто тысяч на оборудование большой лаборатории. И помещение для нее в новом институтском корпусе почти готово. Осенью начнем там работу. А пока...

Он подвел Циолковского к аэродинамической трубе с входным отверстием около метра. Электрический мотор мощностью в десяток лошадиных сил был спарен с вентилятором, подававшим наружный воздух в камеру, отделенную от рабочей комнаты воздушным шлюзом.

— Скорость потока воздуха метров тридцать в секунду? — спросил Циолковский, бегло осмотрев трубу и двигатель.

— Тридцать пять. Это максимум того, что можем получить. У наших коллег-политехников дела обстоят несколько лучше. У них более разнообразное оборудование. И им удалось серьезно помочь Сикорскому.

Рынин коротко напомнил о том, как испытывались отдельные части аэропланов «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» в лабораториях Политехнического института.

Подойдя к разложенным на полу моделям, над которыми хлопотал Каннинг, Рынин сказал, что начиная с сегодняшнего дня и до конца работ съезда лаборатория отдается в полное распоряжение гостей из Калуги. Они могут устраиваться здесь как дома. Удобнее всего, конечно, будет показывать модели членам съезда в перерывах между заседаниями. Для наполнения моделей вполне можно использовать здешнюю воздуходувную

систему. Циолковский поблагодарил, заметив, что привык обходиться простым велосипедным насосом. Каннинг тут же извлек насос из брезентовой сумки и принялся усердно демонстрировать его действие. Металлическая сигара двухметровой длины исправно раздувалась и снова складывалась. Демонстрация прошла убедительно, и Павел Павлович, запыхавшийся, но довольный, победоносно смотрел на собеседников.

— А теперь о съезде. Торжественное открытие в актовом зале завтра ровно в два. Но, как вы могли прочитать вот здесь, — Рынин вынул из кармана сложенный пополам лист съездовского бюллетеня, — в понедельник седьмого апреля, то есть сегодня в восемь часов вечера, «г.г. члены съезда приглашаются посетить для знакомства между собой помещение Императорского Российского аэроклуба: Моховая, 11».

В переводе с официального языка на общежитейский, — продолжал Рынин, — это означает, что господа члены желают выпить и закусить. Насчет французского шампанского деятели императорского аэроклуба, что и говорить, большие знатоки! Авиация и авиаторы нынче в моде у петербургского бомонда. На нас смотрят, как раньше смотрели на жокеев и цирковых борцов. Только-только не ощупывают нам бицепсы! Председателем клуба числится не кто-нибудь, а граф Стенбок-Фермор, и товарищем при нем граф Ростовцев. На певичек и на вечера с цыганами тратят их сиятельства деньги без счета, а на расходы по устройству воздухоплавательного съезда удалось выторговать у президиума аэроклуба всего лишь полторы тысячи рублей. Да и то векселями, а не наличными. Ибо касса императорского российского аэроклуба напоминает пустоту торичеллиеву! И знают о причинах этой пустоты только содержатели «Виллы Роде» и других подобных кабаков высшего разбора...

Заметив озабоченные взгляды, посылаемые Каннингом, Рынин аккуратно сложил бюллетень и отправил его обратно в карман.

— Стало быть, если у вас, Константин Эдуардович, есть такое уж горячее желание познакомиться с графом Стенбок-Фермором, милости просим к нам, на Моховую. А если не желаете сподобиться этого счастья, то не смею настаивать.

— Думаю, что граф Стенбок-Фермор проживет как-нибудь и без знакомства со мной. Предпочитаю встретиться с Яковом Исидоровичем Перельманом.

5. ВЕРЬТЕ МНЕ

Встреча произошла негаданно.

Словно бы по волшебству, в этот же самый день, ближе к вечеру, в дверь гостиничного номера постучали, и вошел, застенчиво улыбаясь, невысокий молодой человек в пенсне и черном плаще-крылатке с застежкой в виде львиной головы.

— Перельман, — негромко отрекомендовался он, стоя на пороге и как бы не решаясь сделать еще шаг вперед.

— Ближе, пожалуйста, ближе, плохо слышу, — крикнул Циолковский и, когда незнакомец отрекомендовался снова, взволнованно взял в обе руки теплую ладонь гостя и долго растроганно смотрел ему в глаза.

— Вот и привел бог свидеться. Не думал, что вы так молоды. Представлял себе вас старше, гораздо старше... Да как разыскали вы меня?

Перельман объяснил, что, узнав о приезде Циолковского в Питер, позвонил сегодня днем по телефону к Рынину и осведомился об адресе Константина Эдуардовича. Тот охотно дал нужные сведения. Хорошо ли он знаком с Рыниным? Знакомства в точном смысле, пожалуй что, и нет, если не считать писем и телефонных звонков, с которыми редакция журнала «Природа и люди» обращалась несколько раз к Рынину. Мы просили у него, — сказал Перельман, — дать нам воспоминания о его смелых полетах. Но он всегда отказывался, ссылаясь на недосуг. Однако же недосуг не помешал ему прийти на лекцию о межпланетных путешествиях прошлой зимой...

— На вашу лекцию в обществе мироведения? Ту самую, о которой писали в газетах? В ноябре?

— Двадцатого ноября. Народу было так много, что за четверть часа до начала пришлось закрыть двери. Не скрою, волновался я страшно. Среди слушателей был Николай Александрович Морозов...

— Старик, шлиссельбуржец?

— Он не так уж стар. Ему нет шестидесяти, и двадцать лет, проведенные в крепости, его не сломили. Недавно вышел в свет его стихотворный сборник «Звездные песни». Написаны еще в Шлиссельбурге. Стихи трогательные, немножко наивные, да и в самом Морозове есть что-то детское — черта, пожалуй, характерная для гения. Так вот, в «Звездных песнях» есть смутная мысль о будущих полетах человека к другим мирам, о новом большом вселенском доме, где когда-нибудь расселится человечество... Был еще Тихов, молодой блестящий пулковский астроном, изучает планету Марс, считает, что жизнь имеется там непременно. После лекции осталась группа энтузиастов, окружила меня, расспрашивала подробно о вас. Морозов назвал вас Колумбом вселенной...

— Какой же Колумб, когда не полетел еще, да и никто не полетел, и неизвестно, когда полетят!

— Морозов сказал: «Важен теоретический принцип. Найден принцип передвижения в мировой среде, и предложил его Циолковский. А это одно стоит открытий Коперника и Колумба»...

С шумом распахнулась дверь, и в сопровождении супруги бочком протиснулся в комнату Павел Павлович, навьюченный картонками и пакетами. Лидия Георгиевна была в настроении восторженном. («Ходили по магазинам, ах, Петербург, ах, Гвардейское экономическое общество — новый универсальный магазин на Конюшенной, совсем как в Париже, роскошь, всюду лифты и, представьте, кафе на третьем этаже!»)

Заметив незнакомое лицо, осеклась и, церемонно помахав ручкой, удалилась в соседнюю комнату. Каннинг, несколько смущенный, пробормотал: «Не буду вам мешать» — и, стушевавшись, исчез вслед за супругой.

— Да, так о чем бишь мы говорили? — промолвил, несколько опешив, Перельман, глядя в смеющиеся глаза Циолковского. — О Копернике, — ответил тот. — И о Колумбе, который еще не вышел в плавание и неизвестно, когда выйдет. Но оставим Коперника. Расскажите лучше о себе, Яков Исидорович. Должен же я знать о человеке, который стал первым пропагандистом моих идей!

Перельман сказал, что началом своей литературной деятельности считает статью, посланную им из шестого

класса Белостокского реального училища. Напечатали ее в «Гродненских губернских ведомостях». Было это осенью девяносто девятого года, когда по Западному краю пронесся слух (как бы вы думали, о чем?) о скором конце света. Кто-то вычитал про метеорный поток «Леониды» — небесный каменный дождь, ожидаемый в ближайшем месяце, кто-то раздул это до гомерических размеров, и пошла писать губерния! Автор статьи в «Ведомостях», скрывшийся под инициалами Я. П., популярно разъяснял публике, что метеорный дождь не несет никакой опасности. А кстати, сказал Перельман, производством «научных» уток промышляют у нас и по сей день. Не далее как в минувшем марте общество любителей мироведения выступило с протестом по поводу чепухи, напечатанной в «Петербургской газете». В телеграмме «от собственного корреспондента» из Лодзи сообщалось, что недалеко от города Кельцы упал «аэролит величиной с дом». Аэролит «пылал как гигантский костер и сжег двадцать крестьянских усадеб». При проверке все оказалось вымыслом. Но это не помешало той же газете напечатать через неделю, что вот-вот Земля «столкнется с хвостом необычайно огромной кометы». Ну, разумеется, мальчишки-газетчики выкрикивали на улицах эту потрясающую новость. Она затмила даже известие о предстоящем визите французского президента Пуанкаре и об очередной драке, устроенной поклонницами Распутина. И все это, заметьте, в столичном городе, в век беспроволочного телеграфа и перелета на аэроплане из Москвы в Петербург с одной остановкой на пути. Что же сказать тогда о белостокском захолустье!

— Моя статья в гродненской газете, — продолжал Перельман, — была подписана начальными буквами, потому что учащимся казенных училищ строго запрещалось сотрудничать в печати. Мне исполнилось тогда четырнадцать лет. Увлекался астрономией и физикой, устроил (на скопленные от репетиторства деньги) целую домашнюю обсерваторию. Наблюдал в крошечную подзорную трубу солнечные пятна, Луну, двойные звезды. Потом Петербург, отчаянные попытки поступить в университет (не приняли из-за происхождения, несмотря на золотую медаль). Пришлось идти в Лесной институт...

— Там учился мой отец.

Перельман сказал, что знает об этом. В Лесном институте хорошо учат физике, математике, прикладной механике. Все это сильно помогло. Правда, он не стал лесником, потому что чувствовал всегда призвание к литературному труду, к профессии популяризатора науки. Журнал «Природа и люди» охотно предоставил ему свои страницы. За тринадцать лет он напечатал там почти тысячу статей, заметок, очерков. Задача состояла в том, чтобы научиться рассказывать о науке словами простыми и веселыми, да, да, веселыми, не боясь острой шутки, литературных примеров, поэтической метафоры. Так родилась в прошлом году «Занимательная физика». Экземпляр этой книги с дарственной надписью, помнится, тогда же был послан Константину Эдуардовичу в Калугу...

Циолковский сказал, что читал вслух отдельные главы перельмановской «Физики» своим ученицам-епархиалкам. И класса не узнать. Скучная материя — школьная физика — стала любимым предметом!

— Орест Данилович Хвольсон, наш знаменитый ученый и педагог, похвалил книгу в печати, — откликнулся Перельман, — но кое-кто из министерских чинуш пытается брюзжать. Нарушена-де научная благопристойность — правило параллелограмма сил в механике излагается с помощью крыловской басни о лебеде, раке и щуке! Но сейчас трудности позади. Готовлю второе издание «Физики». И есть еще замысел. Вынашиваю его уже два года и вам, Константин Эдуардович, отдаю на суд. Хочу писать книгу о межпланетных путешествиях. С подробным разбором всех существующих идей и проектов и с утверждением вашей ракеты как решающего способа передвижения в космосе. Но вы меня не слушаете, Константин Эдуардович...

Циолковский смотрел отсутствующим взглядом куда-то в сторону, без видимой надобности снимал и протирал очки платком, и снова надевал, и опять протирал.

— Нет, я слышу и думаю вот о чем. Все годы трудов, и лишений, и страшной бедности (случалось, не было копейки на хлеб), и насмешек, и унижений — все это не пропало даром. Все-таки услышали, все-таки заметили. И то, что посеяно, не пропадет. Не знаю, какой мерой измерить то, что вы для этого сделали, Яков Исидорович...

Перельман заметил, что делу помогло стечение обстоятельств. Вскоре после того как в «Вестнике воздухоплавания» закончилось печатание «Исследования мировых пространств», произошли перемены в журнале «Природа и люди». Перельман встал во главе редакции. И мог теперь свободно знакомить читателей с трудами Циолковского. И, конечно, большую помощь оказал Рюмин.

Они заговорили о Владимире Владимировиче Рюмине. Этот молодой инженер, отказавшись от предложенных ему выгодных мест в промышленности, посвятил себя, как и Перельман, популяризации научных знаний. Он пошел по стопам своего отца (друга Писарева и Антоновича), научного, как говорили тогда, фельетониста, совмещавшего солидную ученость с талантом писателя. Рюмин-младший жил на Юге, в городе Николаеве, издавал там двухнедельный популярный журнал «Физик-любитель» и ежемесячник «Электричество и жизнь». Прочитав весной двенадцатого года знаменитое исследование о космическом полете, «воспламенился, как ракета» (так писал он Константину Эдуардовичу) и ринулся в бой за Циолковского.

Статью Рюмина — это был первый отклик русского общества на межпланетные идеи — Перельман напечатал в своем журнале летом того же 1912 года. Циолковский прочитал статью, запершись в светелке, и долго не выходил оттуда, несмотря на робкие напоминания Варвары Евграфовны о простывшем обеде. «Ученое заглавие, строки формул, столбцы числовых данных, — писал Рюмин, — но какая сказочная мысль подтверждена этими формулами и цифрами! Человек, только вчера оторвавшийся от поверхности Земли, делающий еще первые попытки завоевать воздух, уже поднял глаза к мерцающим звездам, и гордая, смелая мысль озарила его мозг: туда, все выше и выше, в мировое пространство!» Дальше шло изложение труда Циолковского и упоминалось между прочим, что источником движения межпланетного корабля может стать не только химическое топливо, но и «скрытая энергия атома». «Под рукой мирового путешественника, — отмечал Рюмин, — будет также безграничный запас лучистой энергии в виде солнечного света... Из него можно получать электрический ток, сосредоточивая свет

солнца иа спаях термоэлектрических батарей... И твердо верю, — заканчивал Рюмин, — что настанет время, когда люди, может быть даже забыв имя творца этой идеи, понесутся в громадных реактивных снарядах и человек станет гражданином всего беспредельного мирового пространства!» Прошло полгода, и в редактируемом им журнале «Электричество и жизнь» Рюмин вновь напомнил читателям о «гениальной по своей смелости идее нашего соотечественника, доказавшего, что именно ракета когда-нибудь послужит человеку экипажем для межпланетных полетов». Еще через несколько месяцев, откликаясь на брошюру Циолковского «Первая модель чисто металлического аэроната из волнистого железа», Рюмин печатает рецензию, дав волю чувству горечи и гнева.

«Эта брошюра,— писал автор рецензии,— крик сердца человека, чье имя перейдет в историю... Недооцененный нами, его современниками, этот замечательный теоретик и изобретатель, по-видимому, слишком опередил свое время... Печально такое отношение к человеку, которым должна гордиться его родина...»

Брошюра, о которой писал Рюмин, лежала сейчас на столе в гостиничном номере, и, взяв ее, Перельман сказал, что понимает, какое потрясающее, какое неизгладимое впечатление должны были произвести на Рюмина уже самые первые строки:

«Верьте мне. Основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы, но я надеюсь, что мои работы, может быть скоро, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества».

Это были первые строки. (Никто еще не писал так в книгах на техническую тему.) А в самом конце говорилось о том, что автор брошюры «истощил все силы и делает последнюю попытку обратить внимание людей на великое для них дело». «Ввиду того, что я человек не житейский, — писал Циолковский, — прошу желающие учреждения, общества, лица, редакции сообщить мне, как лучше устроить, чтобы я мог сделать

сообщение и показать модели, к кому обратиться и где остановиться. Платы я брать никакой не буду и от моделей, уже обнародованных в печати, никаких материальных выгод получить не смогу. Единственная моя цель — чтобы дорогое мне дело продолжилось и без меня. А пока для осмотра моих моделей в Калуге (Коровинская улица, дом 61) всеми, кто желает, назначаю каждую среду от 6 до 8 часов вечера».

— И пришел кто-нибудь? — осведомился Перельман.

— Несколько человек, — ответил Циолковский и грустно улыбнулся. — Видно, обещанные горы хлеба и бездна могущества не соблазняют калужских жителей. Вместо журавля в небе они предпочитают синицу в руках. Рюмин утешает меня. Пишет, что в двадцать первом столетии (Циолковский снова грустно усмехнулся) все будет иначе. Кстати, он пророчил мне в вашем журнале, что и имя-то мое забудут прежде, чем люди полетят в космос. Что ж, может быть и так. Хотя помнят же люди сегодня имена фараонов, живших бог знает сколько лет назад. А в космос, я убежден, люди полетят все-таки если не в двадцатом, то и не в сто двадцатом веке! Немножечко пораньше...

Перельман сказал, что Константин Эдуардович не должен сердиться на своих друзей за некоторый пессимизм в отношении сроков. В канун нового, 1914 года журнал «Природа и люди» напечатал, между прочим, очерк Рюмина «Что сулит нам техника в будущем?». И там блестяще развиты мысли Константина Эдуардовича о безграничности прогресса и о расселении человечества в солнечной системе. «Перед человеком, — так примерно писал Рюмин, — будет открыта вся вселенная и как первый этап — Луна... Реактивные аппараты перенесут наших потомков на Луну, которую они искусственно покроют атмосферой, сделав пригодной для обитания и уменьшив разность царящих там температур. Наш спутник оживет и станет населенным». Вот это оптимизм!

— А что касается двадцать первого века, — продолжал Перельман, — то предсказания сроков всегда были занятием рискованным. Помните, как опростоволосился знаменитый Симон Ньюкомб, светило американской астрономии? Не очень давно, лет этак пятнадцать назад, он предсказывал, что «человек на машине тяжелее

воздуха не полетит никогда». Так и напечатано было черным по белому: «Никогда». А через несколько лет братья Райт поднялись на машине тяжелее воздуха! И давно сказано: любая теоретически правильная идея реализуется непременно. Реализуется в тот момент, когда ее потребует человеческая практика. Но сейчас еще невозможно сказать, когда это произойдет с межпланетными путешествиями. Вопрос техники сплетается тут с вопросом социальным. Путь к звездам проложит общество, одушевленное высокими идеалами. Попробуйте-ка вообразить взлет корабля к небу и тут же рядом пьяного урядника, хлещущего нагайкой безоружных рабочих. Или в сегодняшних газетах, читали? Американский президент Вильсон послал солдат в Мексику потому, видите ли, что мексиканцы свергли свое правительство, угодное Вильсону, и избрали другое, ему неугодное. Американцы устроили кровавую баню, расстреляли мирных жителей города Веракруца. Вот вам общественная обстановка! Подходит ли она для космических полетов?

— Но, может быть, не так уж и долго осталось ждать освобождения... Мексики? — тихо сказал Циолковский, глядя по-детски широко раскрытыми глазами прямо в глаза собеседника.

— Я догадываюсь, чтó вы имеете в виду, Константин Эдуардович. — Голос Перельмана прозвучал глухо и взволнованно. — То, что мы видели в Петербурге в эти дни, и эта нависшая угроза войны — это серьезно, очень серьезно... Но сейчас будем говорить о технике. Технически идея ракеты, способной унести человека за пределы Земли, встречает еще трудности неимоверные. Эсно-Пельтри считает, например, что без энергии радия тут не обойтись, но радий выделяет ее слишком медленно. А как заставить радий распадаться быстрее, чем он распадается в природе, не знает никто. Может быть, это вообще принципиально невозможно. И удастся ли обойтись без радия, этот вопрос остается открытым. Не так ли?

— Возможно, что и не так, — сказал Циолковский и, порывшись в кипе бумаг на столе, протянул Перельману сверток.

— Что это?

— Прочтите на досуге. Дополнение к моему «Исследованию мировых пространств реактивными приборами». Захватил для вас из Калуги. Прямо из типографии. И еще рукопись для вашего журнала. Под названием «Без тяжести».

Перельман поднялся, стал прощаться:

— Сейчас поздно. Вам надо отдохнуть. Прочту все внимательно. Начну сегодня же. Жду вас в ближайшие дни в нашей редакции. Это совсем близко — на Стремянной, дом двенадцать. Придете? Обещаете?

— Если останется время, приду.

6. СЛУШАЯ ЖУКОВСКОГО

Стрелка часов показывала без десяти два, когда в актовый зал с мраморными колоннами и огромным портретом Александра Первого через массивные двери начал вливаться расфранченный и раззолоченный людской поток. Преобладали военные и инженерские мундиры. Шляпки дам, увенчанные страусовыми перьями и булавками полуаршинной длины, возвышались издали, словно башни дредноутов, нацеленные на невидимого врага.

Циолковский и Каннинг, несколько взъерошенные после только что произведенной генеральной проверки моделей, наскоро привели себя в порядок и не без колебания двинулись к гудящей как улей парадной лестнице. Рынинская лаборатория, где они работали, помещалась на первом этаже в десятке шагов от главного вестибюля. Из окон лаборатории были видны подкатывавшие к подъезду экипажи. Лихачи на дутых шинах, в щегольских, огромнейшей толщины армяках, подпоясанных красным кушаком, покрикивали зычно «поберегись!». Скромные «ваньки» мановением полицейской руки уступали дорогу сипло гудевшим автомобилям с пузатым кузовом и боковыми фонарями, напоминавшими те, что носят похоронные факельщики. Волнение среди дежуривших у подъезда чинов достигло высшей точки, когда приблизилась карета с инкрустацией двуглавого орла на черной лакированной дверце. Подскочившие к ней полицейские образовали живой заслон, пока вылезшая из кареты тощая и костлявая

фигура в генеральской шинели с отворотами не исчезла за дубовой дверью.

Из окон лаборатории было видно не только это. На противоположной стороне проспекта накапливалась постепенно толпа любопытствующих прохожих, и двое из толпы, по одежде мастеровые с какого-нибудь из заставских предприятий, подошли ближе, чтобы поглазеть на зрелище. Судя по движениям их губ, они обменивались впечатлениями по поводу кареты с двуглавым орлом. Что именно сказано было мастеровыми, ни Каннинг, ни тем более Циолковский не могли услышать через окна лаборатории. Сказано же было приблизительно следующее: «Кучер-то, кучер — настоящий боров». Дальше шли соленые словца, и после этого упомянуто было о костлявой фигуре в генеральской шинели: «А седок-то кощей, видно, не в коня корм». — «Не седок, а высочайшая особа. Герб видел?» — «Ну, если высочайшая, то висеть ей когда-нибудь на высочайшей виселице!» Ответа на эту реплику не последовало, так как подбежавший городовой довольно невежливо затолкал собеседников на противоположную сторону проспекта...

— А зачем нам, собственно, идти в зал? Что мы там забыли? Тем более что я и не услышу ничего, — промолвил, размышляя вслух, Циолковский, когда они шли по коридору. Но Каннинг возразил решительно. Разве не помнит Константин Эдуардович, что на этом первом и торжественном заседании должен выступить профессор Жуковский? Тема его речи — «О современном состоянии воздухоплавания». Было бы грешно пропустить этот доклад. А то, чего не услышит Константин Эдуардович, то доскажет потом по памяти Каннинг. Спорить с этим было трудно, и вот теперь в своих потертых сюртучках они входили в сияющий великолепием актовый зал. Циолковский хотел было направиться к самым задним креслам, но оказавшийся вдруг рядом Рынин (он был в путейском темно-зеленом вицмундире с крестом Станислава на шее), взяв Константина Эдуардовича под руку, с решительным видом отвел его и Каннинга в шестой ряд, напротив кафедры. «Хотел бы находиться поближе к вам, — проговорил Рынин, — но служебная обязанность заставляет идти

туда». И он показал на убранный коврами помост, где вблизи покрытого зеленым сукном стола уже толпились члены президиума и другие почетные лица. Почтительно покашливая и переминаясь с ноги на ногу, они выжидали, пока усядется костлявая фигура в генеральских погонах и подусниках, именуемая великим князем Александром Михаиловичем. (В отличие от прочих смертных, высочайшую эту особу нельзя было называть «Михайловичем»: буква «й», как чересчур простонародная, подлежала тут обязательной замене на «и».)

Особа наконец соблаговолила сесть в приготовленное для нее кресло с бархатными подлокотниками, и вслед за нею, облегченно вздохнув, стали рассаживаться лица на почетном помосте и вместе с ними весь зал.

Воцарилась тишина, и, приблизив к очкам лист бумаги, «Александр Михаилович» с сильным немецким акцентом пробубнил вступительную речь.

Сидевший впереди Каннинга молодой человек в смокинге, с толстым блокнотом в руке, переговаривался шепотом со своим более пожилым соседом. Судя по доносившимся до Каннинга репликам, это были газетные корреспонденты. Старший делился с молодым коллегой сведениями по поводу лиц, сидевших на помосте. «Кто этот лысый, с аксельбантами, слева?» — спрашивал молодой человек и сразу же получал исчерпывающий ответ: «Барон Мейендорф, генерал-адъютант, играет на бирже акциями авиационных заводов». — «А вон тот низенький штатский со звездой?» — «Тайный советник Ковалевский, председатель императорского технического общества». Поймав эту реплику, Каннинг только грустно вздохнул, вспомнив многолетние мытарства Константина Эдуардовича в сношениях с означенным обществом. «Военный, с седыми усами, рядом с Ковалевским?» — продолжал допытываться владелец толстого блокнота. «Генерал-от-инфантерии Поливанов. Был помощником военного министра, не поладил с Распутиным и сдан на хранение в Государственный совет». Дальше, под монотонное журчание великокняжеской речи, были помянуты товарищ министра внутренних дел и шеф жандармов Джунковский,

начальник генерального штаба Янушкевич, генерал-от-кавалерии барон Каульбарс («метил на место Поливанова, но получил шиш»), граф Стенбок-Фермор («изображает из себя авиатора, но не умеет отличить „фармана“ от „ньюпора“»).

Естественно, конечно, было бы поинтересоваться и находившимися за тем же столом видными деятелями русского воздухоплавания. Там сидели председатель съезда — профессор Жуковский и его помощник — полковник Найденов, инженеры Ярковский и Рынин, профессора Боклевский, Чаплыгин и другие. Но оказавшиеся по соседству с Каннингом представители шестой державы почему-то не назвали этих имен.

Августейшая особа тем временем, отерев лоб батистовым платком, отправила бумагу обратно в карман кителя и, прокашлявшись, объявила третий всероссийский воздухоплавательный съезд открытым. Были произнесены многочисленные приветствия, затем два длинных доклада отчетного характера, и Циолковский, чувствуя усталость и беспокоящую боль в горле, несколько раз порывался уйти. «Неудобно, — встревоженно шептал ему на ухо Каннинг. — Не забудьте про Жуковского». И Циолковский послушно остался.

Слушая Жуковского, он затаенно надеялся, что тот найдет повод упомянуть о его металлическом дирижабле и об опытах, как-никак пионерских, с пластинками, введенными в воздушный поток, и о проекте птицеподобной летательной машины, к очертаниям которой чем дальше, тем больше будут приближаться аэропланы. Ведь даже самое слово «аэроплан» было названо им в Калуге за десять лет до полета Райтов. И разве не посылал он Николаю Егоровичу Жуковскому все свои работы по аэродинамике и воздухоплаванию? Разве не переслал он ему и ту заветную рукопись на двухстах с лишним страницах, след которой затерялся после девятьсот восьмого года? Да, в самом деле, разве не знает Николай Егорович о нем, Циолковском, о стольких годах неустанного его труда, о невзгодах и лишениях и о результатах, достигнутых несмотря ни на что и вопреки всему?

Приложив к уху сложенный в виде рупора газет-

ный лист, стараясь не упустить ни слова, он вслушивался в речь Жуковского, а Каннинг, бледный от волнения, то и дело бросая взгляды на сидевшего рядом друга, мучительно думал о том же самом, о том, что Жуковский должен, не может не упомянуть о трудах Циолковского.

Жуковский говорил уже полчаса. Яркими красками он нарисовал удивительный прогресс, достигнутый авиацией за два года, прошедших со времени второго всероссийского съезда. Аэропланы приобрели теперь устойчивость и уверенность движения. Еще вчера плохо повиновавшийся авиатору, хрупкий аппарат сегодня в руках у летчика способен был выполнять любые маневры. После мертвой петли штабс-капитана Нестерова в августе прошлого, девятьсот тринадцатого года француз Пегу и наши Раевский и Габер-Влынский довели воздушный пилотаж до такой степени совершенства, что полет птицы, еще недавно вызывавший зависть человека, кажется нынче детской игрой... (Жуковский набросал мелом на черной доске замысловатые фигуры Габер-Влынского. Петля, еще петля, и новый головокружительный каскад кругов и восьмерок, казалось бы, необъяснимых никакой теорией!) «Самолет Габер-Влынского летит, как палка, брошенная в воздухе!» Все это искусство, продолжал оратор, отнюдь не результат какого-то особого воздушного чутья, а итог тщательнейших опытов с моделями летательных аппаратов в современных аэродинамических лабораториях. Итог и продукт новой науки — практической аэродинамики...

Каннинг в эти мгновения сидел ни жив ни мертв, он подумал, что сейчас, вот сейчас будет, наконец, упомянуто имя его великого, его замечательного друга. Он бросил на него искоса быстрый взгляд, но по выражению лица Константина Эдуардовича нельзя было определить, слышит ли он, что говорится с кафедры, и только бисерные капельки пота, выступившие у него на лбу, выдавали волнение, ожидание, тревогу.

Жуковский закончил этот раздел своего доклада, назвав имя «пионера аэродинамического эксперимента — Эйфеля» и упомянув о работах Слесарева, Чаплыгина, Рынина. Лаборатории в Кучине и Петербурге, продолжал докладчик, сделали возможным аэроплан Сикор-

ского, этот прообраз авиации близкого будущего. (Каннинг видел, как сидевший за столом президиума Рынин сказал что-то на ухо находившемуся рядом с ним директору путейского института Карейше, и оба они — так по крайней мере показалось Каннингу — посмотрели в ту сторону, где сидел Циолковский.)

А Жуковский уже говорил о «самых смелых, самых фантастических перспективах воздушного транспорта» — о проекте перелета на аэроплане через Атлантический океан, проекте, за который обещан приз в десять тысяч фунтов стерлингов. Пересечь Атлантику в самом узком ее месте — три тысячи пятьсот километров между Ирландией и Ньюфаундлендом — вот задача, которая будет решена, возможно, уже в ближайшие пять-шесть лет. Средняя скорость полета составит приблизительно девяносто километров в час, и весь путь через океан займет около двух суток. Великая цель! Важным этапом на пути к ее достижению, сказал Жуковский, должен стать намеченный на ближайшую осень перелет аэроплана Сикорского из Петербурга в Москву без остановки вдоль линии Николаевской железной дороги. Решено, что аэроплан будет состязаться с паровозом, вести который согласился строитель русских быстроходных локомотивов инженер Щукин...

В зале зааплодировали, и все головы повернулись в ту сторону, где сидели сгорбившись затянутый в мешковатый фрак, бородатый, богатырского сложения Щукин и недалеко от него молодой, с черной повязкой на глазу (он получил недавно ранение при спуске на болото) Игорь Сикорский.

— Имеется, кроме того, — продолжал Жуковский, — еще один способ совершить воздушное путешествие через океан — лететь на дирижабле прочной и надежной конструкции. Наиболее перспективными в этом отношении надо признать немецкие управляемые аэростаты типа «цеппелин», но и они пока еще недостаточно безопасны и не достигли требуемой грузоподъемности. Я должен выразить сожаление, — Жуковский сделал паузу и стал перебирать лежавшие перед ним заметки, — по поводу того, что русские конструкторы пока что не выдвинули новых и оригинальных идей по части аппаратов легче воздуха. Идей, которые могли бы сравниться с успехами русского самолетостроения...

Каннинг сжался, словно бы от полученного наотмашь удара, и не мог заставить себя посмотреть в лицо другу. Как раз в этот момент Жуковский дал знак хлопотавшему около проекционного фонаря механику, и, воспользовавшись темнотой, Циолковский порывисто поднялся со своего места и, сжав локоть Каннинга, стал быстро пробираться к выходу. Павел Павлович последовал за ним.

7. ДЕНЬГИ ПИШУТ

Всю дорогу до гостиницы он не проронил ни слова и на попытки Каннинга привлечь его внимание к архитектурным красотам Петербурга отвечал слабой улыбкой.

Только уже в гостиничном номере, сказав Павлу Павловичу, что устал и хочет прилечь, вдруг без видимой связи с предыдущим добавил:

— Он, видно, не успел прочитать моей новой брошюры «Простейший проект чисто металлического». Я послал ему в феврале...

И, махнув рукой, лег на диван, повернувшись лицом к стене.

Каннинг на цыпочках вышел из комнаты.

Рано утром в гостиницу пришел посыльный в красной фуражке и принес записку от Рынина. В ней говорилось, что Константин Эдуардович, возможно, не захочет участвовать в сегодняшней экскурсии участников съезда на аэропланный завод Щетинина. Экскурсия состоится утром, а с двух часов начнутся заседания секций. Председатель секции аэростатов генерал Кованько хочет повидать Циолковского, и будет хорошо, если они встретятся в институте до полудня.

Зачем понадобился он генералу Кованько? Генерал — лицо должностное и влиятельное. Уж не хочет ли генерал помочь ему построить металлический дирижабль?

Размышления прервал Каннинг, ворвавшийся в комнату, возбужденно потрясая газетой:

— Сегодняшнее «Новое время»! Фельетон Меньшикова о воздухоплавательном съезде и о генерале Кованько!

— О генерале Кованько? Но кто такой Меньшиков?

Каннинг сказал, что Меньшиков — фигура весьма примечательная, главный нововременский фельетонист, знаменитый тем, что выступает каждый день (каждый день!) с огромнейшими по размеру статьями на поразительно разнообразные темы. Сегодня он пишет об орошении степей Заволжья, завтра об англо-германском морском соперничестве, послезавтра о бюджете святейшего синода. И все это, заметьте, с подробнейшими цифрами, историческими справками и цитатами от Юлия Цезаря до наших дней. Объясняется чудо очень просто: на Меньшикова работает армия «негров», в том числе министерские чиновники и чуть ли не целые канцелярии. Ведь «Новое время» — правительственный рупор и официоз, а попросту — черносотенная помойная яма, из которой и черпает свое вдохновение господин Меньшиков! В сегодняшнем номере этот деятель раздраконивает воздухоплавательный съезд. На сей раз он избрал мишенью аэростаты и генерала Кованько. Нет, вы послушайте только, что́ он пишет! (Каннинг развернул простыню «Нового времени» и громко прочитал.) «Маньчжурская кампания показала, что пользы от аэростатов для армии — ни на ломаный грош. Оцените же после этого роль генерала Кованько, посвятившего всю жизнь пусканию на воздух пузырей... С ранних лет таскало его по воздуху то сюда, то туда, получал он жалованье, чины, ордена. А за что, спрашивается? За пусканье мыльных пузырей. Ведь доказано, что летательные аппараты легче воздуха ни на что не нужны. Будущее за аэропланами, и только за ними. Таскаться по воздуху в шарах сегодня — это значит держать русское воздухоплавание на уровне монгольфьеров восемнадцатого столетия...»

— Галиматья форменная, — откликнулся Циолковский. — Смешаны в одну кучу аэростаты неуправляемые и управляемые. И при чем тут монгольфьеры? И какой грубый, базарный тон: «таскаться по воздуху», «ломаный грош». Неужели все это в столичной большой газете? В официозе — так вы, кажется, сказали? — в рупоре...

Циолковский показал Каннингу записку, полученную от Рынина. — О, да тут должна быть прямая связь со статьей Меньшикова! — воскликнул Павел Павлович. — Случилось что-то важное. Не будем терять времени. Скорее в институт...

В дверях рынинской лаборатории они почти столкнулись с худощавым мужчиной высокого роста в генеральском кителе с бронзовым академическим значком над правым грудным карманом. Огромные седые бакенбарды пышно расходились у него почти до самых плеч. Это и был начальник офицерской воздухоплавательной школы генерал-лейтенант Александр Матвеевич Кованько. Подошедший к ним Рынин познакомил генерала с Циолковским и Каннингом.

— Знакомы, давно знакомы, — прохрипел, обращаясь к Циолковскому, Кованько. (Он страдал чем-то вроде астмы и объяснял, показывая на грудь: «Поднялись на шесть тысяч с гаком, как вдруг лопнула подушка с кислородом, веревку с клапаном заело, и вот результат-с!») — Знакомы заглазно. В девятьсот третьем, дай бог памяти, году рассматривалось в седьмом отделе, ваше, господин Циолковский, предложение насчет... насчет... («аэростата металлического, управляемого», — подсказал Циолковский). Совершенно верно, металлического аэростата. Докладывал, помню, Федоров Евгений Степанович, раскритиковал аэростат ваш в пух и прах, а я, помнится, против вас с определенностью не высказывался...

Циолковский заметил, что, судя по присланному ему тогда протоколу, Кованько назвал его «человеком обстоятельным» и «серьезным изобретателем», но что проект он все-таки охаял.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — отшутился Кованько и спросил собеседников, читали ли они сегодняшнюю статью Меньшикова. Циолковский ответил утвердительно, и Кованько тотчас прервал его репликой: — Вы думаете, это Меньшиков пишет? Ничего подобного. Пишет не Меньшиков. Пишут деньги. За статью заплачено теми, кто охотится за субсидиями из казны на постройку аэропланов. А у казны денег кот наплакал не то что на воздушный флот, а и на трехлинейные винтовки для пехоты. Новобранцев учат, хорошо

если на берданках, а чаще всего на деревянных палках. Факт-с! И это когда война на носу. Мы с нашей офицерской школой — бельмо на глазу у господина Щетинина. Сто тысяч рублей, которые мы получаем из казны ежегодно, он хотел бы переадресовать себе в карман. Вот вам и популярное объяснение статьи господина Меньшикова! Пузыри, пузыри, — продолжал Кованько раздраженно, — а ведь с помощью этих пузырей, то бишь привязных аэростатов, будут корректировать артиллерийскую стрельбу на войне. И понадобится нам таких пузырей иметь сотни и тысячи. Немцы-то привязными аэростатами не брезгуют, не говоря уже о «цеппелинах». Вооружают «цеппелины» пушками. Вот вам и пузыри!

Циолковский сказал, что аэронат из металла решит все проблемы аппаратов легче воздуха. В металлическом аэронате будут устранены также уязвимые места «цеппелинов».

— Вот, не угодно ли посмотреть, как действуют модели?

Кованько круто отрезал:

— Смотреть не буду. Не взыщите, батенька. Я человек прямой. Привык резать правду-матку. Дипломатию разводить не умею. Металлический ваш дирижабль считаю блажью. Всегда был убежден, что первая же молния, которую он к себе притянет, трахнет все вдребезги (Кованько выразился сильнее), и останется мокрое место не только что от пассажиров, но и от самого дирижабля со всеми его потрохами!

— Но позвольте, ведь по законам электричества...

— И слушать не хочу-с. А пришел я, господин Циолковский, побеседовать с вами вот по какому вопросу. Газетные писаки склоняют во всех падежах, что секция аэростатов на воздухоплавательном съезде влачит-де призрачное существование. «Мертворожденная секция»! И в самом деле, из девяноста докладов на нашу долю приходится два, считая ваш. А сейчас получается и того меньше. Господин Иванов, который должен был говорить о конструкциях существующих русских дирижаблей, заболел и выступать не будет. Попробую заменить его господином Родных, да ведь тот — историк («все в прошлом»), и поделиться он сможет разве что эпизодом с воздушным шаром в Крымскую кампанию. Остаетесь вы

один, господин Циолковский. Чтобы утереть нос Меньшикову, требуется доказать, что секция аэростатов, черт возьми, существует! А посему не согласитесь ли вы, господин Циолковский, прочитать ваш доклад сегодня же? А? Как ваше мнение?

Циолковский пробормотал в ответ, что доклад у него написан еще в Калуге и прочитать его можно в любой момент, только вот побаливает горло, и может не хватить голоса...

— А мы попросим прочитать за вас вашего друга, господина... господина... («Каннинга», — подсказал Рынин.) Господина Каннинга. Как с помещением, Николай Алексеевич, найдется у вас в институте место сегодня для доклада господина Циолковского? — отнесся Кованько к Рынину. Тот ответил, что свободную аудиторию всегда найти можно, но лучше, если Константин Эдуардович выступит здесь, в лаборатории, где находятся его модели. Мест для сидения, правда, маловато, но вряд ли придет много народа. О докладе объявим тотчас, как только соберутся делегаты.

Циолковский согласился, и Кованько с довольным видом козырнул, расправив пышные бакенбарды, и сделал было шаг, чтобы удалиться, но вдруг остановился и сказал, обращаясь к гостям, что если у них есть обеденные колокольчики («желательно старинные, оригинальной формы»), он был бы рад приобрести. «Коллекционирую-с». Ему ответили, что ни в доме Константина Эдуардовича, ни у Павла Павловича обеденными колокольчиками не пользуются. Генерал снова козырнул и удалился, тяжело дыша и оглаживая великолепные бакенбарды.

Циолковский растерянно посмотрел на улыбающегося Рынина, сказал, что замечание генерала насчет молнии, которая «должна притянуться» к аэронату, выглядит странно. Ведь замкнутая проводящая оболочка образует то, что в физике называется клеткой Фарадея, и потому...

— А вы не обращайте внимания, — невозмутимо откликнулся Рынин. — Генерал Кованько — человек неплохой, безусловно честный и делу своему преданный. К тому же обладает незаурядной личной храбростью (в Маньчжурии, под Вафаньгоу, в девятьсот четвертом году фотографировал с привязного шара японские пози-

нии, японцы открыли по нему ураганный огонь, а он не спустился, пока не закончил работу). Но на всякую старуху, как говорится... Председательствуя, например, в комиссии по парашютам, заявил, что парашют вообще нереален. При рывке в момент раскрытия у летчика-де оторвутся ноги. Изобретатель Котельников возразил, сказал, что многие уже прыгали, а ноги у них целы! Так что не расстраивайтесь и пользуйтесь подвернувшимся случаем. Если бы не инцидент с «Новым временем», то, может, и совсем не удалось бы поставить ваш доклад. Повестка перегружена сверх всякой меры, и аэростаты на съезде — бедные родственники. Заметил я вчера, — продолжал Рынин, — ваше огорчение в связи с докладом Жуковского. И опять скажу, не принимайте близко к сердцу. Николай Егорович ценит вас. Он говорил мне об этом не раз. Но мысли у него, как и у всех здесь (Рынин показал на институтские стены), целиком поглощены аэропланами. Да зачем я все это вам говорю! Вы отлично сами знаете... Увидимся через несколько часов...

И Рынин протянул Циолковскому и Каннингу свою сильную и тяжелую, тщательно ухоженную руку.

8. ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ СТРАНИЦ

Слушателей собралось еще меньше, чем предвидел Рынин. Пришли несколько офицеров (как оказалось потом, из воздухоплавательной школы генерала Кованько), историк воздушного транспорта Родных, конструкторы Голубев и Сухоржевский (строители дирижабля «Альбатрос») и еще два-три человека, неизвестных даже историку Родных. Ждали Жуковского. Пришел Рынин и сказал, что Николай Егорович просил извинить, неотложные дела помешали ему прийти, и он выскажет докладчику свои соображения несколько позднее при личной встрече.

Каннинг почувствовал тяжесть в сердце. Обида за друга опять, как и вчера, ранила душу. Какие дела могли задержать профессора Жуковского? Как мог он, признанный глава русского летательного дела, не прийти на доклад Циолковского? Да разве есть дело, которое на съезде русских воздухоплавателей было бы важ-

нее, чем этот доклад, посвященный самой великой идее, когда-либо высказанной в истории воздушного транспорта!

Не успел он закончить эти размышления, как за дверью послышался некий гул, и Каннингу показалось, что на губах у Рынина мелькнула хитроватая улыбка. Открылись двери, и в комнату ворвалась стайка молодых людей в студенческих тужурках. Предводительствовал ими стриженный бобриком крепыш спортивного вида. Они быстро заполнили лабораторию, рассевшись на подоконниках, на столах и даже прямо на полу. Очевидно, это были члены институтского воздухоплавательного кружка, и тотчас после этого Рынин открыл заседание, представив Циолковского собравшимся.

— Ввиду легкой горловой простуды у докладчика, — сказал Рынин, — доклад будет прочитан Павлом Павловичем Каннингом. Пожалуйста, Павел Павлович...

Итак, он слушал свой собственный доклад, и даже если звуки голоса Каннинга не всегда достигали его слуха, он знал наизусть каждую строку, каждое слово, каждую запятую. «Неужели, — думал он, — те, кто сидят сейчас здесь, эти офицеры, столько раз паривште в утлой корзине, подвешенной к ненадежному баллону, и эти конструкторы, из рук которых выходили хрупкие, ломавшиеся, горевшие, калечившие людей русские дирижабли, — неужели они не оценят замысла, который в корне изменит все?»

Свою жизнь он считал отданной этому замыслу, как и другому, который был не менее, а может быть, еще более важен. Металлический аэронат и межпланетная ракета. Одно логически связано с другим. Полет за пределы атмосферы возможен лишь после того, как человек станет хозяином воздушного океана Земли.

Когда в первый раз мелькнула у него догадка о металлическом аэронате?

Давно, так давно, что трудно было даже вернуться мысленно к ее истокам. Может быть, это случилось в те золотые дни далекого детства, когда добрые руки матери — ему минуло тогда семь лет — ловко и споро мастерили из коллодиевой пленки игрушечные воздушные

шарики? Наполненные водородом (помогал его добывать друг семьи, рязанский лекарь Карл Федорович Шенрок), шары весело летали, и один даже вырвался через открытое окно и взмыл в голубое небо! Случайный удар о препятствие, и шары лопались, рождая мысль о необходимости чего-то более твердого, надежного...

Но нет, конечно, не эти детские забавы были настоящим началом, а скорее тот незабываемый летний день в Москве, когда в восемьсот семьдесят четвертом году библиотекарь Федоров, мудрый и ученый старик, научивший своего питомца мыслить и творить, дал ему книжку молодого французского писателя, только начинавшего тогда свой путь в литературе. Название романа было «Воздушное путешествие через Африку», а имя сочинителя в русском переводе было обозначено так: Юлий Верне. Разумеется, столь странное начертание было обязано малой известности автора и неопытности переводчика. В дальнейшем автор увлекательных и удивительных романов прославился в России, как и во всем мире, под своим настоящим именем: Жюль Верн.

«Воздушное путешествие через Африку» — это было действительно ново и действительно захватывающе! Герой романа доктор Самуил Фергюсон выступил в Лондонском географическом обществе с планом перелета через Африку на воздушном шаре. «Поверьте мне, — убеждал своих слушателей доктор Фергюсон (вот так же точно действовал сейчас и он сам, Циолковский), — поверьте, что с шаром «Виктория» все трудности будут преодолены. Гора, пропасть или река — перелетаю через них как птица. Переношусь с места на место, не утомляясь, парю над неизвестными городами, лечу с быстротой урагана, и африканская карта развертывается перед моими глазами в великом атласе мира!»

Замечательно остроумным — это отметил тогда же шестнадцатилетний Костя Циолковский — был предложенный доктором Фергюсоном (то есть Жюлем Верном) способ искусственного подогрева газа в баллоне. То был, по существу, принцип, который использовали еще за сто лет до Фергюсона братья Монгольфье в первых шарах с подвешенной жаровней. Нововременец Меньшиков с его глупейшей статьей, сам того не ведая,

не так уж, в конце концов, отошел от истины, когда вспомнил о монгольфьерах! Доктор Фергюсон усовершенствовал этот принцип. Грелкой для «Виктории» служила электрическая печь без огня и пламени, где тепло выделялось при разложении воды электрическим током. Регулируя температуру, а значит, и давление внутри оболочки, путешественники могли поднимать и опускать свой корабль, не расходуя газа и балласта. А ведь необходимость тратить газ и балласт всегда ограничивала продолжительность и маневренность полета. Идея Фергюсона — Верна — была гениальной, но нерешенными оставались две проблемы. Любопытно, что уже тогда, шестнадцатилетним мальчишкой в Москве, он думал об этих проблемах и искал их решения. Он размышлял о двигателе, с помощью которого аэростат — игрушка ветров — превратился бы в воздушный корабль, летящий по воле человека. Двигателя как раз и не хватало шару доктора Фергюсона. И еще: хрупкость надутой водородом оболочки, опасность ее разрыва и, главное, вспышки газа (особенно когда работает двигатель) — все это делало и делает плавание по воздуху чем-то вроде путешествия на маленьком летучем вулкане! Катастрофы, о которых напомнил Циолковскому два дня назад Рынин, катастрофы, от которых погибал рано или поздно каждый дирижабль, говорили сами за себя.

Тут было над чем призадуматься, и еще в Москве (он вспомнил, как заблистали проницательные, всегда немного усталые глаза библиотекаря Федорова, когда он поделился с ним этой мыслью) возник ответ на задачу. Нет смысла строить корабли легче воздуха иначе, как с предельно прочной, абсолютно непроницаемой для газа и несгораемой металлической оболочкой. Такой воздушный аппарат будет застрахован и от огня, и от потерь подъемной силы — он сможет долго и безопасно реять в воздухе. Как не пришла в голову эта мысль доктору Самуилу Фергюсону! Горизонтальную скорость металлическому аэростату сообщит, конечно, машина. Сопротивление воздуха, безусловно, потребует удлиненной, заостренной формы оболочки. Какую толщину придется для нее взять? Эту задачу, помнится, не откладывая, он принялся решать, уединившись в своей жалкой московской каморке (прачка сдавала ему в наем

угол в одном из кишащих беднотой домов в Лефортове). Выводы получались убедительные. Так как подъемная сила аэростата, как и объем, растет в третьей, а поверхность оболочки во второй степени от линейных размеров, то нечего и думать о постройке малых металлических аэронатов. (Термин «аэронат» он придумал тогда же, и Федоров одобрил это словесное новшество.) Такой аэронат не смог бы поднять и веса собственной оболочки. Железному шару поперечником, скажем, в десять метров пришлось бы придать толщину не более сотой миллиметра. Выковать и надуть газом столь тонкую металлическую пленку — затея несбыточная. Но уже для корабля длиной в двести и высотой в двадцать метров годилась бы железная оболочка толщиной в несколько миллиметров. Построить ее, несомненно, возможно. И дальше прямо выходило из вычислений, что стосаженный железный корабль-гигант смог бы поднять в воздух не только собственный вес, но и несколько тысяч пудов полезного груза...

Сколько лет прошло с тех пор, как он всерьез углубился в эту идею? Тридцать? Не меньше. Учительская служба в Боровске, семейная жизнь — все это было тогда в самом начале. Он приходил, измотанный уроками, домой, съедал кое-как обед и валился без сил на койку. Пролежав час или два, вставал и весь вечер и половину ночи отдавал опытам и вычислениям аэроната. Так продолжалось год, и два, и три, и вот весной восемьдесят седьмого года то, над чем бился он все эти долгие дни и ночи, находилось в его руках, спрессованное в трехстах пятидесяти страницах, которые (так он надеялся) изменят мир. Вопросы были поставлены, и ответы на них даны. Как сделать, например, так, чтобы металлическая оболочка могла свободно раздуваться и съеживаться при колебаниях давления не меньше, чем матерчатый пузырь аэростата? Решение найдено — металлические бока гигантского веретена должны быть волнистыми, гофрированными, похожими на воротник дамы-модницы или на складки мехов баяна! Дно и крыша корабля — из гибких металлических листов. То же для кормы и носа. Все соединяется шарнирами, герметически спрятанными в металлические трубы. Стальной исполин после этого

может парить в воздухе, свободно меняя свой объем. Он как бы дышит, чутко откликаясь на подогрев или охлаждение газа. А сам подогрев? Удобнее всего использовать для этой цели выхлопные газы двигателя, пропуская их по трубам внутрь корпуса. Что же касается газа, которым наполняется оболочка, он может быть пущен в ход в качестве топлива. Водород и светильный газ горят. Об этом не уставал напоминать мартиролог жертв воздуха. И то, что прежде было угрозой, теперь могло стать благодеянием. Запасов газа в объеме крупного аэроната, как нетрудно было подсчитать, хватит для всех нужд. Убыль подъемной силы по мере расходования газа будет компенсирована подогревом. Идея доктора Фергюсона постепенно облекалась в плоть и кровь! Триста пятьдесят страниц были испещрены чертежами, схемами, формулами... Он помнил, как, прижав к груди толстую связку рукописи, прижав крепче, чем мать своего ребенка, повез свое детище в первопрестольную.

Был апрель. (Теперь, за этими окнами, выходящими на Забалканский, тоже апрель, холодный, петербургский, безжалостный.) Столетов, русский физик с мировым именем, гордость университета и совесть ученой Москвы, смотрел внимательно на стоявшего перед ним с толстой связкой бумаг, прижатой к груди, бледного уездного учителя. Взял рукопись, попросил зайти через день. И не успела миновать неделя, как был созван физический отдел Общества любителей естествознания, и господина Циолковского попросили взойти на кафедру и резюмировать свой проект... Как давно и как недавно это было! Закрыв глаза, он видел перед собой ту комнату в Политехническом музее на Лубянке, и стол, на котором разложил он тогда свои выкладки и чертежи (стол, похожий удивительно на тот, перед которым расположился сейчас с таблицами и чертежами Павел Павлович Каннинг). Спокойный взгляд Столетова поддерживал и ободрял, и слышно было даже его глуховатое покашливание, и реплики Михельсона, и густой профессорский бас Боргмана. Высказываясь об аэронате, они неприметно, словно бы невзначай, подходили близко к нему, Циолковскому, чтобы он мог разобрать каждое их слово, и общий голос был таков, что теоретически все правильно, а практически надо проверять

в эксперименте. Проверять, и снова проверять! И сказано было еще, что нет пока на свете такого двигателя, который при необходимой мощности имел бы достаточно легкий вес, ну, скажем, десять килограммов на одну лошадиную силу (хотя моторы Дизеля уже открывают в этом отношении обещающий путь). И требуются опыты над сопротивлением воздуха, которое при движении столь огромной махины может стать серьезной помехой. «Удобнее всего, — сказал Столетов, — если бы господин Циолковский переехал с семьей в Москву. Общество любителей могло бы помочь ему найти приют и заработок. А профессор Жуковский, наш лучший специалист по динамике жидкостей и газов, без сомнения охотно предоставил бы для опытов мастерские в учебном заведении, где он преподает».

Он вернулся тогда, окрыленный, в Боровск и увидел Варвару Евграфовну, плачущую на пепелище с детьми, испуганно вцепившимися в юбку матери. Сгорел их дом, все сгорело, все — книги, рукописи, бесценные итоги многих лет труда и жизни. Как нашел он тогда в себе силы начать все сызнова (но не нашел сил переехать в Москву), как решился возобновить опыты (теперь уже в Калуге), отказывая себе во всем: в одежде, в отдыхе, в хлебе? Помогли калужские друзья — Ассонов, Назаров, Каннинг, милый Каннинг, отирающий сейчас пот со лба, одолевая страницу за страницей в этой петербургской комнате... Тридцать лет! И вот что самое важное, самое удивительное во всей этой тридцатилетней истории. То, о чем беспокоились московские любители естествознания в апреле восемьсот восемьдесят седьмого года, перестало быть проблемой теперь, в апреле девятьсот четырнадцатого. Маленькая смешная воздуходувка, построенная им в Калуге, проложила путь большим трубам. Опыт решил вопрос о сопротивлении воздуха. Опасения, тревожившие тридцать лет назад, оказались напрасными. Металлический воздушный гигант длиной даже с океанский пароход — триста метров — мог бы помчать тысячу пассажиров со скоростью не меньше ста километров в час. И для этого понадобились бы двигатели мощностью, не превосходящей несколько тысяч лошадиных сил. Трудность, связанная с весом двигателей, решилась теперь так блестяще, как

не могли и мечтать самые пылкие оптимисты в апреле восемьдесят седьмого года. Не десять, не пять и даже не три, а немногим более килограмма на лошадиную силу весили лучшие современные моторы внутреннего сгорания. Новые твердые и прочные сплавы алюминия — в три раза легче стали — сами просились стать материалом для оболочки воздушных кораблей.

Но ни один металлический дирижабль системы Циолковского не был построен.

Он не хотел сейчас копаться в причинах. (Рынин в воскресенье на Коломенской так ясно перечислил некоторые из них.) Все словно бы сговорилось против него. Московские профессора, ласково принявшие его в те памятные дни восемьдесят седьмого года, не имели ни власти, ни влияния, чтобы помочь довести до конца заветный план. Столетов умер рано. Менделеев, друг и советчик русских пионеров воздуха, сошел в могилу, не дожив до решающих успехов летания. Дело русского дирижаблестроения завязло безнадежно в трясине седьмого отдела, вотчине господина Федорова (еще один Федоров, вошедший в его жизнь, но вошедший не так, как московский книголюб в далекие годы юности). Пятнадцатого января девяносто третьего года — генерал Кованько напомнил об этом сегодня утром — устроен был в первый раз суд над металлическим аэронатом Циолковского. Шемякин суд! Отвесив несколько кислых комплиментов по адресу изобретателя, похоронили его идею. Долго пытался он потом прошибить бумажные бастионы седьмого отдела (и главного инженерного управления, и воздухоплавательного парка, и министерства финансов, и бог его знает каких еще столичных канцелярий). Но металлический дирижабль не сдвинулся с места. Ценою жертв и лишений строились модели. Все пошло в ход — картонные и матерчатые ленты, обрезки латуни, куски жести. Удалось наконец создать образцы целиком из металла в два метра длиной, совсем уже приближающиеся очертаниями и конструкцией к подлинному аэронату.

Они были разложены сейчас аккуратно, эти образцы, на стульях позади стола, у которого, отирая пот со лба, действовал Каннинг.

9. ЖИТЬ БЕСПЕЧАЛЬНО

Пора было прислушаться к тому, что он говорил. Доклад шел к концу. Павел Павлович перечислял последствия, которые будет иметь плавание по воздуху в больших металлических кораблях для общества, для жизни и счастья людей.

«Что принесут людям большие металлические аэронаты?» — читал Каннинг, и голос его срывался и звенел не то от усталости, не то от волнения и гордости за те слова и мысли, которые он произносил вслух. Иногда на мгновение он запинался, словно бы останавливаемый какой-то внутренней мыслью.

«Не будет человека, который прямо или косвенно не получил бы выгоды от аэроната — там он продал товар, здесь купил привезенный аэронатом хлеб или другой необходимый предмет. Множество бедняков, благодаря дешевизне и удобству сообщения, найдут заработок или переселятся... Стоимость проезда будет в десять-двадцать раз дешевле, чем на железных дорогах и пароходах — не выше десятой доли копейки с человека за версту. То есть кругосветное путешествие обойдется не дороже 40 рублей, путь от нас до экватора — 5 рублей, от Москвы до Петербурга — 50 копеек...»

(Как сильна у него эта жажда странствий, жажда вольного, бескрайнего полета, у него, запертого жизнью в тесном пространстве — от Рязани до Калуги, от Коровинского спуска до речки Яченки!)

«Вы летите, расположившись в удобных креслах, с вашими друзьями и близкими в светлой прекрасной каюте, вы прильнули к окну аэроната. Вдали тянутся голубые ленты рек, сверкают — как волшебные — отдаленные города и селения. Закрытые голубоватой дымкой, они полны таинственной прелести...

Грузы можно будет сплавлять по ветру, как сплавляют сейчас древесину по рекам, в сотни раз дешевле, чем по воде и суше...

Все уголки земли станут доступными, будут заселены, изучены, использованы. Какие богатства они дадут, и как все это изменит жизнь, трудно даже вообразить себе!»

(Когда в Калуге, давно, очень давно, говорил он парню с Полотняного завода Мите Разломалину, что аэронат — естественный союзник революции, разве не было это зародышем тех самых мыслей, которые так сильно, так трогательно развиты им сейчас в этом докладе?)

«Ремесленники получат дешевые жизненные припасы, необходимые материалы и орудия и найдут выгодный сбыт своим произведениям...

Безземельные переселятся на свободные прекрасные земли и не останутся там одинокими и беспомощными благодаря постоянно прилетающим бесчисленным воздушным кораблям...

Фабрики найдут всюду рынки для счастливого сбыта своих товаров. Усилится деятельность металлических заводов, фабрик и мастерских, возникнет множество новых, так как для аэронатов понадобится масса металлов, водорода, моторов и разнообразных принадлежностей...

Деятельность всего мира настолько возрастет, что безработных не будет, и заработная плата возвысится и доставит трудящимся действительно человеческое существование...»

(Если б могли это слышать те, кто бастует сейчас у Нобеля и Лесснера, кто остановил вагоны паровика на Шлиссельбургском, кто бьется как рыба об лед, чтобы прокормить детей, кого избивают шашками и прикладами на Знаменской площади!)

«Беспомощным, больным, старым от обилия человеческого производства достанется справедливая и щедрая пенсия...

Всякого рода служащие и общественные деятели получат высшую оценку своих трудов и будут жить беспечально. Ученые, путешественники, проповедники истины удовлетворят своим стремлениям...»

(«Ученые», «общественные деятели», «проповедники истины»... Да ведь это о самом себе он говорит, о себе, *никогда* не получавшем подлинной оценки, *никогда* не жившем беспечально, *никогда* не достигавшем своих стремлений!)

«Распространятся знания теоретические и практические, расширятся умственные горизонты, производительность труда станет небывалой.

Человечество приобретет новый всемирный океан, дарованный ему как бы нарочно, чтобы связать людей в одно целое, в одну братскую семью».

Голос Каннинга пресекся. Он сложил листы доклада в папку, попытался завязать тесемку, но пальцы его не слушались. Уступив место за столом Циолковскому, он скромно примостился в сторонке.

Воцарилось молчание. Некоторые из слушателей иронически переглянулись. Другие откровенно насмешливо улыбались. Третьи с преувеличенным вниманием поправляли галстуки и запонки.

Молчание продолжалось еще секунду. Вдруг все взорвалось. Аплодировали студенты. Сильнее всех отбивал ладоши спортивного вида крепыш. Бобрик на его голове воинственно топорщился, он яростно шептал что-то своему соседу, худощавому юноше с тонкой шеей, выглядывавшей из чересчур просторного для нее крахмального воротничка. Рынин постучал карандашом о край стола.

— Ну что же, господа, не угодно ли задать Константину Эдуардовичу вопросы по существу его проекта? Или, может быть, попросим сначала автора показать нам свои модели, чтобы легче было судить о конструкции. Возражений нет? Константин Эдуардович, пожалуйста...

Сгрудившись вокруг разложенных на стульях плоских, напоминающих большую рыбу, фигур из белой жести, студенты (кроме них можно было заметить лишь двух-трех делегатов съезда) следили внимательно за манипуляциями Павла Павловича. Раздуваемые велосипедным насосом плоские жестяные фигуры постепенно округлялись и принимали нужную форму. Обращаясь к присутствующим, Циолковский пояснил, что при длине продольной оси приблизительно два метра модель весит около десяти килограммов, но этот вес увеличен более чем в два раза по сравнению с тем, который следовал бы из принципа подобия. Подобие пришлось нарушить для удобства демонстрации. Сочленения и швы сделаны более массивными. Иначе давление воздуха при накачивании разорвало бы жестяную сигару...

— А позвольте вас спросить, господин Циолковский?

(Говорил офицер воздухоплавательной школы. Рынин сказал что-то вполголоса спрашивающему, и тот продолжал более громко и отчетливо.) Как именно, то есть, я хочу сказать, с помощью каких технических средств вы придаете волнистую форму боковым листам вашей жестяной модели?

— А очень просто, — отвечал Циолковский, — с помощью небольшой машинки или, лучше сказать, вальцов для гофрировки дамских воротников. Покажите, Павел Павлович, господину офицеру...

И Каннинг продемонстрировал вопрошавшему вальцы для гофрировки дамских воротников и их действие на плоские листы белой жести.

Офицер переглянулся со своим коллегой-подпоручиком и, учтиво поблагодарив, вышел вместе с ним из комнаты. Оставшиеся могли услышать постепенно затихавший звон шпор и взрывы смеха.

Делового вида господин с небрежно повязанным галстуком представился как уполномоченный авиационной фирмы «Анатра» в Киеве и спросил, сколько примерно денег нужно, чтобы довести до конца постройку и испытание одного аэроната, скажем, на пятьдесят пассажиров? — Около двухсот тысяч рублей, — отвечал Циолковский и добавил: — Лессепсу дали миллионы, когда он просил помочь ему в его предприятиях. — А какой суммой вы располагаете? — продолжал представитель. — Газета «Русское слово» объявила сбор пожертвований на мой аэронат, — последовал ответ. — Набралось что-то около четырехсот двадцати рублей с копейками, но сумму эту, говорят, придется пустить в погашение расходов на хранение этой самой суммы.

Представитель пожал плечами и отошел.

Студент-крепыш, все время порывавшийся встать с места и удерживаемый своим худощавым товарищем (они отчаянно перешептывались, доказывая что-то друг другу), покрылся от волнения красными пятнами и поднял руку для вопроса.

— Вот вы сказали, — начал он, — что дирижабли изменят жизнь, принесут людям счастье... Ну, одним словом, возникнут новые отношения, новые, что ли, формы общества. Так?

— Да, так сказано в докладе, — отозвался Циолковский.

— А не кажется ли вам, что последовательность тут будет как раз обратная. Сначала понадобится изменить формы жизни, уничтожить несправедливость, а уже потом начнут летать ваши аэронаты, неся людям счастье?

Циолковский молчал. Аудитория замерла. Канниниг с восторгом смотрел на крепыша, взволнованно дышавшего, словно он только что втащил тяжелую ношу. Прервал молчание Рынин. Тонко улыбаясь, он обвел глазами присутствующих и, отнесясь к студенту, произнес:

— Я так понимаю, господин Мулюкин, что ваш вопрос не носит технического характера, а затрагивает более общую философскую тему. Молчание же Константина Эдуардовича я толкую в том смысле, что принципиально он не возражает против вашей постановки вопроса, но... но ввиду ее широты (выходящей за рамки данного заседания) предпочитает отложить дискуссию.

И под общий смех объявил заседание секции аэростатов третьего всероссийского воздухоплавательного съезда закрытым.

Студенты расходились.

Рынин спросил, намерен ли Константин Эдуардович участвовать в завтрашней экскурсии в Царское Село и Павловск. Предполагается осмотр аэрологической обсерватории и эллинга для дирижабля «Альбатрос». Тот не успел ответить. Дверь распахнулась, и быстрыми шагами в комнату вошел Жуковский.

10. ПРИДЕТ СЧАСТЬЕ

Он ждал этой встречи много лет, ждал, как ждут решения надолго затянувшегося, прошедшего через все инстанции, запутанного дела. Жуковский протянул ему обе руки, сказал, что очень хотел присутствовать на его докладе, но помешал вызов к великому князю. — Августейший шеф русской авиации интересуется подробностями банкета, который будет устроен по окончании съезда, — насмешливо сказал Жуковский. — И я, как председатель, срочно понадобился, чтобы получить важнейшие на сей счет инструкции... Но перейдем к метал-

лическому дирижаблю, — продолжал Жуковский, и лицо его приняло серьезное, сосредоточенное выражение. Такое выражение бывает у врача, вынужденного сказать больному что-то для него неприятное, отметил про себя Каннинг. И правда, профессор Жуковский совсем напомнил врача, когда подошел к одной из распластавшихся на стуле жестяных сигар и прикоснулся к ней быстрым, легким, профессионально точным движением.

Они стояли теперь рядом и смотрели прямо в глаза друг другу. Калужский учитель в поношенной одежде с бледным, усталым лицом, казавшимся еще бледнее от черного, прикрывавшего горло фуляра. И грузный московский профессор с густой седеющей гривой и насмешливым взглядом маленьких, умных, слоновьих глаз.

Проведя еще раз пальцем по ребру жестяной фигуры, Жуковский дружелюбно посмотрел на изобретателя:

— Как спаивали листы? Оловом?

— Да. И припоем.

— Это в моделях. А как же будет в натуре? Ведь не выдержит оболочка, расклеится, как самовар у нерадивой хозяйки, забывшей налить воду!

Циолковский ответил, что обдумывал этот вопрос и предлагает в дальнейшем сваривать металлические листы с помощью ацетилена. Для тонкой жести такой способ, конечно, не годится. Не выдержит температуры. Но с оболочкой толщиной в кровельное железо дело должно пойти на лад.

— Все это, Константин Эдуардович, нуждается в проверке, ой как нуждается, и времени, труда и денег понадобится уйма. Ни казна, ни тем более фабриканты на такие расходы нынче не пойдут. Военное ведомство интересуется аэропланами. Не дай бог война с немцами, тогда нужны будут аэропланы... («Я говорил уже об этом Константину Эдуардовичу», — подал голос Рынин.)

— Но ведь немцы строят «цеппелины»?

— И пусть себе строят. «Цеппелин» — хорошая мишень. По ней будут бить артиллерией, решетить пулями с аэропланов...

— Но ведь нельзя же думать только о войне! Разве не бесконечно более важны мирные цели?

— Вряд ли, Константин Эдуардович, вы убедите в этом сегодня кого-нибудь. Вот Николай Алексеевич (Жуковский повернулся к Рынину) скажет вам, какие доклады привлекут наибольшее внимание сегодня и завтра на съезде. Напомните нам, Николай Алексеевич.

Рынин сказал, что во второй половине дня будет сообщение подполковника Гатовского «Борьба с дирижаблями обстрелом с самолета». Затем выступит полковник Львов на тему «Стрельба и бомбометание с аэропланов».

— Борьба с дирижаблями, — подхватил Жуковский. — Да ведь это не в бровь, а в глаз по вашему адресу, Константин Эдуардович! Металлическая оболочка, впрочем, говорит в вашу пользу. Пулей и осколком снаряда ее пробить трудней, да вот беда, времени у России нет, чтобы разработать эту самую непробиваемую оболочку.

Жуковский вынул из жилетного кармана часы, посмотрел, щелкнул золотой крышкой.

— Времени, куда ни кинь, нет. Надо идти. Прошу прощения, господа.

Циолковский растерянно снял очки, снова надел их.

— Николай Егорович, а как же рукопись?

— Какая рукопись?

Циолковский объяснил, что имеет в виду «Сопротивление воздуха и воздухоплавание». Он послал этот труд Жуковскому в девятьсот восьмом году с просьбой помочь напечатать отдельной книгой либо в трудах Общества любителей естествознания. Жуковский ответил, что не получал рукописи, не помнит и не знает. Циолковский взволнованно сказал, что инженер Иван Васильевич Станкевич, повезший пакет с оказией в Москву, лично вручил его Николаю Егоровичу в Высшем техническом училище.

— Лично вручил мне? Хоть убейте, не помню.

Он пристально посмотрел на Циолковского и вдруг понял все. И боль, которую он причинил этому удивительному человеку, и отнятую у него надежду, и безмерную тяжесть этой жизни, и тот неоплатный долг, в котором была перед ним русская наука.

И несколько мгновений он стоял молча, страдая и мучаясь раскаянием и стараясь понять, что́, собственно, произошло с этой несчастной рукописью, о которой так-таки он не имел ни малейшего представления.

Рынин заметил, что, может быть, по рассеянности Николай Егорович заложил куда-нибудь пакет среди книг и бумаг. Может быть, стоит поискать в Москве или в Кучине?

— Поищу. Обязательно поищу. А сейчас должен идти. Николай Алексеевич, вы мне нужны.

И, крепко пожав руку Циолковскому, вышел вместе с Рыниным из комнаты.

«Как же так, столько лет труда, столько сил ушло на писание и переписывание, и пропало, потеряно, исчезло неизвестно куда?» Он прошептал эти слова так тихо, что Каннинг, не расслышав, спросил, пойдут ли они на доклад о бомбометании. Циолковский отрицательно покачал головой, молча стал приводить в порядок разбросанные на стульях и уже потерявшие воздух, съежившиеся модели.

Придя домой, прилег на диван и сказал, что чувствует себя нездоровым и сегодня второй раз в институт не пойдет. Доклады о стрельбе по дирижаблям его не интересуют. Что с ним? Побаливает горло, ничего особенного, обычный ларингит (или, может быть, это называется бронхит?). — Скажите Лидии Георгиевне, что я отлично вижу в зеркале все ее телеграфные знаки, — добавил он усмехаясь. Лидия Георгиевна Каннинг, действительно стоявшая в дверях и подававшая безмолвные команды Павлу Павловичу, смущенно заметила, что если институт сегодня вечером отменяется, то было бы отлично прокатиться по Неве. Она слышала, что с сегодняшнего дня открыто пароходное сообщение. От пристани у Аничкова моста до Елагина острова.

— Вот и великолепно, поезжайте с Павлом Павловичем, а я побуду немного один.

— А обед?

— Не хочу.

И он остался один.

Он думал о том, что напрасно затаил горечь против

Жуковского, что тот, в сущности, не виноват, потеряв его «Сопротивление воздуха». Профессор — занятой человек, обременен делами государственными, наиважнейшими. Не мудрено и голове пойти кругом. Разве у него самого, скромного учителя Циолковского, не бывает таких казусов? Бывает, и еще как. А что касается металлического аэроната, то недооценка объясняется, конечно, той нетерпимостью, которая невольно возникает даже у самых великих гениев, будь они Галилеи или Ньютоны, возникает с возрастом, с почестями, с долгим пребыванием среди ученой касты! Очень правильную мысль, кстати, вычитал он по этому поводу в книге француза Франсе (называется книга «Философия естествознания», и раскопал ее недавно у московского букиниста все тот же вездесущий Каннинг). «Среди ученой иерархии, — пишет француз, — существует традиция высокомерия, и всякого новатора в науке встречают ненавистью и интригами, причем борьба ведется самыми неразборчивыми средствами». Но это все не относится — надо быть справедливым — к Николаю Егоровичу Жуковскому. Уж он-то всегда был добр и внимателен к его, Циолковского, работам, и еще в девяносто первом году помог напечатать статью о летании крыльями, и совсем недавно исхлопотал для него четыреста рублей от Леденцовского общества, и устроил приглашение на киевский съезд (которым, правда, не пришлось воспользоваться), и многое другое.

Нет, он не будет ни в чем винить Жуковского. И не будет обращать внимания на невзгоды, страдания, боль, на все, что он испытал за эти несколько дней в большом, чужом городе. Разве не проповедовал он философское отношение к жизни в своей «Нирване» (и Рынин в первый же день доставил ему радость, процитировав из нее несколько строк)? Он напечатал даже там, в «Нирване», математическую формулу с интегралами и дифференциалами, по которой выходило, что «алгебраическая сумма всех ощущений, положительных и отрицательных, от зачатия до смерти, равна нулю». И резюме всему этому было такое: «Не сокрушайтесь, когда вас постигнет несчастье». Но, кажется, в его жизни эта формула с интегралом счастья и несчастья до сих пор не выполнялась. Интеграл, увы, не был равен нулю! Несчастий, горя было много, так много, что библейский Иов

мог бы позавидовать своей участи по сравнению с ним. Утешительная формула! Но верная ли? Он вспомнил, как старый наборщик Павлов из калужской типографии Семенова, с которым он любил вести долгие беседы, закончив набирать «Нирвану», неодобрительно отозвался о «формуле». Сказал, что она толкает людей к смирению, к непротивлению злу. Толстовская формула! И дети, его собственные дети, тоже отвергли «формулу». Старший, Игнаша, тот первый не поверил в нее, а Люба отнеслась к ней еще непримиримее, еще беспощадней. Высказала прямо в лицо отцу свое негодование, назвала пресловутую формулу «формулой трусости и малодушия». Они поступили по-разному, сын и дочь. (Он вытер набежавшую слезу, вспомнив о сыне, который наложил на себя руки, разочаровавшись в жизни вот в этом холодном, враждебном Питере. Вспомнил дочь Любу и с гордостью представил ее себе в тот летний вечер в позапрошлом году, когда нагрянула полиция, и перевернула все вверх дном в их доме, и увела социал-демократку Любовь Циолковскую, спокойную, сильную, смеявшуюся в лицо арестовавшим ее шпикам.) Нет, бог с ней, с формулой и ее интегралами и дифференциалами. Он готов отказаться от нее. Счастье должно победить несчастье. Он обязан написать об этом, и пусть старый наборщик Павлов, набирая текст, разделит с ним радость этого открытия.

Встал поспешно с дивана и, подсев к столику, торопливо набросал то первое, что вспыхнуло в сознании:

«Материя содержит бессмертную сущность, никогда не умирающую, распространенную по всей бездне вселенной. Где только нет жизни! Проявляется она сначала на планетах робко, в несовершенных, несознательных формах, но растет и ширится, достигая совершенства. На Земле она еще не достигла полного расцвета. Зло еще одолевает земной мир. Ложь, зависть, гордость, глупость, незнание, болезни, смерть еще владычествуют над людьми. Но настанут, наконец, красота, здоровье, мир, любовь и бессмертие. Хорошо будет на Земле! Забудет человечество про былые страдания, возникшие на заре его жизни. Были они, продолжались десятки лет, но чтó это значит в сравнении с биллионами лет блаженства!»

Остановился и долго размышлял, прежде чем опять взяться за карандаш.

«Что было и будет на Земле, то совершалось и будет совершаться на других бесчисленных планетах — короткий момент страдальческого развития и бесконечный период довольства и бессмертия. Полетим на планеты, перенесемся через дециллионы их. На немногих заметим период зарождения, период мук. Громадное большинство достигло своего совершенства. Только на очень немногих, только что зародившихся, по неразумию, по несовершенству, те, кто там живут, жалуются на жизнь. Неразумные существа! Потерпите немного — придет разум и счастье на долгие времена»...

Почувствовал себя бесконечно усталым, прилег на диван и быстро заснул.

11. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Утром в четверг десятого апреля, проснувшись рано, почувствовал слабость и головную боль. Лидия Георгиевна уговорила поставить градусник. Температура была нормальная. Ничего страшного. Посовещавшись, решили все-таки отказаться от поездки в Павловск. Канниг принес газеты, стал читать вслух. Может быть, кто-нибудь из корреспондентов хоть двумя строчками упомянул о вчерашнем докладе Константина Эдуардовича? Напрасные надежды. О съезде сообщалось мало. «Новое время» поместило беседу с «августейшим покровителем воздушного дела». «Покровитель» утверждал, что ближайшая война будет войной в воздухе и что «мы будем свидетелями воздушных боев», причем побеждать будут не столько аппараты, сколько «авиаторы, движимые истинно русским духом». Фельетонист из «Петербургского листка», со своей стороны, предлагал ввести истинно русский дух в воздушную терминологию. Слово «стабилизатор» заменить «уравнителем», «ангар» — «сараем», «шасси» — «тележкой». «Это будет, — пояснил фельетонист, — понятию простому народу, который может тоже заинтересоваться авиацией». Под заграничной рубрикой газеты печатали известие о визите английского министра Эдуарда Грея в Париж и о том, с каким раз-

дражением встречен этот визит в Берлине. Павел Павлович, слывший в Калуге записным стратегом и политиком, хотел было прокомментировать это сообщение, но за него это сделала уже «Газета-Копейка». «Мы не раз предупреждали Германию», — писал передовик «Копейки». О чем он предупреждал, решили не читать и перешли к внутренним известиям. Забастовки на петербургских заводах не прекращались. «В ночь на девятое, — читал Каннинг, — по приказу градоначальника Драчевского произведены новые обыски в разных частях столицы. За агитацию среди рабочих, пение революционных песен и проч. подвергнуты аресту 102 лица. Среди них студенты университета Крусер, Попов, Ананьев, студент Политехнического института Толмачев и другие...»

О Толмачеве, помнится, упоминал кто-то в коридорах съезда как о талантливом молодом человеке, помогавшем в лабораторных работах над аэропланом Сикорского.

— Он социал-демократ, этот Толмачев? — как бы невзначай бросил вопросительную реплику Константин Эдуардович, и Каннинг, переглянувшись с Лидией Георгиевной, ответил: — Да, тут написано: социал-демократ, большевик.

Было ясно далее, что Толмачев и его товарищи нагнали порядочного страха на градоначальника Драчевского, так как тут же рядом следовало грозное предупреждение, что новые попытки учинения беспорядков в столице будут пресечены со всею строгостью закона.

Фемида градоначальника Драчевского, по-видимому, была слепа на один глаз, ибо по делу «охтинской богородицы» Дарьи Смирновой (содержавшей дом терпимости) градоначальник, по сведениям газет, ограничился переселением «богородицы» из столицы в ближайшие окрестности...

Чтение продолжалось еще некоторое время и закончилось, когда Павел Павлович дошел до хроникерской заметки, озаглавленной «Борьба с возрастающими самоубийствами». Там говорилось о проекте создания «Дома благовещения», цель коего — «утешение и спасение несчастных, покушавшихся на свою жизнь». Увидев,

как изменилось лицо Константина Эдуардовича, Лидия Георгиевна энергичным жестом остановила мужа, и тот, поперхнувшись, перешел на вопрос о погоде.

Погода, судя по солнечным бликам на полу и теплому воздуху, вливавшемуся через открытую форточку, опять была восхитительной. Петербург оправдывал свою репутацию непостоянства, и Лидия Георгиевна выразила сожаление, что Константин Эдуардович не может насладиться прогулкой по городу, красивейшему в мире. К удивлению обоих супругов, Циолковский ответил, что чувствует себя лучше и именно сейчас не прочь посмотреть на Неву. Как к ней добраться? «О, конечно, на извозчике! — воскликнула Лидия Георгиевна. — Это будет прелестная прогулка!» Но Константин Эдуардович сказал, что незачем тратиться на извозчика, когда можно пешком, тем более что расстояние, очевидно, невелико. «Ровно три версты по Невскому от Знаменья до Адмиралтейства, — уточнил Каннинг, — плюс шагов триста до набережной». Циолковский заметил, что от Ясель и Коровинской до бора в Калуге тоже кусок порядочный, а три версты — полчаса ходьбы, не больше.

— Площадь перед дворцом — это там, у Невы? — внезапно спросил Циолковский и, получив утвердительный ответ, поспешно стал одеваться, вложив, к удивлению Каннинга, во внутренний карман сюртука какой-то тщательно сложенный лист бумаги.

Спустя несколько минут они шли по Невскому, дивясь роскоши магазинных витрин, густоте толпы, запрудившей четную, солнечную сторону, ярко начищенным бляхам дворников, огромным раскрашенным рекламам кинематографа «Паризиана».

«Паризиана» помещалась не доходя Литейного. Еще дальше, через дорогу, была биржа «красных шапок» — посыльных, за два двугривенных бравшихся доставить любой пакет или письмо в черте городских трамвайных линий. Перешли Аничков мост, полюбовались конями Клодта (по рассеянности не замеченными Константином Эдуардовичем в первую поездку в путейский институт). Потом были «жемчужный чудо-экран» «Пиккадилли», магазин Елисеева и — напротив магазина — Екатерининский сквер и полукружие Публичной библиотеки. «Зна-

менитая Публичка», — заметил Каннинг. Циолковский остановился, сказал:

— Федоров Николай Федорович когда-то в Москве говорил об этом здании, показывал гравюру, изображающую вот этот самый фасад. Миллионы книг. И мои тоже?..

— А как же! — энергично поддержал Каннинг. — Обязательный экземпляр каждого издания, выходящего в империи, по закону положено посылать сюда.

— Я не знал об этом, — с виноватой улыбкой сказал Циолковский, — и отправлял аккуратно в Публичную библиотеку каждую мою брошюру. Не стоило тратиться на марки!

— Не жалейте об этом, — откликнулся Каннинг. — Чем больше экземпляров будет здесь (он показал на полукруглый фасад), тем надежнее они сохранятся для потомства!

И они пошли дальше.

Напротив Казанского собора, чуть подальше швейных машин Зингера («Точная уменьшенная копия небоскреба в Нью-Йорке, там тридцать этажей, здесь восемь», — тоном гида отбарабанил Каннинг), в огромных окнах первого этажа увидели шахматистов, уткнувшихся в доски. «Знаменитый ресторан «Доминик», место встречи любителей шахмат, — тотчас пояснил Каннинг. — Здесь игрывал Чигорин, а нынче новая восходящая звезда — Алехин».

Дошли до конца Невского, увидели площадь со вознесенным на двадцать сажен ввысь ангелом. Павел Павлович принялся было излагать историю колонны, но заметил отсутствующий взгляд Циолковского.

— Да вы не слушаете, Константин Эдуардович!

Лидия Георгиевна в этот момент созерцала четырехэтажный изящный дом пушкинских времен на нечетной стороне Невского с остекленным «фонарем», выступающим впереди фасада. — Какой чудесный вид должен быть оттуда на Невский и на площадь с дворцом! Как счастливы, наверное, те, кто там живет, — мечтательно произнесла Лидия Георгиевна, а Каннинг незамедлительно полез в карман и извлек портативный, но довольно объемистый том в красном переплете. «Самый полный справочник по Санкт-Петербургу, — пояснил

он. — Сейчас посмотрим, посмотрим... Невский, дом три... Так, так... «Особняк, принадлежавший одно время семье Шишмаревых и миллионера Яковлева. Построен в 1784, обновлен в 1841 известным архитектором Горностаевым...» Вы что-то хотите сказать, Константин Эдуардович? — остановился он, заметив нетерпеливый жест Циолковского.

— Вот что, друзья мои, вы погуляйте некоторое время, пока я займусь моим делом. (Он потрогал боковой карман сюртука.)

— Каким делом? Куда вы хотите идти?

— Где-то вот здесь. (Циолковский показал на выкрашенное в цвет запекшейся крови здание, рядом с которым они находились.)

— Как! В Главный штаб? Зачем?

— Не в Главный штаб, а где-то рядом. На площади, в одном из крыльев этого дома, я выяснил, находится министерство финансов.

— Зачем вам министерство финансов?

— Попрошу субсидию на опыты с металлическим аэронатом. Подам прошение. (Он еще раз ощупал карман сюртука.) Не удалось в военном ведомстве — может быть, удастся в финансовом...

— Да ведь не станут с вами разговаривать! Не пустят. Засмеют.

— Попытка не пытка. В кои-то веки раз попал в столицу, надо использовать все возможности.

— Я пойду с вами. (Каннинг от волнения стал заикаться и выронил шляпу, которую зачем-то снял с головы и судорожно мял в руках.)

— Не надо. Побудьте лучше с супругой, погуляйте, и назначим встречу... ну, скажем, у этого здания с колоннами и шпилем. Что это, кстати?

— Адмиралтейство, — мрачно проговорил Каннинг и с убитым видом смотрел то на Константина Эдуардовича, то на жену. — Давайте выясним хоть, где это ваше министерство находится, — предложил он и, вытащив свой бедекер, принялся перелистывать, шепча: «немыслимо», «невозможно», «ни на что не похоже».

Министерство финансов, как оказалось, занимало часть огромного полукольца по обе стороны от арки с бронзовой колесницей, если стать спиной к дворцу. Вход был с Морской, и, пройдя под аркой, супруги Кан-

нннг оставилн Константина Эдуардовнча, бледного, но с решительным вндом взявшегося за ручку парадной дверн.

Мниут через сорок он подходнл к скамейке в Александровском саду, где ожидали его супругн. (Удивительно, зачем понадобнлось ему скрывать до последней минуты свой план идти в мнинстерство фнинансов? Ответ, на котором сошлнсь в конце концов Павел Павловнч н Лндня Георгневна, гласил: он ие хотел тратнть снлы на споры, зная, что его будут отговаривать!) Вид у Константнна Эдуардовнча был спокойный, даже нроннческий. Ои рассказал, что встречен был дежурным мнннстерскнм чнновнnком корректно, а когда узналн, что он участинк воздухоплавательного съезда, даже прнветливо. Прочнтав прошенне, отвелн сначала в одну канцелярню, потом в другую. Наконец представнлн его очень высокопоставленному лнцу, едва лн не самому товарищу мнннстра. Лнцо звалось Евгеннем Дмнтриевнчем. Это был краснвый стройный джентльмен (Константнн Эдуардовнч так н сказал — «джентльмен»), еще не старый н элегантно одетый, с каштановой выхоленной бородкой. — Евгенnй Дмнтрневнч задал мне несколько вопросов, осведомился, какое жалованье получаю я в Калуге н какие у меня печатиые труды. Далее прочнтал мне иебольшую лекцню о том, как устроен российский государственный бюджет. В заключение вздохнул и, рассматрнвая свон иогтн, сказал: «Нн один рубль нз государственного казиачейства не может быть отпущен помнмо роспнсн доходов н расходов, одобренной на текущий год Государственной думой н утвержденной государем нмператором. И я вынужден просить вас обратнться в воеиное миннстерство, где вы, как я поиял, однако, уже былн». Вежливый господин! Говорил серьезно, как профессор. Столичная штучка. И возразнть было нечего. А результат? — И Цнолковский показал три пальца, сложеииые в снмволическую фнгуру.

Все расхохоталнсь, н больше всех, вытнрая платком выступившие на глазах слезы, сам Константнн Эдуардовнч.

— Ну-с, теперь показывайте, где Нева?

Стоя около бронзовых львов на спуске граннтной

набережной, долго смотрел на противоположную сторону реки — Университет и Академию. Рыкачев, Менделеев, Гершун, русское физико-химическое общество — вот, оказывается, где были они, эти невидимые адресаты, с которыми вел он переписку из далекой Калуги!

И, показав на льва, неожиданно спросил: — Евгений из «Медного всадника» на *этого* садился? — Нет, — отвечал Каннинг, — тот ближе к Исаакию, если хотите, пойдемте, посмотрим.

Циолковский сказал, что немножко устал, пожалуй, лучше пойти домой.

Посмотрели опять на Неву, на совсем почти достроенный новый Дворцовый мост с еще не сведенными, высоко поднятыми в воздух половинками среднего разводного пролета.

Повернув назад к площади, стали свидетелями сцены, надолго запавшей в память. На тротуаре против Зимнего дворца с его штукатуркой все того же цвета запекшейся крови городовой держал за рукав прохожего, по виду кочегара или паровозного машиниста, в рабочей одежде, в кепке, густо посыпанной угольной пылью. — Как смеешь здесь ходить, не знаешь разве, что тут можно только чистой публике! Марш отсюда, да поживей!

Циолковский видел, как с насмешливой улыбкой отвел свою руку кочегар и что-то сказал городовому, от чего тот побагровел и поднес было свисток к губам, но, передумав, отвернулся и оставил прохожего в покое.

— Что он ему сказал? — шепнул Циолковский Каннингу. — Сказал, что скоро здесь будут ходить только рабочие, а полицейских и *прочую компанию* спустят в Неву! Кормить рыб, как он выразился. И самое удивительное, — продолжал Каннинг, — то, что полицейский его отпустил. Впечатление такое, будто в воздухе накапливается электричество. Пахнет грозой!

Сели в трамвай, идущий по Невскому.

Вместо вагоновожатого на передней моторной площадке за ручкой контроллера увидели фатоватого молодого человека в форме студента Электротехнического института. Это был штрейкбрехер.

Трамвайщики снова начали бастовать.

12. МИРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Последние дни перед отъездом прошли быстро, так быстро, что одно наплывало на другое и запомнить все, казалось, было невозможно. Но он запомнил.

В пятницу одиннадцатого апреля, когда вместе с Каннингом он дежурил в институте в надежде, что кто-нибудь придет посмотреть его модели (пришло пять человек — кажется, одни только студенты), Павел Павлович, выглянув в коридор, заметил возбуждение, шум, голоса. На съезде происходило что-то, напоминающее скандал. Жестикулируя и отчаянно споря, по лестнице спускались люди. В нестройном гуле слышалось: «Он не имел права!», «Произвол!», «Этого нельзя так оставить!». Сам нарушитель спокойствия — румяный, плотный господин в отлично сшитой, английского покроя тройке — с победоносным видом расхаживал по вестибюлю, окруженный толпой почитателей. Это был заводчик Щетинин, только что произнесший речь, прерванную на полуслове председательствующим, тайным советником Шиповым. Студент Мулюкин (он не отходил последние дни в институте от Циолковского, влюбленно следя за каждым его словом и жестом) рассказал, как все это произошло. Темой доклада было «Положение воздухоплавательной промышленности в России». Устами Щетинина отечественный капитал, расталкивая локтями конкурентов, требовал себе места под солнцем. И одновременно перед слушателями стала разворачиваться картина темных махинаций, жертвой которых было русское самолетостроение и, по существу, будущность России как независимой державы. Щетинин упомянул о подозрительных связях между Главным инженерным управлением и агентами заграничных авиационных фирм. Дело пахло миллионными взятками, если не прямой государственной изменой. Оратор намекнул на «еще более высокие сферы», известные, как он выразился, своими симпатиями к некоторым иностранным государствам, в частности к тем, которые готовятся к войне с Россией. Лишенная собственного производства аэропланных моторов, обреченная на ввоз из-за границы, Россия, воскликнул докладчик, останется беззащитной в грозный час. Все это происходит, добавил он, не без участия

темных личностей, завсегдатаев тех мест, куда н сам военный миннстр, господин Сухомлннов, не нмеет доступа без предварительного доклада!

Это был прямой намек на Знмннй дворец и распутннскую клнку, и тайный советннк Шнпов поспешнл прервать Щетнннна, сказав, что время истекло н ему дается пять мннут для окончання доклада. Щетинин демонстратнвно сошел с кафедры, н в зале возник невероятный шум. — Средн слушателей, — сказал Мулюкин, с таннственным видом нагнувшнсь к уху Циолковского, — говорят, было несколько депутатов Государственной думы. Ожидают, что в Таврнческом будет сделан запрос. Шипов знает это, н положение его хуже губернаторского!

— А кто такой, собственно, этот Шипов? — осведомнлся Цнолковский.

— Крупный туз. Связан с экспортно-нмпортııымн операциямн. Ушел недавно нз правительства, где занимал пост министра торговлн. Премьер Коковцев заставнл его уйтн, так как Шипов... (Мулюкин поннзил голос н оглянулся по сторонам.) Шипов чересчур уж скандально связан с Распутнным, а Коковцев не желает знать Распутнна, и, говорят, по этой прнчнне его самого, Коковцева, скоро «уйдут»...

По путн нз ннститута в гостнннцу Каннннг весело заметил Константину Эдуардовнчу, что тот свонм вчерашннм внзитом в миннстерство фннансов нечаянно попал, можно сказать, в самый центр всероссийского циклона. Цнолковскнй отшутнлся, сказав, что если бы он знал об этом заранее, то захватнл бы с собой зонтик.

Корндорный в номерах вручнл запнску, доставленную с нарочным.

Перельман напоминал Константину Эдуардовичу о его обещаннн прийтн перед отъездом в редакцню журнала «Прнрода и людн». «Жду вас с нетерпеннем, — говорнлось в запнске. — Не забудьте адрес: Стремянная, дом двенадцать».

Стремянная оказалась странно глухой и сонной уличкой, зажатой между кипящнм Владнмнрским проспектом н такою же шумной Ннколаевской. На фасаде но-

мера двенадцать («П. П. Сойкин. Собственный дом») удивило обилие табличек и вывесок с названиями издаваемых фирмой «П. П. Сойкин» печатных органов. Тут были «Вестник знания», «Мир приключений», «Сельский хозяин», «Прогрессивное садоводство и огородничество» и еще многое другое.

Уединившись с Циолковским в тесной редакторской комнатке на антресолях третьего этажа, Перельман, смеясь, сказал, что шеф и хозяин издательства — «умный мужик». Он да еще Сытин в Москве приметили народную жажду знаний. Эта жажда пока еще стеснена нынешними условиями общественной жизни, но все больше рвется наружу. Сытин сделал хорошее дело, выпуская дешевые книги для народа. Не без успеха действует на этом поприще и Петр Петрович Сойкин. — То, что вы видите здесь (Перельман показал на окно, выходящее в типографский двор, забитый подводами с грузом, тюками бумаги, заполненный голосами людей и шумом машин), — все это создано им за какие-нибудь десять — пятнадцать лет. О, это умный мужик, — повторил Перельман и добавил, что в журнале «Сельский хозяин» подчас печатаются (с молчаливого согласия издателя) статьи с марксистской тенденцией, а один-два номера были даже конфискованы полицией. И тут же рядом, во втором этаже, находится редакция «Русского паломника», «духовно-литературного иллюстрированного журнала», как значится на обложке. С приложением восемнадцати книг «Собрания творений св. Иоанна Златоуста». «Прогрессивное садоводство» — и святой Иоанн Златоуст! Как говорится, всякой твари по паре. Хитрый мужик!

— Может быть, он согласится издать некоторые мои брошюры? — осведомился Циолковский.

— Попробуем. Сюжеты фантастические и оригинальные Сойкин обожает. Мой замысел издать книгу о межпланетных путешествиях он одобрил: «Читатель любит, чтобы его развлекали!» Каждый день Петр Петрович встречает и провожает меня этим напутствием. По его желанию пришлось напечатать в журнале статью о «говорящих собаках» и еще одну — о берлинских лошадях, выстукивающих копытами ответы на сложные математические задачи! А полеты к другим мирам, согласитесь, находятся пока что на одном уровне с «говорящими

собаками». Не всегда, будем надеяться. Наши страницы, во всяком случае, пока я здесь (Перельман показал на письменный стол, заваленный гранками и корректурами), для вас открыты... Теперь о вашей рукописи.

Больше всего, сказал Перельман, его поразило в фантастическом рассказе Константина Эдуардовича «Без тяжести» совпадение темы и замысла с его собственным, перельмановским рассказом «Завтрак в невесомой кухне». «Завтрак» напечатан в последнем, двадцать четвертом номере журнала «Природа и люди». Номер печатается как раз в эти минуты и на днях будет разослан подписчикам. Перельман показал верстку номера со своим научно-фантастическим рассказом, и, действительно, оказалось, что многие ситуации в обоих произведениях совпадают. И тут и там речь идет об удивительных переживаниях и явлениях, которые ожидают людей в невесомости.

— Это говорит за то, что у нас с вами, Яков Исидорович, духовное сродство. Не сговариваясь, написали об одном и том же!

Перельман ответил, что он только ученик и последователь Циолковского. Затруднение, однако, в том, когда публиковать «Без тяжести»? Чтобы не было подряд двух похожих произведений, придется переждать. Но в июне или, самое позднее, в июле напечатано будет непременно. — И вот еще что приходит на ум, — сказал после небольшой паузы Перельман. — Люди, очутившиеся в среде без тяжести, — трудно представить сегодня более фантастическую ситуацию. А ведь это как раз то положение, в котором окажутся первые путешественники в ракете сразу после того, как перестанут работать двигатели, то есть через две-три минуты с момента отрыва от поверхности Земли...

— Точнее, на сто десятой — сто двадцатой секунде, — дал реплику Циолковский.

Перельман сказал, что помнит эту цифру, в частности, из той брошюры, которую Константин Эдуардович вручил ему в гостинице. Открыв ящик стола, Перельман извлек оттуда «Дополнение к исследованию мировых пространств». В брошюру были вложены многочисленные закладки.

— На странице двенадцатой, Константин Эдуардович, вами сделан очень важный шаг вперед. Доказано, что подходящим топливом для ракеты могут стать такие привычные вещества, как жидкие углеводороды, например спирт, ацетилен, метан...

— И керосин.

— Да, да, керосин, самый обыкновенный керосин, которым приводят в движение дизельные двигатели! Теперь получается, что для выведения ракеты на орбиту вокруг Земли вес взятого керосина должен в семь раз превышать вес корабля со всем прочим содержимым. Построить такой корабль сегодня вряд ли возможно, но ясно, что вопрос будет решен рано или поздно. Несомненно, во всяком случае, что люди полетят в мировое пространство еще до того, как научатся применять в ракетах энергию радия. Вы пишете и об этом...

Перельман вытащил из книги еще одну закладку и громко и торжественно прочитал:

— «Здесь я хотел бы популяризировать мои мысли и опровергнуть взгляды на космические ракеты как на что-то чрезмерно далекое от нас...»

Вот именно. Далекое, но не чрезмерно. И, может быть, многие из тех, кто ходит сейчас по улицам Петербурга, доживут до этого дня.

— Вы доживете, Яков Исидорович, я же, конечно, нет.

— Ну, сказать трудно. Как еще повернется ход истории... Вот я нашел в вашей брошюре такое место:

«Тяжело работать в одиночку, многие годы, в неблагоприятных условиях, и не видеть ниоткуда просвета и содействия».

А ведь наступит же время, когда не будет «неблагоприятных условий» и вы не будете работать в одиночку? Наступит же!

— Я не доживу до этого времени.

— А если доживете? Помнится, когда я сидел у вас в гостинице, вы были настроены более оптимистично. Выходит, роли переменились, и теперь я призываю вас к оптимизму, а не вы меня?

— На воздухоплавательном съезде меня отучили от оптимизма.

— Вы пишете дальше: «Я ищу поддержки моим стремлениям быть полезным...»

— Да, ищу и не нахожу. Съезд показал мне это.

— И это тоже может перемениться. Вот, раз уже заговорили на эту тему, позвольте познакомить вас с одним печатным органом. Наша редакция, как положено, выписывает все газеты, выходящие в Питере, и еще несколько московских, и кой-какие провинциальные. Так вот есть среди столичных газет одна, как будто по внешности неказистая, невлиятельная... (Перельман извлек из большой кипы, сложенной на столе, несколько четырехстраничных номеров небольшого формата.) Вот, посмотрите. «Путь Правды». Еще недавно газета называлась «Правдой». Полиция ее закрыла, и после этого вышел «Путь Правды». Газета рабочая, социал-демократическая, направления так называемых большевиков-ленинцев. (Перельман полистал пачку газет.) Вот напечатано здесь стихотворение. Называется «Весна». По размеру небольшое. Позволите прочитать? (Циолковский утвердительно кивнул, Перельман медленно и отчетливо продекламировал.)

Шумят ручьи весенние, бегут ручьи кипучие,
Снег сбросила зеленая, красивая сосна.
Идет весна привольная, идет весна могучая,
Могучая, шумливая, нарядная весна!
Гудят свистки фабричные, идут ряды народные,
Идут, спешат на фабрику, разбужены от сна.
Задернул дымкой утренней туман просторы водные,
Шумит, гудит народная, мятежная весна!

13. ИДЕТ ВЕСНА

— Чувствуете, какая нравственная сила в этом бесхитростном стихотворении? Их преследуют, сажают в тюрьмы, гноят на каторге, а они уверены в своей победе, уверены в будущем... Стихи, кстати говоря, — литературная форма, в которой «Правде» удобнее всего передать читателю то, что цензура не дала бы высказать в политической статье. Советую, Константин Эдуардович, познакомиться с этой газетой на досуге. Очень, очень советую. Хотя бы с несколькими номерами. Не

возражаете, если я присоединю их к этой связке? Здесь книги и журналы. Подарок вам от издательства.

Циолковский поблагодарил, сказал, что возьмет охотно.

Перельман нажал на звонок, попросил вошедшего служителя принести чаю с бисквитами. Пока пили чай, хозяин кабинета расспрашивал гостя, над чем он трудится сейчас. Тот ответил, что перед самым отъездом в Петербург закончил натурфилософское сочинение под названием «Второе начало термодинамики». Там развиты мысли, которые давно бродили в голове, — о несостоятельности учения некоторых физиков насчет тепловой смерти мира. С легкой руки Клаузиуса и Томсона, а теперь вот Гартмана, проповедуют догму о постепенном нарастании хаоса молекулярных движений, о выравнивании всех температур в космосе, о неминуемом угасании всех звезд. Судьба вселенной — судьба холодного, мертвого кладбища! Ошибочность этой догмы видна невооруженным глазом. Она противоречит вечному круговороту материи, вечной превращаемости вещества и энергии...

— У вашей концепции имеются хорошие предшественники — Николай Гаврилович Чернышевский, Эрнст Геккель, наш физик Умов... Вот вам, кстати, и еще одно утверждение оптимизма, на сей раз во вселенском, космическом масштабе. Нет места унынию и мировой скорби!

Увидев, что Циолковский поднимается, чтобы уйти, Перельман сказал, что доставит его в гостиницу в издательской коляске. Через несколько минут он подсаживал уже своего гостя в щегольскую пролетку. Кучер с павлиньим пером на треухе застегнул полость и вытащил из-за голенища кнут. — До свиданья в лучшие времена, а газетку не забудьте прочесть! — крикнул Перельман вслед тронувшейся коляске.

Циолковский с грустной улыбкой помахал ему рукой.

Они стояли на перроне Николаевского вокзала у вагона второго класса. Циолковский, и Каннинг, и те, кто пришел их проводить. Лидия Георгиевна уже сидела, словно курица-наседка, среди чемоданов и шляпных

картонок в купе у открытого окна. Провожали студент Мулюкин, каким-то способом узнавший о дне и часе отъезда Циолковского, и бывший редактор «Вестника воздухоплавания» Воробьев — представительный мужчина в котелке и лайковых перчатках. Мулюкин несмело приблизился к Константину Эдуардовичу, обратился к нему с вопросом. Тот не расслышал, ответил невпопад. Он думал о прочитанном в подаренных ему номерах «Пути Правды». Не странно ли, что за всю неделю, единственную в его жизни неделю, проведенную среди холодных, суровых, прекрасных камней столицы, самым сильным впечатлением за эту неделю оказались несколько газетных страниц, подаренных ему в предпоследний день Перельманом? Только что, полчаса назад, у входа на вокзал он попробовал было обратиться к газетчику, чтобы купить сегодняшний номер «Пути Правды». В ответ получил сухое «не держим». Очевидно, эту газету не держали, потому что она писала о вещах, неугодных сильным мира сего. Она писала об «ужасах безработицы» — этот заголовок врезался в память, — в заметке говорилось о том, что десятки тысяч питерских рабочих голодают, да, голодают, в то время как господа во фраках обжираются у «Донона» и «Кюба». Автор заметки указывал, что помочь безработным могут своими грошами их товарищи через свои организации, такие же рабочие, как они сами. Дальше говорилось о самоубийствах, особенно частых в эту весну четырнадцатого года, и главным образом среди молодых работниц, выброшенных хозяевами на панель... Старая жгучая боль схватила за горло при воспоминании об Игнаше. Господи, как страшен этот город, этот мир, эта жизнь, и как ничтожны все утешительные философии, эти нирваны, эти круговороты вечной материи, которые он придумывал, чтобы спастись от черных мыслей, от долгих ночей без сна. И все же, и все же... Те, кто пишет в этой газете, кто ее печатает, кто ее читает, настроены, как заметил Яков Исидорович, отнюдь не безнадежно. О нет! Очевидно, они знают что-то, чего не знает он, пятидесятисемилетний, умудренный жизнью учитель Циолковский.

...Идет весна привольная, идет весна могучая! —

чтоб *это* написать, нужно знать твердо, что весна придет, что она *уже* идет...

Кто-то тронул его за плечо. Каннинг ласково говорил ему, что пора идти в вагон, что провожающие хотят пожать ему руку, пожелать счастливого пути. И, словно пробудившись от сна, он увидел влюбленно смотрящего на него Мулюкина, протягивающего букетик подснежников, купленных сию минуту у проходившей по перрону торговки.

Уже вагон тронулся, и уплывал вдаль отчаянно махавший рукой Мулюкин, и поезд набирал скорость, и на столике уже стоял в стакане с водой букетик бледных подснежников — память о Петербурге и предвестие будущего.

...Шумит, гудит народная, мятежная весна!

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Евгеньевич Львов

ЗАГАДОЧНЫЙ СТАРИК

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977 г. 272 стр. План выпуска 1977 г. № 39. Редактор *П. И. Кочурин.* Художник *Л. Г. Епифанов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *М. А. Ульянова.* Корректор *Н. В. Яковлева.* Сдано в набор 7/VIII 1976 г. Подписано к печати 17/XII 1976 г. М 19303. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 8 1/2. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,11. Тираж 30 000 экз. Заказ № 809. Цена 61 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.